Оуэн Мэтьюз

Антисоветский роман

[memoria]

CORPUS

Эту книгу читают на 22 языках

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Известный британский журналист Оуэн Мэтьюз — наполовину русский, и именно о своих русских корнях он написал эту книгу, ставшую мировым бестселлером и переведенную на 22 языка. Мэтьюз учился в Оксфорде, а после работал репортером в горячих точках — от Югославии до Ирака. Значительная часть его карьеры связана с Россией: он много писал о Чечне, работал в *The Moscow Times*, а ныне возглавляет московское бюро журнала *Newsweek*.

Рассказывая о драматичной судьбе трех поколений своей семьи, Мэтьюз делает особый акцент на необыкновенной истории любви его родителей. Их роман начался в 1963 году, когда отец Оуэна Мервин, приехавший из Оксфорда в Москву по студенческому обмену, влюбился в дочь расстрелянного в 37-м коммуниста, Людмилу. Советская система и всесильный КГБ разлучили влюбленных на целых шесть лет, но самоотверженный и неутомимый Мервин ценой огромных усилий и жертв добился триумфа — «антисоветская» любовь восторжествовала.

* * *

Не будь эта история документальной, она бы казалась чересчур фантастической.

Леонид Парфенов, журналист и телеведущий

Книга неожиданная, странная, написанная прозрачно и просто. В ней есть дыхание века. Есть маленькие человечки, которых перемалывает огромная страна. Перемалывает и не может перемолоть.

Николай Сванидзе, историк и телеведущий

Без сомнения, это одна из самых убедительных и захватывающих книг о России XX века. Купите ее, жадно прочитайте и отдайте друзьям. Не важно, насколько знакомы они с этой темой. В любом случае они будут благодарны.

The Moscow Times

Эта великолепная книга — одновременно волнующая повесть о любви, увлекательное расследование и настоящий «шпионский»

роман. Три поколения русских людей выходят из тени забвения. Три поколения, в жизни которых воплотилась история столетия.

Télérama

Выдающаяся книга… Оуэн Мэтьюз пишет с необыкновенной живостью, но все же это техника не журналиста, а романиста — и при этом большого мастера.

Spectator

- Оуэн Мэтьюз
  - Пролог
  - Глава 1
  - Глава 2
  - Глава 3
  - Глава 4
  - Глава 5
  - Глава 6
  - Глава 7
  - Глава 8
  - Глава 9
  - Глава 10
  - Глава 11
  - Глава 12
  - Глава 13
  - Глава 14
  - Эпилог
  - Библиография
  - Слова благодарности
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10

Оуэн Мэтьюз
Антисоветский роман

Посвящаю моим родителям

Пролог

Рука подписала бумажку —
и город сдан.
Пять властных пальцев
даже воздух обложили
налогом,
Удвоили количество трупов,
разорвали страну
пополам…[1]

Дилан Томас

В архиве бывшего управления КГБ в Чернигове лежит на полке обыкновенная канцелярская папка — толстая, весом не менее килограмма, в коричневом, изрядно потрепанном переплете. Листы в ней тщательно пронумерованы и прошиты суровой ниткой. Это следственное дело моего деда, отца моей матери, Бибикова Бориса Львовича, обвиненного в антисоветской правотроцкистской деятельности на Украине, — его имя написано на обложке аккуратным каллиграфическим почерком. Наверху: НКВД УССР и штамп «Сов. секретно».

Содержащиеся в папке документы воссоздают картину последних дней жизни моего деда, оказавшегося в руках сталинской тайной полиции на пороге осени 1937 года. Спустя пятьдесят восемь лет после его смерти мне выдали их в Киеве для ознакомления. Разбухшая, как злокачественная опухоль, толстая папка с затхлым запахом плесени легла мне на колени.

Большинство страниц — документы стандартного вида на тонкой или папиросной бумаге, кое-где пробитой машинкой. Встречаются и небрежно оторванные листы дешевой шероховатой бумаги. Ближе к концу вшито несколько гладких белых листов, исписанных мелким почерком, — признание моего деда в том, что он враг народа. Семьдесят восьмой документ — расписка, что им прочитан и ему понятен смертный приговор, вынесенный ему в Киеве закрытым судом. Эти несколько строк — его последний письменный след на земле. В самом конце — отпечатанный на плохоньком ротаторе листок сухо информирует о том, что приговор приведен в исполнение на следующий день, 14 октября 1937 года. Внизу стоит подпись его палача в виде неразборчивой закорючки. Старательные бюрократы из НКВД, столь ретиво доведшие дело моего деда до «логического» конца, не

потрудились указать место погребения Бориса Бибикова, так что единственным памятником ему стала эта стопка бумаг.

В мансарде дома номер семь по Олдерни-стрит в лондонском районе Пимлико стоит дорожный сундук с аккуратно выведенной черной краской надписью: W. H. M. Matthews, St Anthony's College, Oxford, АНГЛИА. В этом сундуке — история любви, а вернее сказать, сама любовь.

Здесь хранятся сотни любовных писем моих родителей, старательно собранных в пачки по датам, с июля 1964 года по октябрь 1969-го. Они написаны на тонкой почтовой или на обычной белой бумаге. Половина из них — письма моей матери, Людмилы Бибиковой, моему отцу, — в четком стремительном почерке угадывается женская рука. Большинство отцовских писем напечатано на машинке — он предпочитал оставлять себе копию, в конце каждого непременно какая-нибудь приписка, за ней его размашистая подпись, а порой и маленький забавный рисунок. Те, что написаны от руки его ровным, прямым почерком, напоминают школьные прописи по русскому языку.

Превратности холодной войны разлучили моих родителей почти на шесть лет, и все это время они переписывались ежедневно, порой дважды в день. Письма к далекой невесте приходили из Ноттингема, Оксфорда, Лондона, Кёльна, Берлина, Праги, Парижа, Марракеша, Стамбула, Нью-Йорка. Она отвечала ему из Москвы, Ленинграда, с дачи во Внуково. Они посвящают друг друга в свою повседневную жизнь, в свои мысли и переживания. В окутанном ночным туманом Ноттингеме он сидит за столом и отстукивает на машинке письмо, в котором рассказывает и про свои обеды с любимым карри, и про мелкие академические склоки. Изнывая от тоски по нему, в маленькой комнатке на первом этаже старого дома, в одном из арбатских переулков, она пишет, о чем говорила с друзьями, какие книги прочла, на каких балетах побывала.

Порой эпистолярная беседа моих родителей приобретает столь интимный характер, что чтение их писем представляется непозволительным вторжением в чужую жизнь. Некоторые полны такой боли от разлуки, что кажется, даже бумага с трудом это переносит. Они вспоминают самые незначительные события тех месяцев, которые провели вместе в Москве зимой и весной 1964 года, — их разговоры и прогулки, впечатления от кинофильмов, от встреч с общими друзьями, даже от еды. Но больше всего в письмах говорится о разлуке, об одиночестве и о любви, такой сильной, которая — по словам мамы — «способна горы сдвинуть с места и перевернуть земной шар». Я думаю, это был самый

счастливый период в их жизни.

Сейчас я сижу в узкой комнатке под самой крышей дома, моей детской, — там восемнадцать лет я спал рядом с этими письмами, которые хранились по соседству, в кладовке, в запертом сундуке; тогда до меня через лестницу порой долетали возбужденные голоса ссорившихся родителей. Я перебираю письма и думаю: вот где их любовь! «Каждое письмо — крохотный осколок нашей души, они не должны затеряться», — пишет моя мать в первый месяц после тяжкого расставания. «Твои письма дарят мне частицу тебя, твоей жизни, доносят до меня твое дыхание, биение твоего сердца». И они изливали душу на бумаге — бесчисленные, сложенные в толстые пачки странички, пронизанные страданием, тоской и любовью, неслись через всю Европу в почтовых вагонах непрерывно в течение шести лет. «За время путешествия наши письма обретают магические свойства… в этом их сила, — писала мать. — В каждой строке кровь моего сердца, и она никогда не иссякнет». Но к тому моменту, когда мои родители снова оказались вместе, от их любви почти ничего не осталось. Вся она растворилась в чернилах, выплеснулась на тысячи страниц, впоследствии аккуратно связанных и уложенных в сундук в мансарде лондонского дома.

■

Мы уверены, что в жизни руководствуемся доводами разума, на самом деле зачастую в нас слишком сильно звучит голос крови. В Москве он слышался мне постоянно. Многие годы я провел в России и неоднократно спотыкался, образно выражаясь, о родительские корни, пустившие в меня свои побеги, и обнаруживал в себе черты характера, свойственные только моим родителям. Отголоски их жизни в виде каких-то вещей или явлений, оставшихся неизменными, несмотря на стремительно меняющийся облик города, который казался мне таким современным, полным новизны, проникали в мою жизнь подобно молчаливо скользящим призракам. Запах влажного меха в метро зимой. Дождливые ночи в арбатских переулках, когда силуэт высотного здания Министерства иностранных дел маячит в темноте, как окутанный туманом огромный лайнер. Или островок огней сибирского города в бескрайнем море лесов, если смотришь на него из иллюминатора крошечного самолета, сотрясаемого воздушными потоками. Солоноватый привкус морского ветра в доках Таллина. И уже перед отъездом из Москвы — пронзительное озарение: всю жизнь я любил вот эту женщину, которая сидит со мной и моими друзьями за столом на кухне квартиры на Арбате и ведет задушевный разговор в уютном облаке сигаретного дыма.

Но при всем этом Россия, в которой жил я, разительно отличалась от той, которую знали мои родители. Их Россия была жестко регламентируемым обществом, где неортодоксальное мышление считалось преступлением, где каждый знал решительно все о жизни своего соседа и где на человека, осмелившегося бросить вызов общепринятой морали, обрушивался неистовый гнев и давление коллектива. Моя же Россия была обществом, отданным на волю волн. За семьдесят лет советской власти русские потеряли большую часть своей культуры, религию, своего Бога; большинство вместе с этим утратило и собственное мнение. Но советское государство хотя бы компенсировало эти потери тем, что заполнило идеологический вакуум рожденными им самим дерзкими мифами, суровыми законами и строгими нормами поведения. Государство кормило, одевало и учило людей, руководило их жизнью от колыбели до могилы и, самое главное, — думало за них. Коммунисты — люди, подобные моему деду, — стремились создать вымышленный ими тип советского человека, для чего отняли у людей старые представления и заменили их новыми понятиями о гражданском долге, патриотизме и повиновении. Однако когда коммунистическая идеология была отвергнута, с нею исчезла и ее устаревшая мораль 50-х годов, рухнув в черную пропасть одновременно с развенчанной мифологией. Люди поверили телевизионным целителям, японским апокалипсическим культам традиционной русской Православной Церкви. Но куда более глубоким, чем любая вновь обретенная вера, стал абсолютный, бескрайний нигилизм. Вдруг не стало никаких законов и запретов, никаких сдерживающих барьеров, вместо них наспех сочинялись поразительно циничные и безнравственные установки, позволявшие хватать и грабить, кто сколько может.

Пепла было много, да только феникс из него не возродился. Большинство людей ушли в себя и, игнорируя сейсмическое сотрясение их мира, продолжали вести привычный образ жизни: работа, школа, машина, дача, продукты по талонам, ужин с сосисками и картошкой. Россия после крушения часто напоминала мне лабиринт с оставленными там подопытными крысами, хотя эксперимент был уже прекращен. Они суетятся и рыщут по лабиринту в поисках дозатора с сахарной водой еще долго после того, как ученые выключили свет и эмигрировали.

Некоторые русские интеллектуалы называли Перестройку «революцией в сознании». Но это определение даже отдаленно не способно передать состояние людей. На самом деле никакой революции в сознании народа не произошло, поскольку лишь

малая его часть обладала достаточными способностями и воображением, чтобы столь стремительно проникнуться новым духом, измениться самим и приспособиться к новой жизни, требующей решительности и риска. Для остальных это было подобно тихому взрыву, каким в лесу под ногой взрывается гриб-дымовик, — внезапным снижением уровня жизни; не революцией, а медленным погружением в растерянность и нищету.

Большую часть времени, проведенного в России, меня преследовало ощущение, будто я очутился в рассказе без сюжета и передо мной стремительно мелькали слайды с фантасмагорическими сценами, которые Москва вплетала в мою жизнь исключительно для моего удовольствия. На самом деле я оказался в паутине кровных уз, и она медленно затягивала меня.

Я приехал в Москву, желая сбежать от родителей. А получилось так, что я их нашел, хотя очень долго этого не понимал или отказывался понимать. Эта книга — повествование о России и о моих предках, о стране, которая нас создала, освободила, вдохновила и едва не уничтожила. Это рассказ об исходе, о том, как мы покинули Россию, однако все мы — даже мой отец, уроженец Уэльса, в котором нет ни капли русской крови, даже я, выросший в Англии, — по-прежнему несем в себе что-то от России, подобно лихорадке, проникшей в нашу кровь.

Глава 1
Последний день

Я верю только в одно — в мощь и силу человеческой воли.

Иосиф Сталин

На русском я начал говорить раньше, чем на английском. До того как меня облачили в форму — шапочку, блейзер и шорты — и повели в частную начальную школу, я видел мир по-русски. Если языку вообще свойствен цвет, то для меня русский ассоциировался с ярким розовым цветом маминых платьев 70-х годов, теплым красным старого узбекского заварного чайника, привезенного из Москвы, и кричащим сочетанием черного с золотом русских деревянных ложек, что висели на полке в кухне. Английский, на котором я говорил с отцом, был матово-зеленым цветом ковра в его кабинете и приглушенно-коричневым его твидовых пиджаков. Русский — интимным, секретным языком общения с мамой, теплым, чувственным, грубовато-откровенным языком кухни и спальни, и запах его был влажным и душным, как пахнет от постели или от горячего толченого картофеля. Английский был языком сухим и формальным, языком взрослых, уроков чтения по книжке «Джанет и Джон», когда я сидел на коленях у отца и вдыхал запах сигарет «Голуаз», кофе и машинного масла — от его коллекции моделей паровых двигателей.

Мама читала мне по-русски сказки Пушкина и замечательную поэму «Руслан и Людмила». В зимние вечера в маленькой лондонской гостиной передо мной возникал волшебный и таинственный мир темных русских лесов, полный мрачных злодеев и отважных героев, а отдаленный скрежет и гудки поездов, подходящих к вокзалу Виктория, только подчеркивали атмосферу чего-то жуткого и заманчивого. Этот мир в детстве был для меня куда более живым, чем любые рассказы отца. «Там русский дух, там Русью пахнет», — писал Пушкин о загадочном Лукоморье, где растет огромный зеленый дуб; вокруг него вьется золотая цепь, по цепи ходит черный кот, а на спутанных ветвях сидит русалка.

В конце жаркого лета 1976 года, когда мне было четыре с половиной, к нам в Лондон приехала погостить бабушка Марфа. Это лето запомнилось пожелтевшими от палящего зноя

лужайками в Экклестон-сквере, плавящимся асфальтом, ароматом клубничных леденцов, моими любимыми бежевыми брючками из вельвета с вышитым на одной штанине большим желтым цветком. Я помню медлительность бабушки, ее какой-то кисловатый русский запах, пухлое лицо. На фотографии она выглядит напряженной и сердитой, грузной и мужеподобной, держит меня неловко, словно кулек, а у моей матери на лице застыла нервная улыбка. Марфа наводила на меня страх своими резкими выговорами и непредсказуемостью, при ней в доме все были скованными и раздраженными. Обыкновенно она усаживалась в кресло у окна нашей гостиной и часами сидела там одна и молчала. Помню, когда я пытался залезть к ней на колени, она бесцеремонно отталкивала меня.

«Я побывала в сказочной стране». Автор с Людмилой и Марфой Бибиковой в Лондоне. Лето 1976 года.

Однажды днем мы гуляли в Экклестон-сквере. Мама разговаривала с другими мамашами, бабушка сидела на скамейке, а я, надев пластмассовый полицейский шлем и размахивая ковбойским револьвером, носился по всему парку, сам с собой играя в полицейских и воров. Потом незаметно подкрался к бабушке, выскочил из-за скамейки и набросил ей на запястья игрушечные наручники. Пока я возился с застежкой, она не двигалась и не прогоняла меня, но, подняв голову, я увидел, что она плачет. Я помчался к маме, она тут же подошла, и потом они долго сидели рядом, а я прятался в кустах. Когда мы возвращались домой, по лицу бабушки все еще текли слезы.

— Не расстраивайся, — успокаивала меня мама. — Бабушка

плачет, потому что эти наручники напомнили ей то время, когда ее арестовали. Но было это давным-давно, и теперь уже все хорошо.

Большую часть своей жизни моя мама жила ради воображаемого будущего. Ей было всего три года, когда ее родителей посадили в тюрьму. С тех пор девочку растило советское государство, формируя в своих интересах ее сознание, если не душу. Светлое будущее совсем рядом, сразу за горизонтом, — убеждали детей ее поколения, но достичь его можно, только пролив кровь, как это делали ацтеки, и пожертвовав личными интересами ради великой общей цели. «Простые советские люди повсюду творят чудеса», — эту строчку из популярной песни 30-х годов часто и с горькой иронией цитировала моя мать, сталкиваясь с примерами бюрократической тупости или грубости. Однако идея, что человек способен преодолеть кажущиеся непреодолимыми препятствия, действительно оказала огромное влияние на формирование ее характера да и на всю жизнь.

Ее отец, Борис Бибиков, тоже верил в эту идею. Вдохновляя своим энтузиазмом и вселяя страх, он поднял тысячи мужчин и женщин на строительство гигантского завода, выросшего буквально из той земли, на которой он стоял. И его дочь, моя мама, тоже совершила чудо: вооруженная лишь своей непоколебимой верой, она восстала против всемогущей советской системы — и победила.

Мама никогда не казалась мне маленькой, хотя на самом деле она совсем невысокого роста, чуть больше полутора метров. Но при этом она натура сильная и волевая, а ее энергии хватило бы на десятерых. Мне часто приходилось видеть ее в слезах, но растерянной — никогда. Даже в минуты слабости она не утрачивает уверенности в себе. У нее нет времени на пустые размышления, на потакание своим слабостям, — что позволяет себе мое поколение, — хотя при всей ее железной самодисциплине она легко и охотно прощает недостатки других. С самого раннего детства мать внушала мне, что в жизни за все нужно бороться, что любая неудача — следствие слабой воли. Всю жизнь она предъявляла к себе повышенные требования и старалась соответствовать им. «Мы должны быть достойными веры в нас, мы должны бороться, — писала она отцу. — Мы не имеем права быть слабыми… Жизнь мгновенно сокрушит нас, и никто не услышит нашего крика о помощи».

И еще: она широко образованна и невероятно остроумна, правда, ярче всего эти ее качества проявляются в компании. Когда

у нее за обедом собираются друзья, она с бескомпромиссной убежденностью высказывает свое мнение на прекрасном английском языке.

«Все в мире относительно, — с усмешкой говаривала она. — Один волос в тарелке с супом — слишком много, один волос на твоей голове — слишком мало». Или заявляла: «В русском языке потому так много безличных оборотов — „мне нужно“, „мне не хочется,“ — что русские как бы избегают ответственности за свои поступки. Грамматика отражает психологию! Психологию инфантильного общества!»

В разговоре она непринужденно переходит от Нуриева к Достоевскому, Карамзину или Блоку. По мере того как она стремительно, подобно лихому водителю, совершающему крутой разворот, меняет тему, ее презрительная усмешка и решительные отмашки рукой сменяются восторженными вздохами, а руки страстно прижимаются к груди. «Ха, Набоков!» — произносит она, поджав губы и подняв брови, тем самым давая понять, что считает его холодным, бессердечным, лишенным естественности, неисправимым позером. «Ах, Хармс!» — восклицает она, подняв вверх ладонь, что означает: вот человек, который отлично понимает русский абсурд, весь пафос и трагичность бытия. Как настоящий русский интеллигент она чувствует себя совершенно уверенно в пестром лабиринте родной литературы. Я всегда обожал маму, но в те моменты, когда вся компания восхищенно внимает ей, я испытываю особенную гордость.

Милан Кундера писал, что «борьба человека с властью — это борьба памяти с забвением». Для мамы эта мысль очень важна. Когда я был ребенком, она редко говорила со мной о своем детстве. Но став взрослым, я начал интересоваться ее прошлым, и мама отвечала на все мои вопросы подробным рассказом, голос ее звучал спокойно и ровно, без трагических ноток. Сейчас она вспоминает свою жизнь поразительно бесстрастно и объективно. В то же время ее беспокоит, как бы мое повествование не вышло слишком мрачным и угнетающим. «Пиши не только о плохом и мрачном, обязательно расскажи о благородных людях, — говорит мама. — Мне встречалось так много человеческого милосердия и доброты, столько замечательных, душевных людей!»

Еще один, последний штрих к портрету моей матери, прежде чем я начну рассказывать ее историю. Мы в гостях у нашего друга, турецкого писателя, в его доме на небольшом островке недалеко от Стамбула, на прохладной террасе, выходящей на Мраморное море. Маме 72 года, она сидит за пестрым от

солнечных пятен накрытым столом, как всегда, боком к столу — из-за бедра, в детстве пораженного туберкулезом. Наш хозяин с его бронзовым загаром напоминает античного морского бога. Он разливает вино, придвигает нам блюдо с мидиями, которые сам собирал, и тарелки с изумительно вкусной едой, приготовленной его поваром.

Мама спокойна и находится в отличном расположении духа. Среди гостей — турецкая балерина, высокая, красивая, длинноногая женщина. Она и моя мать увлеченно беседуют о балете. Я сижу в конце стола и разговариваю с хозяином дома, как вдруг улавливаю, что в тоне моей матери появился новый оттенок. Ничего особенного, просто слегка изменилась интонация. Но мгновенно все смолкли и повернулись к ней, чтобы послушать.

Она рассказывает о Соликамске, куда ее эвакуировали в 1943 году и куда свозили потерявшихся во время войны детей. Учительница в переполненной сельской школе, где училась мама, принесла для своего класса поднос с кусочками простого черного хлеба. Несмотря на то, что ее ученики жестоко голодали, она попросила ребят оставить свою порцию для сирот из детского дома.

Мама рассказывает эту историю просто, без излишнего пафоса. На ее лице выражение, которое я могу описать только как горькую улыбку. Двумя пальцами она показывает нам размер тех жалких кусочков хлеба, и на глаза у нее навертываются слезы. Балерина тоже плачет и обнимает мать. И хотя я уже слышал эту историю, меня вновь поражает «обыкновенное чудо», совершившееся в человеческой судьбе: голодный ребенок из того военного зимнего класса — вот эта самая женщина, моя мама, сидит с нами за столом в этот жаркий полдень, будто она перенеслась по воздуху в нашу беззаботную сегодняшнюю жизнь из другого, далекого мира, где бушевала война и свирепствовал голод.

Конец 90-х, прекрасный летний вечер. Квартира моей тетки Ленины на Фрунзенской набережной в Москве. Я сижу на широком подоконнике в кухне и курю после невероятно сытного обеда, который мне пришлось не один раз похвалить, прежде чем Ленина убедилась, что я наелся. Она ставит на плиту старый эмалированный чайник, игнорируя немецкий электрический, подаренный ей дочерьми.

Ленина, сестра моей матери, грузная, как и Марфа, полногрудая, с широкими бедрами и согбенной от мировых проблем спиной. У нее проницательные голубые глаза, как у

Марфы. Такие же глаза у моей матери, у меня и у моего сына Никиты. Но своим темпераментом и общительностью она пошла в отца, Бориса Бибикова. Тетушка обожает собирать за кухонным столом друзей, чтобы поболтать, посплетничать и поинтриговать. Ей нравится подолгу висеть на телефоне, устраивая жизнь друзей и знакомых. Она буквально терроризирует ведущих «Телемагазина» своими звонками во время передач и не дает спуску менеджерам. Крупная женщина с сильным голосом, она страдает множеством серьезных болезней, о которых любит поговорить.

Приготовив чай, она усаживается за стол, и наступает долгожданный миг — начинаются расспросы о бесконечных любовных похождениях племянника. Мне часто приходилось видеть Ленину в образе строгой старой дамы — он служит ей оружием для неустанной борьбы с окружающим миром. Но больше всего на свете она любит, вот так подперев голову ладонями и устремив на племянника свой проницательный взгляд, выслушивать мельчайшие подробности его романов. В пикантные моменты она крякает, как рыбная торговка.

— Скажи спасибо, что я не рассказываю об этом твоей матери, — фыркает она.

Странно, но лично меня она редко критикует, хотя никогда не устает высмеивать своих дочерей. Мало того, она частенько прерывает мои откровения советами умудренной житейским опытом женщины, порой весьма циничными. Несмотря на пятидесятилетнюю разницу между нами, тетка Ленина — мой самый верный друг и наперсница.

У Ленины феноменальная память на всякие мелочи. Обычно наш разговор начинается с текущих событий, но чтобы надолго увлечь ее внимание, им недостает красочности и драматичности. И вот совершенно незаметно для себя она переходит к прошлому и начинает странствовать по тропинкам своей памяти, как стекло на доске Уиджа[2], отвлекаясь то на один, то на другой эпизод своей жизни разными историями и голосами.

С годами она утрачивает былую подвижность и остроту зрения, но воображение ее работает все живее и отчетливее. Прошлое представляется ей более интересным и близким, чем настоящее. По ночам, жалуется она, ее посещают покойники. Они все время снятся ей — ее муж, родители, друзья, внучка Маша, скончавшаяся от рака в двадцать шесть лет. Все спорят, лгут, смеются, ворчат, занимаются разными делами, как в жизни, будто не понимают, что уже умерли. Она постоянно видит во сне прошлое.

— Это как кино, — говорит она.

По мере того, как ее век приближается к концу, прошлое становится все более живым и явственным. В ее памяти всплывают различные подробности, разговоры, случаи, истории — они видятся ей, как короткие клипы, которые она запоминает, чтобы рассказать мне при очередной встрече. Я знаю всех персонажей ее снов, так что мне не требуется пояснений.

— Я говорила тебе, что вспомнила про дядю Яшу и девиц, которых он подсаживал в свой «мерседес»? И что заявила тогда Варя? — спрашивает она по телефону, и я сразу понимаю, что она имеет в виду знаменитый автомобиль, который мой двоюродный дед вывез из Берлина в 1946 году, и ярость, которую эта история вызвала у его жены Варвары. — Она до того взбесилась, что пошвыряла в него все горшки с цветами и кухонную посуду. А Яша расхохотался и никак не мог уняться, хотя вокруг него так и летали все эти тарелки и миски. Так вот это злило ее еще больше!

Ленина воспринимает мир в оборотах речи, интонации голоса. В отличие от моей матери, ее редко увидишь за книгой. По натуре она актриса, для которой кухонный стол становится сценой, а изменчивый состав ее гостей — друзей, просителей, бывших студентов, соседей и родственников — зрительным залом.

История Людмилы и Ленины Бибиковых начинается в другой кухне, в прекрасной удобной квартире с высокими потолками, расположенной в центре Чернигова. Действие происходит в середине лета 1937 года. В распахнутые настежь окна влетает ветерок с Десны. В уголке моя трехлетняя мать играет с тряпичной куклой. А моя тетка Ленина облокотилась на широкий подоконник и высматривает, когда появится скользящий силуэт служебного черного «паккарда» их отца. Ей двенадцать лет, на круглом лице сверкают большие смышленые глаза. На ней ее любимая белая теннисная юбка, сшитая по выкройке из московского журнала мод. Снаружи, за верхушками платанов на улице Лермонтова, сияют золотом купола соборов древнего черниговского Кремля.

За кухонным столом хлопочет ее мать Марфа — она упаковывает в вощеную бумагу еду для своего мужа: жареную курицу, крутые яйца и огурцы, печенье, щепотку соли в обрывке газеты. По дороге на вокзал Борис должен заскочить домой за вещами — он уезжает в санаторий для партийных работников в Гаграх, где ему предстоит отдохнуть впервые за три года.

Марфа ворчит, что муж опять задерживается. Видите ли, он так занят своей работой, что не смог выкроить даже это утро перед отъездом; своему обкому он всегда уделяет больше

времени, чем семье!

Марфа — высокая крупная женщина, уже начинающая полнеть, что свойственно русским крестьянкам после родов; у нее тщательно накрашены губы и ресницы, одета она, как всегда, в модное платье из импортного ситца. Мать непрерывно ворчит, а может, Ленине, которую пугает перспектива даже на неделю остаться наедине с ней, так только кажется. В углу кухни моет посуду Варя, крепкая деревенская девушка в сарафане с приколотым к нему накрахмаленным передником, их давнишняя многострадальная прислуга. Ей приходится спать в маленьком закутке в коридоре, зато ее кормят и платят деньги, поэтому Варя покорно сносит ворчливость и вечные придирки Марфы. Встретившись взглядом с Лениной, она заговорщицки подмигивает ей, а Марфа в который раз выбегает в широкий коридор проверить, все ли приготовлено для поездки Бориса.

Людмила, или просто Мила, обожала старшую сестру, как собачонка, и старалась всегда быть к ней поближе. Обе девочки видели в отце верного союзника — у них был заключен своего рода оборонительный союз, что вызывало у Марфы невероятное раздражение.

Сидя у окна, Ленина увидела, как большая черная машина выкатилась из-за угла и остановилась перед домом. На лестнице послышался стук каблуков, и в квартиру вбежал Борис. Этот плотный и сильный человек с ранней лысиной и короткой стрижкой выглядел значительно старше своих тридцати четырех лет. Одевался Борис скромно, как обыкновенный рабочий: летом носил простые льняные рубашки, а зимой менял их на матросскую тельняшку. Он был уже вторым человеком в городе — секретарем областного комитета коммунистической партии по пропаганде и агитации. Известный политработник, стремительно поднимающийся по карьерной лестнице, награжденный орденом Ленина, Борис работал в провинциальном городе, набираясь опыта для более ответственного поста в Киеве или даже в Москве. Он был из тех, кто упорно стремится к успеху. На прощанье, оставив без внимания ворчливые упреки и советы жены, он быстро поцеловал дочерей.

— Будь хорошей девочкой, смотри за мамой и за сестрой, — шепнул он на ухо Ленине.

Успокоив жену коротким объятием и обменявшись с ней несколькими словами, отец подхватил свой чемодан и сверток с едой и побежал вниз. Выглянув из окна, Ленина увидела курившего около машины шофера, который поспешно выбросил папиросу, заслышав на каменной лестнице торопливые шаги своего начальника. Девочка отчаянно замахала рукой, когда ее

обожаемый папа забирался в машину, он в ответ тоже махнул ей и скрылся из виду. Это был последний раз, когда Ленина видела отца.

Проводив мужа, Марфа подошла к квартире соседей по лестничной площадке, узнать, не случилось ли чего. Сегодня утром, когда все спешили на работу, она не слышала обычного стука их двери, и на обед никто не пришел. А когда мать вернулась к себе, Ленина заметила, что она бледна и встревожена. Марфа позвонила в квартиру соседей, но ей не ответили. Только тогда она увидела, что у них на дверь наклеена полоска бумаги с печатью НКВД. И сразу поняла — этой ночью сослуживца ее мужа и всю его семью арестовали.

На следующее утро, одевая маленькую Милу, Марфа выглядела очень усталой. Сердито прикрикнув на расшалившихся детей, она нахлобучила на них панамки и повела с собой за покупками.

По дороге на рынок Марфа остановилась, чтобы завязать Людмиле шнурок на туфельке. Когда она нагнулась, к ней неслышно приблизилась девочка, что-то прошептала на ухо и быстро ушла. Вместо того чтобы встать, Марфа вдруг, как подстреленное животное, упала на колени. Испуганные дети попытались ее поднять. Через пару секунд она пришла в себя, встала и быстро зашагала домой, таща за собой маленькую Людмилу. Много лет спустя Марфа рассказала, что шепнула ей та девочка: «Сегодня ночью к вам придут с ордером на обыск».

Уже дома Марфа дала волю слезам. За двенадцать лет супружества она расставалась с мужем всего один раз: вскоре после их встречи он уходил служить в Красную армию. И вдруг сейчас, когда их семье грозила такая опасность, она оказалась одна.

В тот вечер дети легли спать голодными, мать только наспех собрала на стол остатки еды. Сама она не могла уснуть и, как призналась позднее Ленине, полночи стирала. Потом долго сидела у открытого окна, прислушиваясь, не едет ли машина. Но сон сморил ее, и она легла в постель.

Марфу разбудил громкий стук в дверь. Она взглянула на часы: было ровно четыре утра. Поспешно набросив халат, открыла дверь. Перед ней стояли четверо мужчин в черных кожаных куртках, перехваченных портупеей, и в сапогах. Офицер предъявил ордер на обыск и на арест ее мужа. Спросил, дома ли Бибиков. Марфа сказала, что он уехал, и попросила объяснить, в чем дело. Не ответив, мужчины оттеснили ее и приступили к обыску. Их громкие голоса разбудили детей, и маленькая Людмила заплакала. Один человек открыл дверь, включив свет,

осмотрел комнату и приказал девочкам замолчать. Людмила забралась в постель Ленины и плакала, пока не уснула. Когда в соседней комнате оперативники НКВД начали с бесцеремонным грохотом выдвигать ящики письменного стола и доставать из буфета посуду, растерянная Марфа зашла успокоить девочек.

Обыск продолжался двенадцать часов: в кабинете Бориса дотошно проверили каждую книгу, каждую папку. На робкую просьбу Марфы разрешить ей покормить детей ответили сухим отказом. Ленина навсегда запомнила их лица, «жесткие, как кожа на куртках». Закончив обыск, они конфисковали целую коробку документов, заставили Марфу расписаться и опечатали комнаты, так что мать с детьми — в одних ночных рубашках — остались в кухне. Когда дверь захлопнулась, обессилевшая от страха и утомления Марфа опустилась на пол и зарыдала. Девочки тоже заплакали, испуганно прижимаясь к матери.

Собравшись с силами, Марфа пошла в ванную и отжала мокрое белье. Потом умылась, велела Ленине следить за сестрой и быстро ушла. Она побежала в районный отдел НКВД, уверенная, что ее семья стала жертвой какой-то ужасной ошибки. Вернулась Марфа поздно вечером ни с чем и совершенно отчаявшаяся. Ей ничего не удалось выяснить, но она увидела там еще нескольких женщин, которые надеялись хоть что-нибудь узнать о судьбе своих исчезнувших мужей. Секретарь с каменным лицом бесстрастно отвечал, что мужчины находятся «под следствием», а жен своевременно проинформируют.

Марфа тогда не знала, что ее муж все еще был на свободе — в спальном вагоне он мчался на юг и, ничего не подозревая, предвкушал заслуженный отдых в элитном санатории.

Глава 2
«Не люди, а гиганты!»

Товарищи, выполним план!

Лозунг, написанный мелом
на стене заводской уборной
Борисом Бибиковым

Сохранилось всего две фотографии Бориса Бибикова. На одной — группа молодых веселых рабочих, снявшаяся у Харьковского тракторного завода примерно в 1932 году. Он сидит на земле, обхватив за плечи коротко стриженного парня. Бибиков — с бритой головой, как принято у большинства партийцев тех лет, в помятой рубашке с открытым воротом. В отличие от остальных, лицо его серьезно, взгляд строг.

Борис Бибиков (в первом ряду второй справа) с молодыми работниками Харьковского тракторного завода. Примерно 1932 год.

Другое фото, для партийного билета, сделано в начале 1936 года. На Бибикове френч, застегнутый на все пуговицы, а взгляд суров. В твердой линии рта угадывается жесткость характера — типичный партиец. В то время люди еще не научились естественно держаться перед камерой, и на фото для партбилета Бибиков напряженно смотрит в объектив, стараясь сохранить надетую на лицо маску. На обоих снимках вы видите не живого

человека, а только тот тип партийного руководителя, которому Борис хотел соответствовать.

Типичный партиец. Фотография Бориса Бибикова из партийного билета. 1936 год. Незадолго до этого, в возрасте 33 лет, он был назначен первым секретарем областного комитета партии в Чернигове.

Он ушел из жизни человеком без прошлого. Как многие люди его возраста и класса, Бибиков отбросил свою прежнюю ипостась,

как постыдную и опостылевшую кожу, чтобы возродиться в образе нового советского человека. Он столь тщательно создавал себя заново, что даже следователям, которые летом и осенью 1937 года пропускали его через мясорубку НКВД, скрупулезно регистрируя каждый шаг, удалось обнаружить лишь отрывочные сведения о его прошлом. О жизни Бибикова до вступления в партию вообще не осталось свидетельств — ни фотографий, ни документов, ни каких-либо записей.

Его семья по линии отца вела свое происхождение от одного из генералов Екатерины II, Александра Бибикова, заслужившего благосклонность императрицы. Она пожаловала ему звание сенатора и орден Св. Андрея Первозванного за организацию карательной операции и подавление в 1773 году крестьянского восстания под предводительством Емельяна Пугачева. Восстание, как и приказывала Екатерина, было усмирено с крайней жестокостью; число повешенных и забитых до смерти плетьми мятежников, осмелившихся выступить против власти, измеряется тысячами.

Борис Бибиков родился в Крыму в 1903 или 1904 году — в деле НКВД указана первая дата, его мать называла последнюю. Его отец Лев, мелкий землевладелец, умер, когда Борис и два его брата, Яков и Исаак, были еще маленькими. Бибиков никогда об отце не говорил. Их мать Софья была дочерью состоятельного еврея Наума, который владел мельницей и элеватором, что, видимо, и подсказало Бибикову указать при аресте весьма странную «профессию» — рабочий на мельнице. И еще: Борис знал английский и в Гражданской войне не участвовал.

Вот почти все, что нам известно о его прежней жизни. Яков, единственный из трех братьев переживший Вторую мировую войну (он скончался в 1979 году), был таким же скрытным — он никогда не говорил ни о своем прошлом, ни о расстрелянном брате. Для братьев Бибиковых существовало только будущее, они не оглядывались назад.

Не думаю, что мой дед был героем, но ему довелось жить в героическую эпоху, когда в каждом человеке рождается стремление к подвигу. Лозунг большевистской революции «Мир народам, земля крестьянам, хлеб голодным» в то время идеалистам и людям честолюбивым должен был казаться ярким, звонким и вдохновляющим на решительную борьбу за справедливое будущее. Большевики хотели превратить новую социалистическую Россию в авангард мировой революции. Вероятно, вскоре после того, как Октябрьская революция разрушила старый порядок, Бибиков, подобно многим

представителям «упраздненного класса», имел весьма романтическое представление о роли большевиков. А может быть, — кто теперь знает! — им руководило стремление выбиться в люди, тщеславие или зависть. Его наследство, мукомольное хозяйство в Крыму, было национализировано в 1918 году. Большинство богатых родственников, живших в Москве и в Петербурге, эмигрировали или были арестованы как «классовые враги». Новыми хозяевами России стали большевики, и умным, энергичным людям, к коим, безусловно, принадлежал Бибиков, был только один путь для карьеры — присоединиться к победившей стороне, и чем раньше, тем лучше.

Однако у нас осталась единственная свидетельница — Ленина, а она утверждает, что ее отец был человеком благородным и бескорыстным. И даже если это не совсем так, воспоминания Ленины окрашены искренностью ее детских эмоций. Поэтому будем исходить из предположения, что Борис и его братья, Исаак и Яков, захваченные величественными перспективами строительства нового общества, смелыми и свежими идеями, с неподдельным энтузиазмом бросились участвовать в этом строительстве.

В последний год Гражданской войны Борис поступил в только что открывшуюся Высшую партийную школу в Симферополе. Здесь должны были готовить новое поколение комиссаров для управления великой империей, которую удалось завоевать большевикам — к их немалому удивлению. В мае 1924-го, освоив курсы основ марксизма-ленинизма, агитации и пропаганды, мой дед стал членом РКП(б) — Российской коммунистической партии (большевиков). Пылкий юноша двадцати одного года готов был служить революции, куда бы она его ни направила.

Но самая неотложная и насущная задача революции оказалась весьма прозаической. Бориса послали на уборку урожая помидоров и баклажанов в новорожденный колхоз в Курман-Кемельчи, в степной части Крыма, где когда-то было татарское поселение, но два последних столетия в нем обитали этнические немцы. Именно там, на выжженных солнцем огромных полях, он встретил Марфу Платоновну Щербак, его будущую жену.

Незадолго до встречи с Борисом Марфа Щербак оставила свою младшую сестру Анну умирать на железнодорожной платформе в Симферополе.

Девушки, покинув родную деревню, что находилась в степи, недалеко от Полтавы, отправились искать работу на полях Крыма. Марфе исполнилось двадцать три года, и по крестьянским

понятиям того времени она уже считалась старой девой. В семье было одиннадцать сестер — двое братьев умерли в младенчестве, — и можно не сомневаться, что такое количество дочерей их отец Платон воспринял как Божью кару и был только рад избавиться хотя бы от двух.

В убогой и грязной деревеньке, затерянной в украинских степях, Марфа росла в обстановке мрачной подозрительности и безотчетной жестокости односельчан. Но даже привычные ко всему сестры считали Марфу завистливой, грубой и сварливой. Дурной характер вполне мог помешать ей выйти замуж в своей деревне, и, может быть, поэтому именно ее и Анну сочли в семье лишними ртами и отправили на заработки. Так или иначе, но выбор отца оказался первой и, возможно, самой глубокой душевной травмой, которая еще больше озлобила девушку.

Через Неделю сестры, сначала трясясь в кузове попутной машины, а потом в битком набитом поезде, наконец-то добрались до Симферополя. И тут, в страшной толчее, Анну вдруг бросило в жар, она потеряла сознание и упала. Люди расступились, с ужасом глядя на лежавшую в беспамятстве девушку с посиневшим лицом, которую сотрясала неудержимая дрожь. Кто-то выкрикнул: «Это тиф!» — и началась паника. Марфа в страхе бросилась бежать вместе со всеми.

Прожив до двадцати трех лет в большой семье, Марфа внезапно оказалась одна и испугалась. Страх попасть в карантин, в один из зловещих тифозных бараков, был вполне понятен. Но сознание, что она бросила Анну в беде, преследовало ее всю жизнь, она считала это серьезным грехом, за который и была жестоко наказана впоследствии. Растерянная, охваченная страхом, Марфа не призналась, что распростертая на платформе девушка — ее сестра, и как только подошел поезд, отправлявшийся на запад, она втиснулась в него вместе с обезумевшей толпой.

Через много лет невероятно сложной и тяжелой жизни Марфа рассказала Ленине о том, как бросила свою сестру умирать (впрочем, она так и не узнала, что с ней стало). Но рассказала как-то мимоходом, с таким видом, будто в этом не было ничего особенного. Что-то сломалось в ней, а может, в ее натуре никогда и не было способности сострадать ближнему.

Я с детства побаивался бабушку Марфу. В 1976 году она побывала у нас в гостях, впервые сев в самолет и в первый и последний раз оказавшись за границей. До визита в Англию свое самое дальнее путешествие она совершила на поезде, который доставил ее, узницу ГУЛАГа, в Казахстан, а спустя много лет —

обратно в Москву. В тяжелом чемодане она привезла с собой в Лондон комплект постельного белья, что было принято у советских людей.

Ходила она, неуклюже переваливаясь, как будто с трудом несла свое тело. Дома надевала дешевый халат из цветастого ситца и тяжелые ковровые шлепанцы; а на улицу облачалась в теплый шерстяной костюм. Она почти никогда не улыбалась. За семейным столом сидела молчаливая и мрачная, словно не одобряла буржуазной роскоши, в которой жила ее дочь. Однажды, когда я играл ножом и вилкой, как барабанными палочками, Марфа устроила мне строгий выговор, отчего у меня слезы выступили на глазах. Когда она уезжала домой, я нисколько не жалел, что расстаюсь с нею. Правда, меня сильно поразило, что, прощаясь с моей матерью, она вдруг горько заплакала. «Мы больше с тобой не увидимся», — твердила она дочери и оказалась права. Больше так ничего и не успела сказать — мой отец уже ждал ее на улице в своем оранжевом «фольксвагене», или, как все ласково его называли, «жуке», чтобы отвезти в аэропорт Хитроу.

Сейчас я часто думаю о Марфе, стараюсь забыть все рассказы о ней, чтобы оживить свои детские воспоминания. Я пытаюсь представить ее хорошенькой девушкой с высокой грудью, ставшей женой Бориса Бибикова. И удивляюсь, как у нее могла родиться такая живая и полная позитивной энергии дочь, моя мама. Восстановив кое-какие факты искалеченной жизни Марфы, я понимаю, что, однажды сломавшись, она полностью замкнулась в себе. Она ненавидела все вокруг и сама, лишенная счастья, готова была разрушить счастье близких. Я узнал ее маленьким ребенком, но даже тогда в ее равнодушных глазах и неловких объятиях мне виделось нечто жуткое и ущербное.

Поезд мчал Марфу на запад от Симферополя, в Курман-Кемельчи. Люди говорили, что там можно найти работу, поэтому она сошла на пыльном полустанке и направилась в контору колхоза. Рабочие руки действительно требовались, и ей дали койку в дощатом бараке для сезонных рабочих. Там она и встретила молодого комиссара Бориса Бибикова.

В ту бурную революционную эпоху браки между молодыми людьми столь разного происхождения заключались довольно часто. Борис был образованным и целеустремленным представителем новой партийной элиты, Марфа — безграмотной деревенской девушкой с безупречными крестьянскими корнями. Возможно, в выборе жены Борис руководствовался трезвым расчетом. Но, скорее всего, это была скоропалительная женитьба

после вспышки страсти, охватившей их знойной крымской ночью в высокой степной траве.

Первая дочка родилась у них через семь месяцев после того, как они «расписались» — такова была процедура бракосочетания после революции, в марте 1925 года. Бибиков назвал ее Лениной в честь недавно скончавшегося вождя революции Владимира Ильича Ленина. Девочке было восемь месяцев, когда ее отец ушел в Красную армию, и Марфа, показывая ей письма Бориса, твердила: «Это твой папа. Па-па».

Когда Бибиков вернулся домой, двухлетняя Ленина заплакала, увидев чужого дядю, а Марфа успокаивала ее — ведь это папа. Но Ленина заявила: нет, это не папа, и указала на коробочку, где хранились письма, мол, папа здесь. Очень похоже на детское пророчество: настанет день, когда Борис уйдет из дома и навсегда исчезнет из их жизни, а возвратится лишь пачкой казенных бумаг.

По-настоящему Ленина помнит отца с 1929 года, когда был начат проект, которому он посвятил себя целиком и который должен был продвинуть его в карьере. В апреле этого года XVI партконференция одобрила план первой пятилетки развития народного хозяйства. Гражданская война закончилась, генеральный секретарь ЦК партии Иосиф Сталин изгнал за границу своего основного соперника — Льва Троцкого, и партия представила грандиозный план восстановления хозяйства России, разрушенного войной и революцией. Это был не просто проект развития экономики — для молодых большевиков вроде Бибикова он казался конкретной программой построения счастливого социалистического будущего.

Суть плана заключалась в том, чтобы вовлечь крестьян, которые составляли более восьмидесяти процентов населения страны и считались опасными реакционерами, в новое социалистическое общество. Основной движущей силой революции были жители городов — рабочие и образованные пропагандисты идей социализма, подобные Бибикову. Крестьяне же с их презренным стремлением владеть клочком земли, вековой привязанностью к семье, роду и Церкви, бросали вызов партийной монополии на их душу. Поэтому и была поставлена такая цель: превратить деревни в «фабрики по выращиванию зерна», а крестьян — в рабочих.

«Сотни тысяч тракторов сделают из мужика коммуниста», — писал Ленин. Необходимо было перетащить как можно больше крестьян в города, где они станут послушными пролетариями. Те же, кто останутся на земле, должны трудиться в больших

коллективных хозяйствах — в колхозах. Но для эффективной работы колхозов и высвобождения рабочей силы для города требовались тракторы. Во время весеннего сева 1929 года по всей Украине насчитывалось всего пять тракторов. Огромные черноземные поля по-прежнему, как и многие века, обрабатывались с помощью конной тяги.

Партия решила изменить это положение. Сталин лично приказал построить два гигантских тракторостроительных завода: один в Харькове, на Украине, житнице России, а второй — в Челябинске, на Урале. Партия выдвинула лозунг: «Произведем первоклассные машины, чтобы основательно перепахать целину крестьянского сознания!»

Харьковский тракторный завод, или ХТЗ, решили строить рядом с городом, в чистом поле. Размах проекта потрясал воображение. На первый год строительства партия выделила 287 миллионов золотых рублей, 10 000 рабочих, 2000 лошадей, 160 000 тонн железа и 100 000 тонн стали. На кирпичи должна пойти глина, которую выкопают из котлована под фундамент. Единственными машинами на стройке тогда были двадцать четыре механические бетономешалки и четыре камнедробилки.

Основную рабочую силу набирали из безграмотных крестьян, только что оторванных от земли. Многие из них за всю свою жизнь не видели ничего, кроме плуга на конной тяге. Каменщики умели складывать русскую печь, но понятия не имели, как возводить кирпичное здание; плотники знали, как с помощью топора срубить крепкую крестьянскую избу, но не временный барак.

Неспроста о том времени говорили с огромным пафосом, сам Бибиков наверняка считал себя героем, а выполнение порученного ему задания — героическим подвигом. То, что строительство завода было закончено в рекордно короткие сроки, является неопровержимым свидетельством фанатичной веры и бешеной энергии строителей. В противоположность более поздним поколениям советской бюрократии, партийцы ХТЗ не были канцеляристами. Даже если отбросить преувеличения официальных отчетов, существуют достоверные доказательства, что им приходилось бродить по колено в грязи, неустанно подстегивая и убеждая растерянных, угрюмых и полуголодных крестьян. Более того, они сумели сделать крестьян не просто рабочими, но и сторонниками советской власти. Однако кроме необходимого оборудования и профессиональных рабочих требовалось нечто большее, чем просто вера — и страх, — чтобы изготовить из глины 90 миллионов кирпичей и построить из них гигант индустрии. Весь проект должен был показать, как

благодаря непреклонной воле партии народ преодолевает невероятные препятствия.

В Харькове Бибиков с семьей жил в большой коммунальной квартире в доме номер 4 по ул. Куйбышева, в солидном здании дореволюционной постройки, что соответствовало его положению перспективного партийного руководителя. Их соседями была бездетная еврейская семья, Роза и Абрам Лампер. Абрам был инженером, Роза превосходным поваром. Подозрения Марфы, что ее дочки предпочитают еду Розы, приправлялись врожденным крестьянским антисемитизмом.

Бибиков целыми днями пропадал на стройке, так что Ленина почти его не видела. Рано утром отца забирала служебная машина и привозила домой очень поздно, когда Ленина уже спала. Но все-таки он ухитрялся выкраивать время и в выходные дни брал уроки немецкого языка у красивой, аристократического происхождения, молодой учительницы. Поскольку Марфа подозревала их в любовной связи, Бибиков уходил, взяв с собой Ленину. Она помнит, как отец, держа ее за ручку, ведет мимо политехнического института «Гигант» и по дороге покупает ей какое-нибудь лакомство. Бибиков здоровался с учительницей, целуя ей руку — непростительно буржуазный жест, но этого никто не видел. Затем усаживал Ленину за книжку, а сам удалялся с учительницей в ее комнату, закрыв за собой дверь.

Иногда по вечерам он приводил домой своих заводских сослуживцев — например, Потапенко, секретаря партбюро завода, и Маркитяна, секретаря городского комитета партии. И хотя он не пил и не курил, Ленина помнит, что душой компании всегда был именно ее папа. Она описывает его как настоящего заводилу. «Я гордилась тем, что была дочерью лидера, а он был настоящим лидером, — вспоминает Ленина. — Он обладал волшебной властью заражать людей энтузиазмом».

Так или иначе, но, видимо, Бибиков действительно работал на строительстве великого завода с энтузиазмом, граничившим с фанатизмом. Один из его товарищей позднее рассказал Ленине, что, стремясь подбодрить рабочих, ее отец написал мелом на стене уборной: «Выполним план, товарищи!» Обязанностью Бибикова было обеспечивать постоянный приток рабочей силы, поэтому он ездил вербовать все новых и новых рабочих в деревни и в части Красной армии. Во время этих поездок то на поезде, то в разбитой телеге, то на автомобиле Бибиков и его помощники произносили перед безграмотной аудиторией страстные речи о будущей мощи ХТЗ, подкрепляя их красочными агитплакатами. Домой он возвращался измотанный и грязный. Ленина помнит,

как мать ворчала, что он подцепил вшей, когда ночевал в крестьянских избах, и кипятила его нижнее белье в большом эмалированном баке, с трудом водружая его на газовую плиту.

В 1977 году вышла история Харьковского тракторного завода, к сожалению, без имени автора. Но, видимо, ее написал служащий завода, который был очевидцем строительства ХТЗ с самых первых дней. В книге, в частности, рассказывается, о крестьянской девушке Варваре Шмель, приехавшей из далекой деревни к своему брату, чтобы вместе с ним работать на стройке. Ее жизнь на заводе стала ярким примером того, как рождался пролетариат в процессе индустриализации. Впервые увидев трактор, Варвара изумилась и, осматривая чудо-машину, вся перемазалась машинным маслом. Свидетелем этой сцены был «злобный молодой человек в ботинках на желтой каучуковой подошве» — иностранный корреспондент, олицетворение саркастически настроенного западного мира, убежденного в неисправимой темноте России.

«Символично! — воскликнул иностранец. — Мисс крестьянка осматривает трактор. И каков же результат? Она только измазала себе лицо. Я говорил и всегда буду говорить — строительство этого завода является нереальным проектом. Я бы от всей души посоветовал этой мисс не тратить время попусту, вернуться домой и варить… как это называется?.. щи с капустой».

Официальная история утверждает, что «люди приезжали со всех концов страны, многие в ответ на призыв партии и комсомола. Это были подлинные энтузиасты, страстно преданные порученному им делу и отдававшие ему все свои силы. Они составляли костяк строителей, авангард борцов за создание надежного фундамента социалистического хозяйства».

На самом деле все обстояло несколько иначе. Большинство стекавшихся на стройку людей были крестьяне, бежавшие от голода и войны, которую молодое советское государство развязало против своего же народа.

«Партия права в своем решении о переходе от политики ограничения эксплуататорских тенденций кулачества к политике ликвидации кулачества как класса», — гласит постановление ЦК ВКП(б) от 5 января 1930 года. В мире куда более известен Ванзейский меморандум 1942 года «об окончательном решении еврейского вопроса», но приговор коммунистической партии, обрекший кулаков на истребление, погубил вдвое больше людей.

Для раскулачивания крестьян — лишения их земли и конфискации «запасов» зерна в пользу города и на экспорт — в деревни направлялись войска и оперуполномоченные НКВД, они выискивали зажиточных крестьян — таким считали любого, кто

работал усерднее своих соседей или уклонялся от вступления в колхоз. Красная армия, закаленная в огне Гражданской войны, теперь воевала с крестьянами. Проводились массовые расстрелы, сжигались целые деревни, а жителей силой отправляли в ссылку, заставляя зимой идти пешком, или их везли в вагонах для скота в концентрационные лагеря, разбросанные по всей стране. Ссыльных крестьян охранники называли «белым углем».

«Это была вторая гражданская война, на этот раз против крестьян», — писал Александр Солженицын в своей эпопее «Архипелаг ГУЛАГ», «художественном исследовании» трагедии того времени. «Это был Великий Перелом, да только не говорят — чего перелом? Русского хребта».

К началу 1930 года после окончания этой войны, в которой одна сторона не имела оружия, в колхозы была объединена половина крестьянских хозяйств Украины. 2 марта 1930 года партийная газета «Правда» опубликовала статью Сталина «Головокружение от успехов», где он обвинил в жестокостях и перегибах при проведении коллективизации местные партийные кадры. На самом деле коммунисты на местах были растеряны и деморализованы. Крестьяне массами бежали из колхозов, и их сопротивление системе достигло таких масштабов, что сам Сталин вынужден был временно отступить.

Несмотря на террор, разыгравшийся в деревнях, Бибиков и другие партийцы всеми силами наращивали темп строительства громадного тракторного завода.

«Когда перелетные птицы стаями возвращаются из далеких южных стран, когда в небе начинает петь жаворонок и земля оттаивает под теплым солнцем, степь начинает сверкать тысячами лопат», — высокопарно пишет автор передовицы в «Правде». На самом деле люди работали в невероятно трудных условиях. Из-за нехватки гужевого транспорта — к 1934 году Россия лишилась половины поголовья лошадей — людям приходилось перетаскивать тяжелую глину, вырытую из котлована под фундамент, на носилках. Плотники наспех поставили 150 бараков для рабочих, а первые кирпичи для возведения дымовой трубы кирпичного завода обжигались во временной подземной печи. По наскоро проложенным рельсам на стройку пригнали два вагона, один переоборудовали под баню, другой — под передвижную больницу. В цехах из-под дощатого пола вылезала жидкая грязь, и каждый вечер у стен бараков выстраивались для просушки сотни мокрых лаптей. Стены завода медленно вырастали на месте той самой глины, из которой их строили.

Бурное строительство развернулось по всему Союзу. По

велению партии в голой степи возводились гигантские металлургические комбинаты: на Урале — в Магнитогорске, в Томске; а в Свердловске строился громадный завод тяжелого машиностроения, будущий Уралмаш; еще один крупнейший тракторный завод в Челябинске, известный как ЧТЗ, а также завод комбайнов, «степных кораблей». На Украине поднимались новые металлургические заводы в Кривом Роге и в Запорожье, новые угольные шахты появились в Донбассе. Каждый день во время первой пятилетки закладывался фундамент одного предприятия и создавалось 115 колхозов. По всей стране претворялись в жизнь кажущиеся фантастическими проекты, утвержденные в Москве Политбюро. Государство уже доказало свою беспощадность к врагам революции, но расплата за невыполнение производственного плана была еще более жестокой. Однако трудно поверить, что эти чудеса индустриализации создавались лишь под страхом наказания. В пропагандистских целях газеты и журналы постоянно помещали снимки радостных, сияющих улыбками рабочих, но я думаю, в сердцах людей, участвовавших в этом грандиозном строительстве, действительно расцветала искренняя и торжествующая гордость за их свершения — пусть даже на краткий миг.

К концу лета 1930 года, меньше чем за один год пятилетки, был возведен остов завода — стены, тысячи квадратных метров застекленных крыш, трубы, горны, топки, дороги, рельсы. Начала выходить заводская многотиражка под названием «Темп», призывающая рабочих повысить производительность труда и ускорить строительство завода. Ее главным редактором стал Бибиков, он регулярно писал передовицы и руководил курсами для начинающих журналистов, которых набирал из числа наиболее грамотных рабочих. Кроме того, он отослал несколько статей для «Известий», ежедневной газеты, основанной еще самим Лениным. С каким волнением Бибиков покупал газету в день выхода его публикаций! — вспоминает Ленина. К сожалению, в большинстве случаев имя автора не указывалось, так что о содержании статей Бибикова нам остается только гадать.

Александр Григорьевич Каштаньер — в 1931 году в газете «Темп» он был стажером — написал в 1963-м для Людмилы свои воспоминания о Бибикове. «Тогда вашего отца знал каждый работник завода. Я слышал речи товарища Бибикова на стройке, в цехах, на собраниях. Помню, это были пламенные, зажигательные речи. В то бурное время даже название газеты — „Темп“ — отражало настроение строителей тракторного завода: работайте, не теряйте ни минуты, повышайте темп! Вы можете гордиться

своим отцом: он был преданным солдатом ленинской гвардии. В наших сердцах хранится о нем яркая память!»

В феврале 1966 года (после официальной реабилитации Бибикова при Хрущеве) газета «Правда» опубликовала рассказ о строительстве ХТЗ, в котором передана особая атмосфера героического рождения завода. «Я провел воскресный день в доме [рабочего] Черноиваненко, и мы весь день говорили о сегодняшней жизни завода, — пишет неизвестный корреспондент. — Но память постоянно возвращала нас к тридцатым годам. Какое это было время! В СССР начиналась эпоха индустриализации! Мы вспоминали людей, работавших на ХТЗ, какими они тогда были. Суровый на вид, но исключительно справедливый директор Свистун, партийный агитатор Бибиков — жизнерадостный и душевный товарищ, вдохновлявший нашу молодежь на преодоление трудностей. Требовалось ли застеклить крышу в рекордно короткий срок, или залить гудроном полы, или установить новое оборудование — он добивался этого не приказами, а страстным убеждением». «Они не были обычными людьми, — говорит Черноиваненко глухим голосом, сдерживая волнение, — они были гигантами!»

Стремясь выполнить проект в установленные сроки, Бибиков отстаивал, казалось бы, парадоксальную систему «социалистического соревнования» — то есть состязания между разными сменами за большую производительность труда, выделял героев из среды рабочих. «Это люди, которые своим примером воодушевляли других на великие достижения в труде и вошли в историю завода как настоящие герои. Легендарные люди!» Бибиков и отдел пропаганды «Темпа» называл героями таких рабочих, как, например, Дмитрий Мельников — он собрал американский 16-тонный экскаватор «Марион» за шесть дней, а не за две недели в соответствии с инструкцией производителя. О подобных поразительных достижениях с гордостью сообщали заводские стенгазеты. В то же время крепко доставалось нерадивым: «Я, разливальщик цемента из бригады Кузьменко, три часа простоял как бездельник из-за разгильдяйства N, — читаем в стенгазете 1930 года. — Я требую, чтобы героям-рабочим нашей бригады заплатили за этот простой из его кармана».

Но, несмотря на все восторги, строительство продвигалось довольно медленно, а тем временем приближалась тринадцатая годовщина Октябрьской революции и крайний срок окончания строительства. По призыву парткома мастера организовали «ночные штурмы», и рабочие соревновались в сопровождении духового оркестра.

Рабочие и руководство завода быстро увлеклись этой идеей, а

пресса по всей стране без устали сообщала об удивительных (и все более превышавших человеческие возможности) подвигах. Одним из мотивов бесконечных статей «Правды» было стремление поразить иностранцев и опрокинуть их прогнозы. Не желая отставать, вскоре и ХТЗ поставил свои собственные рекорды.

«Рабочие опровергли расчеты иностранных специалистов относительно производительности бетономешалки „Кайзер“, — с гордостью пишет историк завода. — В частности, профессор Зайлигер утверждает, что эта машина за восьмичасовую смену может выдать максимум 240 порций бетона. Но коммунисты тракторного завода решили увеличить эту норму». На смену вышли 400 человек и героически выдали 250 порций. «Иностранные специалисты и их расчеты для нас не закон», — хвастливо заявил передовой рабочий Г. Б. Марсунин корреспонденту газеты «Темп».

Теперь заводской оркестр играл целыми ночами, правда, грохот шести кайзеровских бетономешалок заглушал музыку. Бригадиры носились взад-вперед, подстегивая рабочих. За несколько следующих месяцев были поставлены новые рекорды: 360, а затем и 452 порции смеси. В Харьков со всего Союза съехались разливщики бетона, чтобы отпраздновать поразительные рекорды ХТЗ. Из Австрии прибыл главный специалист по бетонным смесям, сам таинственный профессор Зайлигер и с изумлением наблюдал за работой. «Да, вы работаете, это факт!» — приводит «Темп» его слова.

Кроме того, были поразительные достижения при укладке кирпича. Аркадий Микунис, молодой энтузиаст-комсомолец, оставался после своей смены, чтобы посмотреть, как работают старые опытные каменщики, и в свободное время читал специальные журналы; в результате он быстро перегнал своих учителей с их нормой 800 кирпичей в смену. В одну из специально организованных «ночей штурма» Микунис уложил 4700 кирпичей — больше, чем американцы, горделиво писала «Темп». Когда он был в отпуске в Киеве, его попросили продемонстрировать свое мастерство местным каменщикам, и он уложил 6800 штук. Об этом стало широко известно, и из Гамбурга приехал рекордсмен Германии по укладке кирпичей: проработав полсмены, он отказался продолжать соревнование с Микунисом. Но Микунис не остановился и поднял свой рекорд до немыслимой цифры — 11 780 кирпичей за день, то есть в три раза больше предыдущего мирового рекорда. За свое выдающееся мастерство — один кирпич за четыре секунды при двенадцатичасовой работе без перерыва — Микунис был

награжден орденом Ленина.

И словно этих рекордов было недостаточно, Бибиков еще организовал вечерние занятия, стремясь «повысить уровень социалистической сознательности и квалификацию» рабочих завода. К весне 1931 года большинство из тех, кто всего год назад были безграмотными голодными крестьянами, способными только копать землю под котлован, стали охотно посещать вечернюю школу, чтобы приобрести профессию машиниста или инженера. По окончании смены в столовой начиналось настоящее столпотворение — все торопились к началу занятий. Пятистам энтузиастам особенно повезло — их командировали на заводы Сталинграда и Ленинграда, где они должны были освоить работу на новом, специальном оборудовании.

Постоянные задержки на заводе Бибиков объяснял своей многострадальной жене тем, что он преподает марксизм-ленинизм особо развитым бригадирам и управляющим, а также проводит собрания и читает лекции по политической экономии для руководства завода и рядовых рабочих. Легко представить себе такую картину: наголо бритый, энергичный человек в матросской тельняшке обращается к сидящим на скамейках людям, жаждущим знаний и просто любопытствующим, а те как губка впитывают новые знания. Маркс и Ленин постепенно вытесняли из их душ и умов ревнивого православного Бога, с которым они выросли.

Тридцать первого мая 1931 года прибыл председатель ВСНХ, нарком тяжелой промышленности, член политбюро ЦК ВКП(б) Серго Орджоникидзе, и его почтительно провели по почти полностью возведенному зданию завода. Орджоникидзе приказал закончить строительство к 15 июля, а затем немедленно приступить к установке оборудования. Памятуя о невысказанных вслух карах, неудивительно, что работу сдали в срок.

К 25 августа 1931 года с конвейера сошли первые опытные образцы тракторов. 25 сентября директор завода отправил в ЦК телеграмму с рапортом, что ХТЗ выйдет на полную мощность к 1 октября, как и запланировано, — всего через год и 3 месяца после начала земляных работ.

На церемонию торжественного открытия в гигантском цеху собрались двадцать тысяч человек. Прибыли высокопоставленные руководители из Москвы, а также пролетарский поэт Демьян Бедный, чтобы воспеть это великое событие в стихах. Над территорией завода летал биплан, разбрасывая листовки с приветствиями «гиганту пятилетки». Присутствовали и иностранные журналисты в ботинках на желтой каучуковой подошве, «такие же надменные, но менее самоуверенные».

Варвара, та самая крестьянка, над которой когда-то насмехались, посещала заводские курсы и стала квалифицированной работницей прессовочного цеха.

Председатель Всеукраинского ЦИК Григорий Иванович Петровский перерезал красную ленточку, скрылся в цеху и затем выехал на украшенном гвозди́ками, сверкающем свежей красной краской тракторе, который вела победительница соревнования Маруся Бугаева, а заводской духовой оркестр играл «Интернационал». За ним с грохотом выкатились десятки других тракторов. В специальном выпуске заводской многотиражки «Темп» приводятся слова одного колхозника: «Товарищи! Да это же чудо!» Сатирический журнал «Крокодил» поместил телеграмму, полученную от руководства завода: «Первого октября пуск Харьковского тракторного завода приглашаем представителя редакции церемонию открытия. Директор завода Свистун. Партсекретарь Потапенко. Председатель заводского комитета Бибиков». Специально в честь этого события журнал напечатал стихи «Строителям Харьковского тракторного завода».

Всем, всем, всем строителям-героям,
Участникам одной из великих побед,
Поработавшим над Харьковским тракторостроем,
Пламенный крокодильский привет!
«Крокодил», восхищенный радостной вестью,
Вилы свои перед вами склонил:
Вы выполнили задание с большевистской честью,
Харьков темпам не изменил…
Ударный срок: год и три месяца!

Но на фоне всеобщего ликования в регионе назревала тяжелейшая катастрофа. Харьковские трактора появились слишком поздно, чтобы убрать урожай 1931 года, который после опустошительной коллективизации оказался очень скудным. Так называемые «фабрики по производству зерна» поставили немногим больше половины того количества зерна, что на тех же полях собрали пять лет назад. У крестьян оставался единственный способ протеста — забить скот и съесть как можно больше запасенных продуктов, пока не пришли комиссары, чтобы отнять их. Свидетели из Красного Креста сообщали, что видели людей, «опьяневших от еды», с остекленевшими от переедания глазами и с ужасом сознающих последствия содеянного.

Неудивительно, что крестьяне неохотно работали в колхозах. Однако государство забирало зерно не только для городского населения, но и на экспорт, чтобы за валюту приобретать

иностранное оборудование для заводов, подобных ХТЗ. В США и Германию для закупки паровых молотов, прокатных станов и прессов были командированы советские инженеры, а с ними отправлены сундуки советского золота, вырученного за зерно, проданное по демпинговым ценам. Установленный на ХТЗ американской паровой молот — за его поломку Бибикова позднее обвинили в саботаже — стоил 40 000 золотых рублей, на них можно было купить примерно тысячу тонн пшеницы, которой хватило бы миллиону человек на три дня.

В октябре 1931 года из скудного урожая в 18 миллионов тонн советское правительство реквизировало 7,7 миллиона. Большая часть зерна пошла на продовольствие для городов, поддержку советской власти, а 2 миллиона были отправлены на Запад. В результате в стране начался страшный голод.

Во время экспроприации 1929–1930 годов от голода вымирали целые деревни, если их жители сопротивлялись комиссарам, которые в качестве карательной меры отбирали все продукты, какие только могли найти. Когда же началась жестокая зима 1931 года, голод охватил всю Украину и юг России. Миллионы крестьян хлынули из деревни в города, сотнями умирали на улицах Киева, Харькова, Львова и Одессы. Поезда, проходящие по охваченным голодом областям, сопровождала вооруженная охрана, не давая населению взять их штурмом. Один из самых душераздирающих образов России этого времени — фотография отощавшего крестьянина, пойманного на украинском базаре, когда он продавал мясо расчлененных детей.

Новые обширные поля колхозов обнесли по периметру сторожевыми вышками, как в ГУЛАГе, чтобы уберечь урожай от воров. Появился закон, по которому за кражу нескольких колосков присуждали до десяти лет лишения свободы и даже расстрел; так в Харькове за год только один районный суд приговорил к смертной казни 1500 воров. Сторожили поля на башнях юные пионеры — дети от десяти до пятнадцати лет. В 1932 году пятнадцатилетний Павлик Морозов стал национальным героем — он выдал властям собственного отца-кулака. За это легендарный Павлик был убит, возможно, его дедом. История этого юного революционного мученика появилась в передовицах «Правды», после чего стали появляться книги и песни о его героическом поступке.

«То, что я там увидел, нельзя выразить никакими словами. Это такое нечеловеческое, невообразимое горе, такое страшное бедствие, что оно становилось уже как бы абстрактным, не укладывалось в границы сознания», — писал Борис Пастернак после поездки по Украине. Молодой журналист Артур Кёстлер

нашел «громадные опустевшие пространства, окутанные тишиной». Английский социалист Малкольм Маггридж отправился на поезде в Киев, где видел собственными глазами голодающий народ. «Я говорю именно о голоде в его буквальном смысле, а не просто о недоедании», — писал он. Более того, Маггридж выяснил, что имеющиеся запасы хлеба раздавали воинским частям, которые ввели на Украину, чтобы препятствовать бунту голодающих крестьян. Пораженный Маггридж покинул Советский Союз, убедившись, что он стал «свидетелем одного из самых страшных преступлений в истории, настолько ужасающего, что в будущем люди едва поверят, что так было».

Ужаснулся даже такой закаленный революционер, как Николай Бухарин. «Во время революции мне довелось видеть такое, чего я не пожелал бы даже своему врагу. И все-таки 1919 год невозможно сравнить с тем, что происходило в период между 1930 и 1932 годами», — коротко писал Бухарин незадолго до своего расстрела в феврале 1938 года. «В 1919-м мы дрались за свою жизнь… но в этот более поздний период мы проводили массовое уничтожение совершенно беззащитных мужчин с их женами и детьми».

Голод был не просто следствием природной катастрофы, он был оружием, намеренно направленным против крестьянства государством. «Оно воспользовалось голодом, чтобы показать им, кто здесь хозяин, — сказал один из руководящих партийных чиновников Виктору Кравченко, начальнику Управления военного снабжения Совнаркома РСФСР, который в 1944 году, будучи командирован в США, остался в Америке. — Это стоило жизни миллионам людей… но мы выиграли войну».

Бибиков тоже должен был видеть голод — высохшие лица, раздутые животы и пустые глаза. Ему приходилось часто разъезжать по делам партии и завода в черном «паккарде» или в вагонах первого класса с часовыми в коридоре. Он не мог не знать, что в соответствии с секретным приказом городских властей ночью по улицам украинских городов ездили специальные грузовики, подбиравшие трупы крестьян, бежавших из деревни. Множество голодающих добирались до опутанной колючей проволокой территории ХТЗ. К утру для тех, что предпочитал ничего не замечать, не оставалось и следа разыгравшейся вокруг трагедии. Джордж Бернард Шоу — после старательно организованной властями поездки по Украине в 1932 году — заявил, что он «не видел в России ни одного голодающего человека». Уолтер Дюранти, лауреат Пулитцеровской премии,

корреспондент «Нью-Йорк таймс», считал разговоры о голоде антисоветской пропагандой. Для партии умирающие от голода крестьяне были всего-навсего расходным материалом революции, на них не стоит обращать внимания, пока они не умрут, после чего можно окончательно забыть. Руководители партии хотели, чтобы мир видел лишь блестящие достижения, а не цену, которой за них заплачено. Бибиков старался, чтобы его семья ничего не знала о голоде. В памяти Ленины Харьков тех лет запомнился базаром, полным овощей и фруктов; колбасой и коробками конфет, которые ее папа приносил из заводской столовой. Она не помнит, чтобы в чем-то нуждалась. О чем думал Бибиков, укладывая в портфель бумажные пакеты с сосисками и колбасой, когда на город опускалась ночь с ее жутким урожаем голодных и отчаявшихся беженцев из деревень? Я уверен, что он думал: «Слава богу, это не мы, а они».

От трагедии коллективизации, происходившей два года назад, можно было отмахнуться, как от войны против классового врага революции, против кулаков. Но теперь эти враги были ликвидированы, созданы колхозы будущего. Однако даже ослепленные идеологией люди видели, что рабоче-крестьянское государство не способно накормить свое население. Более того, при всех безусловных достижениях коллективизации было также ясно, что продолжающееся построение социалистического общества держится лишь на все возрастающем насилии. Уже в октябре 1930 года вышел закон, запрещающий свободное перемещение рабочей силы, привязав крестьян к их земле, а рабочих к заводам, как во времена крепостного права. В декабре 1932-го были введены паспорта для ограничения притока голодающих крестьян в города.

Превратила ли Бибикова в циника его непреклонная преданность партии перед лицом все растущих свидетельств того, что мечта становится кошмаром? Трудно сказать, прежде всего потому, что у него не было иного выхода, как следовать линии партии. Иначе пришлось бы оказаться среди голодающих или того хуже. Однако, несомненно, он был достаточно умен и понимал, что в фундаменте того светлого будущего, за которое он боролся всю свою сознательную жизнь, появились серьезные трещины.

Возможно, как и многие другие люди его поколения, он убедил себя в величайшей ереси двадцатого века: буржуазной сентиментальности нет места в сердце поборника высшей гуманности. Возможно, он верил, что в конце концов из всего этого хаоса партия сумеет создать новый светлый мир. Или,

может быть, он просто считал своим долгом победить темноту и невежество России с вечно голодным и нищим населением, участвовать в превращении ее в современную индустриальную страну. Скорее всего, существует более понятное объяснение: гораздо проще жить, создав собственный миф, и продолжать верить в бесконечную мудрость партии, чем высказаться и попасть в опалу.

Вместе с тем опустошенная голодом страна, которую видел Бибиков зимой 1931–1932 года, кажется, глубоко потрясла его. Да, партия всегда права, но тактику партии по меньшей мере следовало изменить. Подобно многим партийным функционерам, жившим на Украине и видевшим ужасы, порожденные жестокой линией Сталина, Бибиков понимал, что во избежание катастрофы сталинскую политику необходимо смягчить. Его шанс высказаться появился через полтора года, незадолго до рождения второй дочери, Людмилы Борисовны Бибиковой, моей будущей матери.

Глава 3
Смерть коммуниста

Это было давным-давно, и этого никогда не было.

Евгения Гинзбург

В первых числах января 1934 года, оставив дома жену на сносях, Бибиков с ведущими работниками завода специальным поездом отправился в Москву, на XVII съезд ВКП(б). Поскольку он никогда не говорил с Марфой о политике, она даже не подозревала, что Борис решится на столь отважный поступок, который потом будет стоить ему жизни.

На съезде, получившем название «съезд победителей», торжественно отмечались триумфальное выполнение первой пятилетки, построение фундамента социалистической экономики и ликвидация последнего капиталистического класса — кулачества. Но, несмотря на официальные восхваления успехов партии, чувствовалась огромная усталость как в среде руководящих кадров, так и у рядовых партийцев. Подобно многим другим делегатам, Бибиков ясно понимал необходимость положить конец голоду, продолжавшему пожинать свой страшный урожай на юге России. Да, пятилетний план выполнен ценой невероятных усилий, но члены партии, работавшие в разных сферах производства, видели, что люди не в состоянии бесконечно выдерживать такой бешеный, нездоровый темп. Однако Сталин, этот кабинетный подстрекатель, в своей речи призывал принять все меры для увеличения производительности труда на заводах и фабриках, повышения урожайности в сельском хозяйстве и завершения коллективизации, несмотря на очевидные неудачи в решении этой задачи.

Открыто против этих призывов на съезде никто не выступил. Но среди делегатов шли разговоры о том, что Сталина, захватившего слишком много власти на не столь уж важном тогда посту генерального секретаря ЦК партии, стоило бы заменить более скромным и умеренным Сергеем Кировым. В то время — член Политбюро ЦК, он пользовался не меньшим авторитетом, чем Сталин. Киров был героем Гражданской войны, ближайшим соратником Ленина и самым блестящим партийным оратором после Троцкого.

Бибиков и его украинские единомышленники были ободрены

кажущейся атмосферой открытости на съезде, ощущением, что предстоит серьезный идеологический спор на равных по поводу продолжения великого социального эксперимента, который проводила партия. А потому они с легким сердцем поддержали Кирова, предложившего несколько умерить темп работы. Это оказалось их роковой ошибкой. Сталин, который уже был параноиком, воспринял предложение Кирова — смягчить жесткие методы коллективизации — непростительным оскорблением и вызовом его идеологическому руководству. Он не забыл, кто и как голосовал на съезде, однако обрушил свой карающий меч лишь через четыре года. В ходе проведенной тогда чистки рядов партии погибли 1108 из 1966 делегатов XVII съезда. А пока съезд закончился обычной бурной овацией и призывами к дальнейшим победам. Бибиков, как и все делегаты, стоя аплодировал Сталину и членам Политбюро. Но решающей смены партийной линии не произошло: Киров отказался бросить открытый вызов Сталину, хотя тот еще не был неоспоримым вождем партии. Нужно отметить, что якобы открытые диспуты относительно политики партии не возобновлялись вплоть до времен Михаила Горбачева, когда проявившиеся разногласия навсегда скомпрометировали КПСС.

Вторая дочь Бибикова, Людмила, родилась 26 января 1934 года, незадолго до его возвращения из Москвы. Хотя старшую он назвал в честь Ленина, вторую не захотел назвать Сталиной — к тому времени уже начали проявляться признаки культа личности генсека.

■

На заводе, в кипучем рабочем ритме, месяц за месяцем пролетали без какого-либо намека на политическую катастрофу, которую исподтишка готовил Сталин. Но вот однажды, вечером 2 декабря 1934 года, вспоминает Ленина, папа вернулся с завода в слезах. Он опустился на кожаный диван в гостиной и долго молчал, обхватив голову руками.

— Мы пропали, — тихо сказал жене Бибиков.

Ленина спросила мать, что случилось. Не ответив, Марфа отослала ее спать.

Оказалось, что накануне ночью какой-то террорист-одиночка застрелил Сергея Кирова в его рабочем кабинете в Смольном. «Мы пропали», — повторял Бибиков, глубоко скорбя о гибели человека, которого безмерно уважал. Но не плакал ли он и о себе? Не горевал ли он о допущенной им ошибке, когда на съезде поддержал проигравшую сторону? Несмотря на внешнюю грубоватую пролетарскую простоту, Бибиков наверняка был человеком политически чутким, способным уловить, откуда дует

ветер. И, рыдая о Кирове, он наверняка припоминал все свои разговоры на съезде, гадая, не слишком ли много опасного наговорил.

Но и теперь молот ударил не сразу. На похоронах Кирова Сталин тоже плакал, с ближайшими соратниками нес на плечах гроб, произносил траурные речи от имени скорбящего народа. Он не спешил отомстить своим врагам, угнездившимся в самом сердце партии, которых его зоркий глаз приметил во время съезда.

На местном уровне партийная машина продолжала функционировать по-прежнему четко. Производительность ХТЗ неуклонно росла, и голод, к счастью, остался позади — не потому ли, что миллионам умерших уже не нужно было хлеба? Бибикова и еще троих из администрации ХТЗ наградили орденом Ленина, ему достался орден под номером 301, в бархатной коробочке. Это предвещало еще большие почести. В конце 1935 года пришло долгожданное повышение: его назначили секретарем областного комитета партии в Чернигове. Бибикову было всего 32 года, а он уже значительно продвинулся на пути к высокому положению в партии, в дальнейшем рассчитывая стать членом ЦК Украины или даже союзного Центрального Комитета.

После оживленного и шумного Харькова с его заводским грохотом, дымом и скрежетом тихий Чернигов должен был показаться ему возвращением в прошлое, в дореволюционную страну: на высоком берегу неторопливо несущей свои воды Десны — древние соборы черниговского кремля, густой лесопарк чуть ли не в самом центре и летом в воздухе тополиный пух, густо устилавший улицы. Город сохранил свою старую застройку: невысокие, украшенные резными наличниками купеческие дома — здесь по-прежнему ощущался дух старой провинциальной основательности, а по утрам многочисленные церкви наполняли город колокольным звоном. Чернигов был достаточно удален от центра, благодаря чему благополучно пережил большевистскую кампанию по борьбе с религией, этим «опиумом для народа», когда варварски уничтожались бесценные памятники древней архитектуры; и слишком далеким от крупных промышленных центров Восточной Украины, где энергично ковалось будущее социализма. Это была тихая заводь, но Бибиков был уверен, что если сумеет добиться успехов на новом партийном поприще, то долго здесь не задержится.

Бибиковы жили по высоким стандартам привилегированных членов партии. Спартанские принципы партийной этики начала 30-х годов один за другим уходили в небытие. Элита быстро

создавала себе привилегии, которые поднимали ее над рядовыми согражданами. Марфа делала покупки в специальном партийном магазине, а Бибиков мог проводить отпуск в санатории для партийного руководства на побережье Черного моря. Каждый месяц Бибиков вручал Марфе пачку купонов на импортные продукты, текстиль и обувь из магазина «Инснаб». Семья переехала в большую четырехкомнатную квартиру с красивой мебелью, конфискованную у богатой купеческой семьи для новых правителей Чернигова. Там Варя до ослепительного блеска начищала толченым кирпичом сковородки и кастрюли Бибиковых.

Борис соорудил в кабинете полки до самого потолка и заполнил их книгами, которые читал, сидя в солидном кожаном кресле. Возвращаясь с работы, он заходил в книжный магазин и покупал дочкам детские книжки, а себе труды партийных идеологов. Когда Марфа ругала Ленину, девочка тайком пробиралась в кабинет отца и с плачем забиралась к нему на колени. «Не будем на нее жаловаться, давай лучше укреплять наш союз», — шутил он, используя злободневную партийную стилистику.

В первую же зиму девочки появились на кремлевском валу, идеальном месте для санного спуска, с салазками на железных полозьях, которые им смастерил еще в Харькове живший по соседству старик. Вокруг сразу собралась толпа ребятишек, с завистью глядевших на это чудо. Летом Марфа по выкройкам из московского журнала мод сшила девочкам белые шляпки в виде колокольчика и платья из импортного набивного ситца. Стремясь соответствовать своему положению супруги крупного руководителя, она стала называть себя Мара, считая, что Марфа звучит слишком по-деревенски, — странный выверт социального снобизма в стране победившей пролетарской диктатуры. А Бибиков оставался таким же «трудоголиком», правда, все больше времени проводил за разговорами с товарищами по партии — но без выпивки — у себя на кухне. Он приобрел для Марфы и Ленины абонемент в недавно построенный театр, но сам не бывал там, поскольку каждый вечер работал часов до девяти и спектакли к тому времени уже заканчивались.

Никогда Ленина не чувствовала себя такой счастливой, как в те дни своего тайного союза с обожаемым папой. «Я и сейчас все так ясно помню, — говорила она спустя много лет. — Словно вижу сон. Трудно поверить, что все это действительно было».

Бибиков настолько успокоился, что стал позволять себе интрижки с женщинами, во всяком случае — более открыто. Ленина помнит, как Марфа устраивала ему в кухне скандалы,

обвиняя его в многочисленных любовных связях. Именно тогда, в январе 1936 года, когда партия призвала всех своих членов обновить партийные кадры, с тем чтобы изгнать недостойных, Бибиков и снялся во френче. На его серьезном лице можно даже уловить намек на некоторое самодовольство.

Но за пределами внешне спокойной жизни украинского городка в стране разворачивалась трагическая фантасмагория. В НКВД, возглавляемом садистом Николаем Ежовым, готовились развязать очередную гражданскую войну, только на этот раз не против белогвардейцев или крестьянства, а против более коварного врага — предателей внутри самой партии.

Первыми попали под репрессии старые большевики, чьи революционные заслуги и признанный авторитет могли поколебать положение Сталина. В августе 1936 года в Москве перед показательным судом предстали члены первого ленинского политбюро Лев Каменев и Григорий Зиновьев — они признались, что являются шпионами империализма. Во время процесса на них обрушились неслыханные оскорбления генерального прокурора СССР Андрея Вышинского. Затем последовали публичные суды над «вредителями», руководителями промышленных предприятий, которых огульно обвиняли в саботаже. Они признавались, что являются членами контрреволюционной организации, ставившей своей целью помешать победе социализма. Опаснейший соперник Сталина Лев Троцкий, объявленный руководителем контрреволюционного движения, был изгнан из страны уже в 1929 году. На этих первых процессах оттачивалась терминология и методы грядущей Великой Чистки.

До 1937 года Украина находилась в относительной безопасности, в то время как на показательных судах в Москве был осужден каждый десятый из советской элиты — армии, интеллигенции и правительства. А ведь это была Украина, которую Сталин считал оплотом троцкизма и потенциальной оппозиции. Но когда тщательно продуманную им репрессивную машину наконец запустили на всю мощь, и Украине пришлось почувствовать на себе всю силу сталинского гнева.

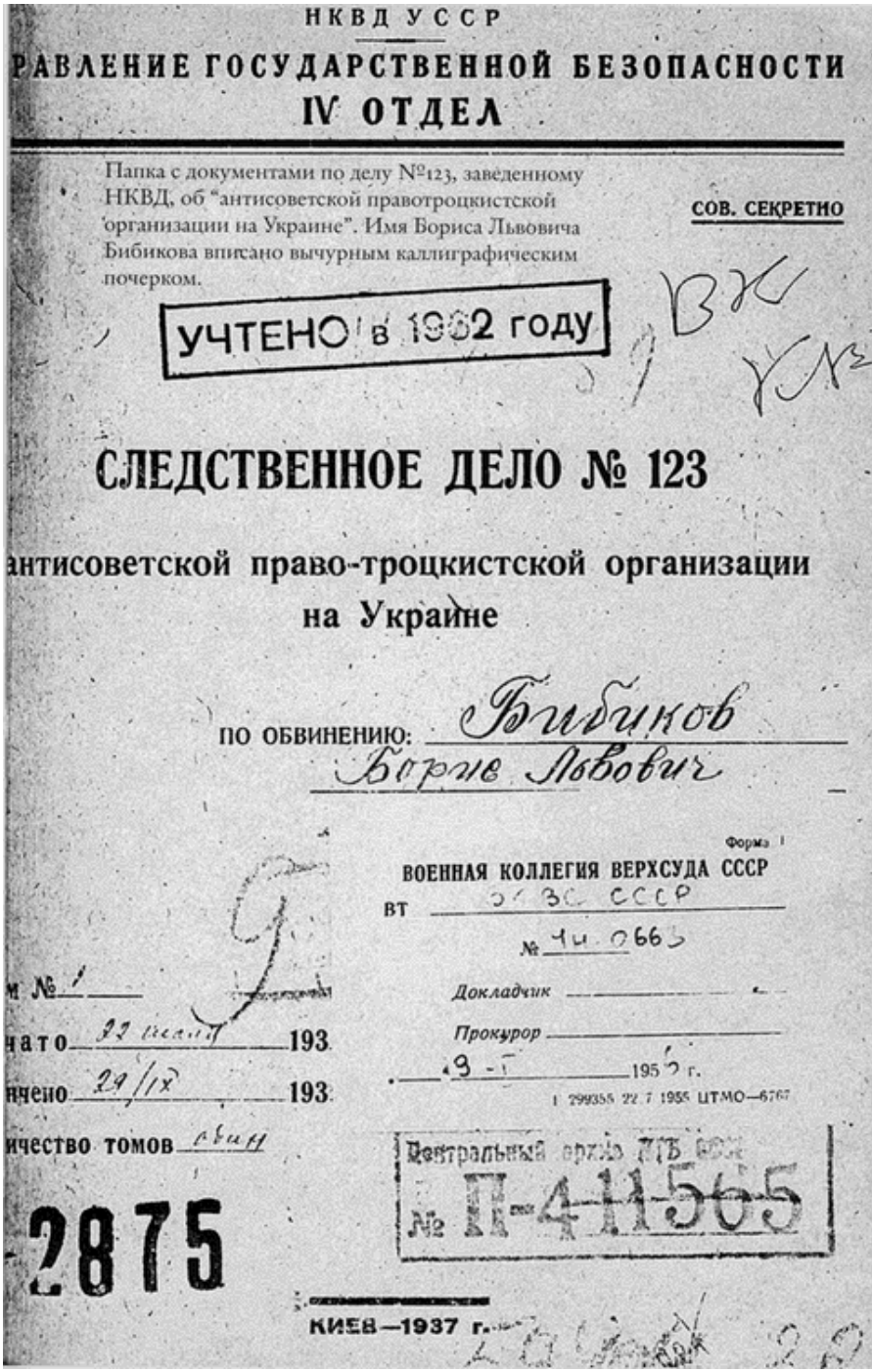
Так, сразу после пленума ЦК партии в феврале-марте 1937 года был исключен из партии каждый пятый секретарь ЦК компартии Украины. Прочтя об этом в «Правде», Бибиков должен был догадаться, что это лишь начало конца. И уже летом его ближайших сослуживцев стали вызывать в Москву, в НКВД, для допросов. Вернулись немногие.

Подчиняясь инстинкту самосохранения, люди стали замкнутыми и настороженными: завидев издали знакомых и не желая вступать с ними в разговоры, спешили скрыться в доме, как

пешеходы, застигнутые на улице грозой. Даже двенадцатилетняя Ленина заметила внезапное изменение общего настроения. Папа все чаще приходил домой угрюмым и утомленным, все реже шутил и играл с детьми. Привычная дружеская болтовня жен партийцев на лестничной площадке сменилась натянутым обменом приветствиями, после чего каждая спешила в свою квартиру. Можно представить, с каким облегчением Бибиков собирался на отдых в партийном санатории в Гаграх в июле 1937-го.

Серым декабрьским утром, сидя на казенном стуле в мрачном кабинете бывшего управления НКВД в Киеве, а ныне управления украинской Службы безопасности, я раскрыл обветшавшую коричневую папку.

В папке, разбухшей к этому моменту до 260 страниц, характерным для России образом тесно переплелись, неразрывно сплавились банальный служебный педантизм и глубокое человеческое страдание. Здесь все нанизано на одну нить — абсурдная мелочность прислужников карающего аппарата, с какой описывается изъятие комсомольского билета, браунинга и двадцати трех патронов к нему, путевки в пионерлагерь для Ленины, и потрясающее до глубины души длинное, написанное мелким судорожным почерком, покрытое кляксами признание, наверняка вырванное под пытками; официальное обвинение, подписанное генеральным прокурором Вышинским, и клочок бумаги с неразборчивой подписью, подтверждающей приведение смертного приговора в исполнение. Бумаги, формуляры, бланки, записки, расписки — вся эта дьявольская круговерть кошмарной, ненасытной бюрократии. Стопка бумаг — эквивалент одной человеческой жизни.



НКВД УССР

РАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

IV ОТДЕЛ

Папка с документами по делу №123, заведенному НКВД, об "антисоветской правотроцкистской организации на Украине". Имя Бориса Львовича Бибикова вписано вычурным каллиграфическим почерком.

СОВ. СЕКРЕТНО

УЧТЕНО в 1992 году

СЛЕДСТВЕННОЕ ДЕЛО № 123

антисоветской право-троцкистской организации на Украине

ПО ОБВИНЕНИЮ: Бибиков Борис Львович

Форма 1

ВОЕННАЯ КОЛЛЕГИЯ ВЕРХСУДА СССР

ВТ ОТ ЗС СССР

№ 4н 0665

Докладчик

Прокурор

9 - I 1955 г.

1 299358 22.7 1955 ЦТМО—6767

м № 1

чато 22 июля 193

нчено 29/IX 193

ичество томов один

2875

Центральный архив ГУБ МВД

№ П-411565

КИЕВ—1937 г.

Первый документ в папке, столь же роковой, как и все последующие, это решение черниговской областной прокуратуры об аресте «Бориса Л. Бибикова, первого секретаря Черниговского обкома партии», по подозрению в принадлежности к «контрреволюционной троцкистской организации и участии в

антисоветской деятельности». Прокуратура рекомендует на время следствия содержать Бибикова в заключении. В графе «отчество» стоит только буква Л., как если бы его данные были переписаны с листка человеком, который не знал Бибикова и его дело. В тот же день резолюция гражданской прокуратуры подтверждена распоряжением НКВД об аресте, которое, по мере того как бюрократическая машина набирала обороты, стала к 22 июля официальным ордером на арест, выданным местным прокурором. Офицеру Кошичурсину — или что-то в этом роде, так как фамилию его трудно разобрать из-за неряшливого почерка, — было поручено задержать Бибикова «в городе Чернигове». Это не удалось — Бибиков уже отбыл в Гагры. Наконец 27 июля оперативники НКВД отыскали его в санатории и доставили в черниговскую тюрьму НКВД.

О чем думал Бибиков, когда оказался за дверью камеры, перейдя от нормальной жизни к существованию узника, что он говорил — этого уже никто не узнает. Безусловно, ему было бы легче, если бы он ничего не сказал и безропотно подчинился, заранее считая себя погибшим. Но это не в его характере. Он был борцом и боролся за жизнь, не подозревая, что партия уже обрекла его на смерть. Как член партии, он должен был понимать, что ее всемогущей воле невозможно противостоять, — и все-таки мы знаем: по меньшей мере однажды он перестал ощущать себя членом партии и стал просто человеком, смело отказавшимся жить по лжи.

Александр Солженицын в эпопее «Архипелаг ГУЛАГ» пишет о том, каким одиноким и беспомощным чувствует себя человек в момент ареста, о его растерянности и недоумении, страхе и возмущении — все эти чувства испытывали сотни и сотни мужчин и женщин, которые в то лето до отказа заполнили тюрьмы Советского Союза. «На одинокую стесненную волю должен размозжающе навалиться весь аппарат, — пишет Солженицын. — Братья мои! Не осуждайте того, кто оказался слабым и признался в том, чего не совершал. Не будьте первыми, кто бросил в него камень!»

В своей повести «Крутой маршрут» Евгения Гинзбург приводит душераздирающие воспоминания о собственном аресте в период «чистки» и восемнадцати годах заключения и описывает зловещий конвейер НКВД, через который проходил каждый заключенный. Их непрерывно допрашивали сменяющиеся группы следователей, лишали пищи и сна, пытались воздействовать на их сознание высокопарными патриотическими речами, избивали и унижали до тех пор, пока они не подписывали вымышленные следователями признания или сами не писали их. Тех, кто не

выдерживал и сдавался раньше других, сталкивали с более стойкими, чтобы сломить их упорство. Им говорили, что сопротивляться бесполезно, что признания одного из них достаточно, чтобы расстрелять остальных. Угрожали их женам и детям. Как ни странно, коммунистов можно было убедить подписать признание ради революции — этого же требует твоя партия! Ты выступаешь против партии? Подсадные утки подталкивали своих товарищей по камере признаться — ведь это единственный способ спасти твою жизнь и жизнь твоих родственников! Солженицын вспоминает, как убежденные коммунисты шептали своим единомышленникам в камерах: «Наш долг — поддерживать советское следствие. Обстановка — боевая. Мы сами виноваты: мы были слишком мягкотелы, и вот развелась эта гниль в стране. Идет жестокая тайная война. Вот и здесь мы окружены врагами…»

Оболганный, измученный, сжатый в тисках боли и растерянности, член партии Бибиков отказался подчиниться приказу партии и упрямо настаивал на своей невиновности. Но, как и большинство, в конце концов не выдержал и сломался.

Он подписал свое первое признание спустя девятнадцать дней после ареста. Удивительно, как долго он держался. Но все-таки малодушно признался в якобы совершенных им преступлениях против Советского Союза. В саботаже на заводе, в строительстве которого участвовал. В вербовке троцкистских агентов. В антигосударственной пропаганде. Он признал, что предал партию, которой посвятил свою жизнь. Его обвиняли ближайшее соратники, и он, в свою очередь, обвинял их. Все до одного двадцать пять партийцев, как и он, не устояли под пытками и согласились написать признание.

Признание Бибикова датировано 14 августа 1937 года. Эти его первые слова в папке — первый намек на человеческий голос среди сухой документации. Преступления, в которых он признается, так невероятны и неправдоподобны, что меня физически затошнило от того, как банальная приверженность букве закона резко перешла к гротескному языку кошмара.

> Запись допроса.
>
> Обвиняемый — Бибиков Борис Львович, 1903 года рождения. Бывший член партии.
>
> *Вопрос:* В заявлении, собственноручно написанном вами сегодня, вы признали свое участие в контрреволюционной террористической организации. Кем, когда и при каких обстоятельствах вы были

вовлечены в эту организацию?

Ответ: Я был завербован в контрреволюционную террористическую организацию в феврале 1934 года бывшим вторым секретарем Харьковского комитета партии Ильиным… Мы с ним часто встречались в ходе партийной работы. Во время наших встреч в 1934 году я выражал сомнения в правильности политики партии по вопросам сельского хозяйства, оплаты труда рабочих и так далее. В феврале 1934 года после заседания комитета Ильин пригласил меня в свой кабинет и сказал, что хочет откровенно поговорить со мной. Вот тогда он и предложил мне стать членом троцкистской организации.

Запись допроса была напечатана, и Бибиков подписался внизу страницы. В его почерке нет ключа к разгадке того, какие чувства он испытывал, ставя свою подпись.

Но одного признания было мало. Службисты НКВД требовали больше подробностей, больше имен, чтобы выполнить спущенную им разнарядку — количество врагов народа, которых они должны были обнаружить в каждом районе и области страны. Подобно сценаристам, стряпающим «мыльные» оперы с гротескно осложненным сюжетом, следователям приходилось напрягать весь свой изощренный во лжи ум, чтобы подтвердить вымыслы своих коллег, добавить к заговору новые сюжетные линии. Первое признание не принесло Бибикову передышки. Допросы продолжались. Но в какой-то миг что-то в нем восстало против этого извращенного вранья и ужаса, и он попытался выкарабкаться в мир здравого рассудка. Эти моменты неповиновения звучат сквозь тонкие лаконичные страницы дела, как немой крик.

Вопрос Федяеву, — читаю я запись его первой «очной ставки» с собратом-«конспиратором», бывшим первым секретарем Харьковского обкома партии. — Расскажите, что вам известно о Бибикове.

Ответ Федяева:…Во время двух разговоров с Бибиковым я убедился, что он готов принять участие в троцкистской организации. Во время нашей последней встречи мы договорились организовать троцкистскую группу на ХТЗ…

Вопрос Бибикову: Вы подтверждаете заявление подозреваемого Федяева?

Ответ Бибикова: Нет, это ложь. У нас никогда не было такого разговора.

Это показание нам прочитано, записано верно.

Подписано: Федяев.

Обвиняемый Бибиков подписать отказался.

Но в конце концов его вызов оказался бесполезным. Свидетелями его стойкости были лишь лейтенанты НКВД Славин и Чалков и сам Федяев, видимо настолько запуганный, что считал упорство Бибикова не чем иным, как глупым мазохизмом. Наконец Бибиков окончательно сломался.

> На Харьковском тракторном заводе мы решили испортить сложный дорогостоящий станок, необходимый для производства колесных тракторов… — пишет он мелким почерком в своем третьем, и последнем, подробном признании. — Мы уговорили инженера Козлова сунуть в механизм какой-нибудь инструмент, чтобы надолго вывести станок из строя. Этот станок стоит 40 000 золотых рублей, и таких во всей стране всего два… На ХТЗ мы втайне договорились бросить в домну артиллерийский снаряд, оставшийся от войны, чтобы вывести ее из строя на два-три месяца… Кроме того, я завербовал в нашу организацию моего заместителя, Ивана Кавицкого… Мы пытались сорвать работу ХТЗ, затягивая выполнение заказов для машино-тракторных станций и задерживая выдачу зарплаты рабочим.

На полях его рукой сделаны пометки, очевидно, под диктовку: «Кто?», «Что?», «Когда?», «Уточнить», «Какая организация?»

> Наша вредительская контрреволюционная акция была предотвращена только благодаря бдительности старшего инженера Гинзбурга, — говорится в заключение его последнего признания. — Так я предал партию. Бибиков.

Половина этого листа аккуратно оторвана, чуть выше линии отрыва остались следы зачеркивания, как будто автор признания в отчаянии пытался уничтожить вынесенный самому себе смертный приговор.

Затем его голос исчезает. В деле имеются выдержки из записей допросов других обвиняемых, где упоминается имя Бибикова. Это шестнадцать связанных с его делом признаний, старательно напечатанных с гневными, прорывающими бумагу запятыми между фамилиями, набранными прописными буквами:

ЗЕЛЕНСКИЙ, БУЦЕНКО, САПОВ, БРАНДТ, ГЕНКИН…

Его привезли в тюрьму перед самым началом закрытой сессии Военной коллегии в Киеве, состоявшейся 13 октября 1937 года. Судила его так называемая «тройка»: три судьи без посторонних заслушивали дела обвиняемых по статье 58 Уголовного кодекса, которая признает «контрреволюционным всякое действие, направленное на свержение, подрыв или ослабление власти рабоче-крестьянских Советов». Заключение суда — длинное и подробное, в нем главным образом слово в слово описываются акты саботажа из признаний подсудимых. Но для большей убедительности в последнем пункте заключения все обвинения суммируются и делается следующий вывод:

> Бибиков был членом к.р. (видимо, термин «контрреволюционная» использовался столь часто, что машинистка стала печатать его сокращенно) троцкистско-зиновьевской террористической организации, которая злодейски убила товарища Кирова 1 декабря 1934-го и в последующие годы планировала и осуществляла террористические акты против других партийных и государственных руководителей… Мы приговариваем обвиняемого к высшей мере наказания: расстрелу и конфискации имущества. *Подписано:* А. М. ОРЛОВ. С. Н. ЖДАНА, Ф. А. БАТНЕР.

Бибиков расписался в том, что он прочитал постановление и приговор суда. Это последние написанные им слова. Подшитые с бюрократической педантичностью в «Дело», содержащее государственную версию его биографии. Таков был заключительный акт жизни, отданной служению партии.

Последний документ из семидесяти девяти так называемого следственного дела представляет собой клочок тонкой бумаги размером в четверть листа, грубо обрезанный внизу ножницами, текст которого подтверждал, что приговор приведен в исполнение. Там не сказано, где и каким образом, хотя и так известно — это те самые «девять граммов», вес пули, выпущенной в затылок осужденного. Подпись офицера неразборчива, дата — 14 октября 1937 года.

Те два дня, что я изучал дело деда в Киеве, со мной рядом сидел молодой офицер украинской Службы безопасности Александр Пономарев — он помогал мне понять неразборчивый почерк и объяснял смысл юридических терминов. Это был бледный интеллигентный молодой человек примерно моего

возраста, из тех застенчивых и тихих юношей, что не решаются завести семью и живут с матерью. Он вел себя подчеркнуто бесстрастно, но видно было, что документы «Дела» и на него произвели сильное впечатление.

— Страшное было время, — тихо сказал он, когда с наступлением сумерек мы вышли покурить на Владимирскую улицу и стояли у стен гранитной громады НКВД. — Ваш дед верил партии, но вам не кажется, что его обвинители тоже ей верили? И тот человек, который в него стрелял? Ваш дед еще до своего ареста знал, что людей расстреливают, но ведь молчал об этом! Откуда нам знать, как в такой ситуации поступили бы мы сами? Упаси нас бог оказаться перед таким испытанием!

Солженицын тоже однажды задал этот ужасный вопрос. «А повернись моя жизнь иначе — палачом таким не стал бы и я?.. Если бы это было так просто! Что где-то есть черные люди, злокозненно творящие черные дела, и надо только отличить их от остальных и уничтожить. Но линия, разделяющая добро и зло, пересекает сердце каждого человека. И кто уничтожит кусок своего сердца?»

Нет сомнений, что, находясь в тюремной камере или стоя в последние мгновения своей жизни лицом к стене, Бибиков отлично понимал логику своих палачей. И возможно — а почему бы и нет? — и сам мог стать палачом, если бы в начале своей партийной биографии встретил других людей, других начальников. Разве не объяснял он голод, организованный его партией на Украине, необходимой «чисткой» классовых врагов? Разве не считал себя одним из избранников партии, которые действуют из соображений высшей морали? Бибиков отнюдь не был невинным гражданином, внезапно оказавшимся во власти злой и враждебной силы. Напротив, он был партийным пропагандистом, приверженцем новых нравственных принципов, которые теперь потребовали принести в жертву его собственную жизнь, как бы это ни было бессмысленно, ради блага общества и страны.

«Нет, не для показа, не из лицемерия они спорили в камерах, защищая все действия власти, — пишет Солженицын о партийных ортодоксах. — Идеологические споры были нужны им, чтобы удержаться в сознании своей правоты — иначе ведь и до сумасшествия недалеко».

Когда нация начинает закладывать фундамент истории, умный человек всегда может сбросить с себя бремя моральной ответственности. В самом деле, для сотрудников НКВД, осуществлявших «чистку» рядов партии, это было таким же

героическим делом, как для Бибикова — строительство гигантского завода на пустом месте и едва ли не голыми руками. Только Бибиков совершал свою революцию при помощи реальных кирпичей и бетона, тогда как для НКВД такими кирпичами были классовые враги, и каждый враг, отправленный в камеру смертников, был еще одним кирпичиком в великом здании будущего царства социализма. Когда ради высокой цели допускается смерть хотя бы одного человека, можно не сомневаться, что эта цель потребует неисчислимого количества жертв.

И в некотором смысле Бибиков даже более виновен, чем остальное большинство. Он принадлежал к руководящим кругам партии. Именно такие люди отдавали приказы и составляли черные списки. А следователи исполняли приказы. Так были ли эти люди дурными, если помнить, что у них не было иного выбора, как исполнять приказания? Был ли лейтенант Чавин, который пытками выбивал признания из партийцев вроде Бибикова, больше виноват, чем те члены партии, которые твердили и внушали своим подчиненным, что цель оправдывает средства? Как говорил стоявший у истоков НКВД Феликс Дзержинский, люди, готовые там служить, должны быть святыми или подлецами, и действительно, эта работа в основном привлекала садистов и психопатов. Но они были не пришлыми, иностранцами, а обыкновенными русскими, сделанными из того же материала и потреблявшими ту же пищу, что и их жертвы. «Это волчье племя — откуда оно в нашем народе взялось? — вопрошает Солженицын. — Не нашего ли оно корня? Не нашей крови? Нашей».

За идеей «чистки» стоял настоящий злой гений. Он придумал не только столкнуть лицом к лицу двух незнакомцев, один из которых жертва, а другой палач, и заставить одного убить другого, но и убедить обоих, что это убийство служит великой цели! Легко вообразить, что такие акты совершаются жестокими убийцами, людьми, зачерствевшими от ужасов войны и коллективизации. Но дело в том, что обычные порядочные люди с гуманистическими идеалами и достойными уважения принципами готовы были оправдать убийство своего же товарища и даже участвовать в нем! «Чтобы делать зло, человек должен прежде всего осознать его как добро или как осмысленное закономерное действие», — пишет Солженицын. Это может произойти только в том случае, если человек становится политическим расходным материалом, единицей в системе холодного расчета, когда его жизнь и смерть планируются, а люди используются, как тонны стали или грузовики с кирпичами.

Несомненно, так считал Бибиков. С этими принципами он жил и умер — тоже с ними.

В «Деле» одна часть была закрыта для меня. Около тридцати страниц, тщательно перевязанных тесьмой, содержали результаты следствия по реабилитации моего дела. Полномасштабный пересмотр дел жертв сталинских «чисток» начался по инициативе Хрущева в 1955 году. Мне удалось убедить Пономарева незаметно развязать тесьму, и мы стали торопливо просматривать эти секретные страницы.

Та часть касалась следователей НКВД, которые участвовали в допросах Бибикова. Даже спустя полвека украинская Служба безопасности стремилась защитить своих сотрудников. Их дела были запрошены следователями, готовившими реабилитацию Бибикова. Но офицеров НКВД не удалось допросить, потому что к концу 1938-го их самих расстреляли.

«Бывшие работники украинского НКВД ТЕЙТЕЛЬ, КОРНЕВ И ГЕПЛЕР… были осуждены за фальсификацию доказательств и антисоветскую деятельность», — говорится в одном из документов. «Следователи САМОВСКИЙ, ТРУШКИН И ГРИГОРЕНКО… предстали перед судом за контрреволюционную деятельность», — указано в другой справке.

Почти все, чьи имена фигурируют в деле, начиная с обвиняемого и следователей НКВД и кончая секретарем местной парторганизации Маркитяном, подписавшим приказ об исключении Бибикова из партии через два дня после его ареста, были сами убиты в том же году. «Великая чистка» пожирала своих исполнителей, и все, что осталось нам от их жизни, — приглушенное эхо в мертвой тишине бумаг.

Последним документом в папке было — проштампованное и пронумерованное — мое письмо в украинскую Службу безопасности. Ссылаясь на принятый украинским правительством закон, позволяющий доступ к секретным архивам НКВД близким родственникам, я просил ознакомить меня с делом моего деда Бибикова Б. Л. И вот какой-то добросовестный служака аккуратно втиснул в папку мое заявление, прошил и проставил на нем номер, самый последний в этом досье, а последней подписью оказалась моя собственная.

Глава 4
Арест

Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!

Лозунг с пропагандистских плакатов.

1936 год

Даже прожив в Москве несколько лет, я не мог полностью избавиться от ощущения, что нахожусь в центре столкновения и переплетения двух разных эпох. На каждом шагу мне встречались картинки из далекого прошлого: солдаты в сапогах, старушки в головных платках, оборванные, заросшие бородой нищие, будто сошедшие со страниц романов Достоевского, вездесущие клетчатые пиджаки и телефоны с крутящимся диском, меховые шапки, хлеб с салом, счеты вместо кассовых аппаратов, газеты, пачкающие руки типографской краской, запах дыма от горящих дров и уличные туалеты на окраине города, а прямо с грузовика, заваленного говяжьими тушами, которые тут же разделывал мужик с окровавленным топором, продавали мясо. Складывалось впечатление, что здесь не многое изменилось со времен моего отца и даже деда.

Были моменты, когда мне казалось, что передо мной проносятся картины того ужасного мира, в который попал мой дед в 1937 году. Я видел его, ощущал его запах и соприкасался с ним всего несколько часов. Этого было достаточно, чтобы понять и прочувствовать, как это происходило тогда, по крайней мере физически. А уж что происходило в его голове и сердце, об этом лучше и не думать!

Однажды вечером в начале января 1996-го, через месяц после поездки в Киев, где я смог ознакомиться с делом моего деда, я возвращался под легким снежком к гостинице «Метрополь». Я ловил такси и не заметил, как ко мне сзади подошли трое. Вдруг у меня перед глазами мелькнул рукав желтого тулупа, и я ощутил мощный удар в скулу. Боли я не почувствовал, меня только сильно тряхнуло, как при рывке поезда. Несколько минут эти трое избивали меня, а я, будто в каком-то диком танце, вставал, падал и снова поднимался на ноги. Помню влажный запах моей

меховой шапки, которую я прижимал к лицу, защищая нос.

Потом, уже свалившись на тротуар, я увидел сквозь усилившийся снегопад заляпанные грязью колеса и мутный свет передних фар красной «Лады», направляющейся к нам. Невероятно, но факт — из машины выбрался человек с закованной в гипс левой ногой и что-то крикнул. Вся троица, сделав вид, что они ни при чем, поспешно ретировалась, а люди из автомобиля помогли мне встать и уехали.

И тут из-за угла появился милицейский джип. Я остановил его, открыл дверцу, сбивчиво объяснил, что произошло, и забрался внутрь. Мы медленно отъехали, но когда машина выкатила на Неглинную, преследуя хулиганов, водитель резко прибавил газ, и у меня вдруг прояснилось сознание и возникло ощущение, что время тоже помчалось вскачь. Мы выехали на Театральный проезд, и чуть дальше, у станции метро «Лубянка», я увидел тех троих, беззаботно игравших в снежки. Джип эффектно развернулся через восемь полос движения и резко затормозил около хулиганов, оказавшихся сильно навеселе.

Они улыбнулись и полезли за паспортами, решив, что это обычная проверка документов. У двоих были татарские черты лица, третий смахивал на русского. Когда я вылез из машины, они, увидев меня, остолбенели и как будто стали меньше ростом.

— Это они! — сказал я и театральным жестом простер руку в их сторону.

Татар запихнули в маленькую клетку в кузове джипа. С того момента, как они напали на меня, прошло не более десяти минут.

Отделение милиции было пропитано вечным запахом пота, мочи и духом безнадежности. Стены коридоров сверху были выкрашены бежевой краской, внизу мрачной темно-коричневой. Оба парня сидели в отгороженном решеткой углу приемного помещения, опустив головы на руки, перешептываясь и время от времени посматривая на меня.

На невысоком помосте за стеклянной перегородкой сидел дежурный сержант; на столе перед ним лежали огромные регистрационные журналы, печати и стопка бланков и стояла превращенная в пепельницу жестянка из-под «фанты». Он бесстрастно выслушал меня, снял трубку и набрал номер своего начальника. Думаю, с этого момента судьба хулиганов была предрешена. Я был иностранцем, а это означало, что милиция обязана действовать в строгом соответствии с законом, в противном случае у нее возникли бы проблемы — жалобы консульства в Министерство иностранных дел и горы бумажной работы.

Следователем по моему делу была назначена Светлана

Тимофеевна, старший лейтенант Московского уголовного розыска. Эта уверенная, солидная женщина бесцеремонно смерила меня проницательным взглядом, профессионально разделяющим людей на нытиков и крикунов. Она была из тех полных, суровых русских матрон среднего возраста, которые, подобно доберманам, охраняют приемные всех здешних крупных деятелей, служат старшими билетными кассирами и с неприступным видом сидят за регистрационными стойками гостиниц.

После того как мы несколько раз обсудили мое происшествие, Светлана Тимофеевна едва ли не благоговейно извлекла бланк с надписью «Протокол» и стала вносить мои показания. Я подписался внизу каждой страницы и поставил свои инициалы около каждого исправления. Наконец она взяла пустую папку с надписью «Дело» и на ее картонной коричневой обложке аккуратно написала выдвинутые обвинения. Все, дело началось! С этого момента я, мои злодеи и следователи, все мы стали его фигурантами.

Следующие три дня я являлся в милицию по вызовам Светланы Тимофеевны, притом что от легкого сотрясения мозга у меня кружилась голова. В дневном свете милицейский участок производил еще более гнетущее впечатление: это было низкое двухэтажное строение из бетонных блоков, с кучами грязного мокрого снега во дворе, опрокинутыми мусорными контейнерами и бродячими собаками, жадно роющимися в отбросах. Я встретил там милиционеров, которые привезли меня в ту ночь, и один из них заговорщицким шепотом заверил:

— Мы уж постараемся, чтобы эти парни у нас не скучали.

Я испытал смешанные чувства вины и жажды отмщения.

И вот началось мое «хождение по мукам». Чувствовал я себя отвратительно, но после медицинского освидетельствования к врачам обращаться не хотел. По нескольку часов я проводил в милиции, потом возвращался в свою квартиру на третьем этаже, куда не проникало солнце, и тут же погружался в горячечный бред. Мне все время снился один и тот же сон: как будто я провалился в преисподнюю и без конца смотрю, как шариковая ручка следователя медленно ползает по кипам бумаги; от этого у меня сильно болит голова и хочется ручку остановить. Но почему-то я этого не делаю, а сосредоточенно слежу за ней, за тем, как шарик ручки вдавливается в серую бумагу, и вижу, что ее держит отсеченная от туловища рука, освещенная казенным ярким светом. Этот сон был таким навязчивым, что казалось, я и наяву пребываю в этом кошмаре.

На третий день — мне почему-то казалось, что все это длится

куда больше трех дней, — когда я брел по стертым ступенькам в кабинет следователя мимо зловонного служебного туалета с отсутствующим сиденьем, я чувствовал себя в милиции уже завсегдатаем. Впервые с нашей первой встречи я застал Светлану Тимофеевну в форме лейтенанта милиции.

— Сейчас мы с вами пойдем на очную ставку, — объявила она.

Очная ставка — стандартная процедура российского следствия, во время которой пострадавший встречается с обвиняемым и каждому зачитываются показания противной стороны. Светлана Тимофеевна схватила заметно потолстевшую папку и повела меня вниз по лестнице в помещение, похожее на большой школьный класс с рядами скамеек перед приподнятым настилом, и мы в полном молчании заняли свои места. Я тупо уставился в стол.

Обвиняемые появились так тихо, что я услышал только стук двери, которую закрыл за ними милиционер. Оба были в наручниках и шли, еле волоча ноги и наклонив головы. Они тяжело опустились на первую скамью и робко подняли на нас глаза, совсем как провинившиеся школьники. Светлана Тимофеевна говорила мне, что они братья, татары из Казани. Оба женаты, имеют детей и живут в Москве. Выглядели они моложе, чем я думал, и меньше ростом.

— Мэтьюз, пожалуйста, простите, что вы пострадали из-за нас, можем мы что-нибудь для вас сделать… — начал старший из братьев, который был пониже.

Но Светлана Тимофеевна оборвала его. Она зачитала мое неуклюже составленное заявление, причем самый длинный из четырех его вариантов, и затем протокол медицинского освидетельствования. Братья выслушали все, не проронив ни слова, а младший в отчаянье обхватил голову руками. Их показания, всего из пяти предложений, сводилось к тому, что они были слишком пьяны, не соображали, что делали, полностью признают свою вину и искренне раскаиваются. В конце концов наступил неловкий момент, когда она велела им подписать их показания. Желая помочь, я подвигал к ним бумаги, чтобы они, скованные наручниками, могли поставить свою подпись. Каждый раз они благодарно мне кивали.

— Хотите что-нибудь сказать?

Старший из братьев, по-прежнему одетый в тот желтый тулуп, сначала старался говорить спокойно. Он заглядывал мне в глаза, а я вдруг перестал слышать слова — только улавливал интонации его голоса и по глазам читал его мысли. Он просил пощадить их. На лице у меня застыла улыбка ужаса. Он подался

вперед, и в его голосе зазвучало отчаянье. Потом он вдруг рухнул на колени и заплакал. Он громко рыдал, а брат только тихо всхлипывал.

Затем их увели. Светлана Тимофеевна что-то проговорила, но я не расслышал. Ей пришлось повторить свои слова и тронуть меня за плечо. Она сказала, что нам нужно идти. Я промямлил что-то вроде того, что хочу забрать свое заявление. Тяжело вздохнув и устало, как будто объясняя ребенку жестокую правду жизни, она сказала, что это уже невозможно. Следователь вовсе не была бессердечной женщиной, даже после многих лет возни с такими мелкими хулиганами, по дурости совершившими незначительные правонарушения. И хотя она встречалась с плачущими женами моих злодеев и понимала, что дело было банальным, не заслуживающим того ужасного возмездия, которое она собиралась на них обрушить, тем не менее обязана была сегодня же написать рапорт с рекомендацией оставить обоих парней до суда под арестом.

Теперь мы все оказались втянутыми в мельничные жернова правосудия. Мое иностранное подданство не допускало никаких отклонений от закона. Документ превыше всего! Что написано пером, того не вырубишь топором, а потому мы обязаны были подчиниться закону и шаг за шагом пройти все предписанные процедуры.

В ожидании суда оба парня провели около года в Бутырской тюрьме, одной из самых зловещих в России. Наконец мне прислали повестку в суд, но я был слишком напуган, чтобы идти туда. Вместо меня пошел мой друг и извинился за меня. Он узнал, что в тюрьме братья заразились туберкулезом. Несмотря на отсутствие пострадавшего, их признали виновными и дали срок, который они уже отбыли в тюрьме. Работу они потеряли и вынуждены были вернуться со своими семьями в Татарстан. Но к тому времени, когда я об этом узнал, потрясение и даже воспоминание о нашей злосчастной встрече уже сгладились. Я убеждал себя, что этот случай ничто по сравнению с бесконечными ужасами в духе рассказов Бабеля, сообщения о которых потоками стекались в редакцию, где я работал. И нечего переживать из-за судьбы двоих заведомо виноватых парней, когда каждый день мне на стол ложились кипы газет, полных чудовищных историй о невинно пострадавших.

Однако весь ужас и чувство вины, которые я испытывал в те минуты, когда эти двое несчастных передо мной унижались, глубоко запали в меня и терзали мою душу. Думаю, многие русские носят в себе подобный мутный осадок пережитых

потрясений, чувства вины и желания предать все забвению. Это и есть та щедро удобренная почва, на которой произрастает весь их гедонизм и вероломство, умение наслаждаться и предательство. Это невозможно сравнить с внутренним миром избалованных европейцев, среди которых я вырос, хотя многие свято убеждены, что в их душе не зарубцевались раны от равнодушия родителей, от жестокого обращения супруга или от личной неудачи. Нет, заключил я после нескольких лет знакомства с изнанкой жизни новой России, к семнадцати годам обычный русский человек успевает столкнуться с оскорблениями, коррупцией, несправедливостью и испытать чувство безнадежности в гораздо большей степени, чем мои английские знакомые за всю жизнь. И все это русский человек должен похоронить в своей душе и упрямо игнорировать, чтобы жить дальше и быть счастливым. Поэтому не стоит удивляться безоглядному размаху их разгула, а снисходительно относиться к их страстям — они должны соответствовать глубине их страданий.

После обыска в черниговской квартире Бибиковых долго не было никаких новостей. Борис по окончании отпуска домой не вернулся. В НКВД Марфе продолжали твердить, что ей сообщат, как только появятся результаты расследования. Варю отослали к ее родственникам в деревню, а Марфа с дочерьми по-прежнему жили в кухне и ванной, так как все комнаты были опечатаны. Она покупала еду на оставшиеся в кошельке деньги и принимала помощь от соседей.

Коллеги Бориса ничего не знали, впрочем, многие из них и сами исчезли, а те, кого не тронули, были слишком напуганы или наивно полагали, что скоро НКВД исправит допущенную ошибку.

Однажды, когда в минуту полного отчаянья Марфа оставила девочек одних, велев им поесть суп из черешни — украинское летнее кушанье, и снова отправилась в приемную НКВД, Ленина за чтением книги, подаренной ей отцом, не заметила, как маленькая Людмила набила себе в нос косточки от черешни так, что их невозможно было вытащить.

— Я копилка, — сказала Людмила старшей сестре, запихивая очередную косточку.

Когда вернулась мать, поднялся переполох. Людмилу срочно доставили в больницу, где суровая на вид медсестра извлекла косточки длинными узкими щипцами. Ленину отшлепали за небрежность, и она долго плакала, потому что не было папы, который утешил бы ее.

Прошло еще две недели, и Марфа решила отправить Ленину в Москву к братьям мужа, у которых были крупные связи. Уж они-

то наверняка смогут выяснить, что произошло с Борисом. Не имея денег на билет, она завернула в платок две серебряные ложки и пошла с Лениной на вокзал, экспресс Киев-Москва останавливался в Чернигове поздно вечером. Марфа упросила проводницу устроить дочку в ее вагоне. Проводница ложки взять отказалась и затолкала Ленину на багажную полку, приказав затаиться и не двигаться. Поезд тронулся, и Марфа бежала за ним, пока не отстала.

Десятью годами раньше отец выгнал Марфу из дома, решив, что дочь уже достаточно взрослая. А сама она оставила на вокзале в Симферополе на произвол судьбы свою младшую сестру. И сейчас, глядя на удаляющиеся огни поезда, уносившего в Москву ее старшую дочь, Марфа поняла, что созданная ею новая семья тоже распалась. Она побежала на почту и отправила родственникам мужа короткую телеграмму, сообщая, что Ленина едет в Москву. Потом вернулась домой. Она застала маленькую Людмилу заснувшей в кухне на одеяле, прямо на полу, взяла ее на руки и, как позже рассказала Ленине, «завыла как раненый зверь».

В Москве на Курском вокзале Ленину встретил Исаак, младший брат ее отца. Третий брат отца, Яков, офицер Воздушного флота, служил на Дальнем Востоке, в Хабаровске, и до сих пор ничего не знал об аресте Бориса. Исааку, подающему надежды инженеру крупнейшего электромашиностроительного завода «Динамо», было двадцать три года. Он обнял маленькую племянницу и сказал, чтобы она приберегла свой рассказ до того момента, когда они доедут на трамвае до его дома, маленькой квартиры, в которой он жил с матерью Софьей. В кухне они в полном молчании выслушали Ленину. Девочка расплакалась и сквозь рыдания твердила, что не знает, что плохого мог сделать ее папа. Исаак старался успокоить ее. Это недоразумение, уверял он, люди обязательно во всем разберутся.

На следующий день Исаак поговорил с одним из своих друзей на заводе «Динамо», который был офицером НКВД и до недавнего времени служил личным охранником генерала НКВД. Тот пообещал, что спросит у старых приятелей, можно ли добиться приема, чтобы разобраться в этом деле, которое он дипломатично назвал «ужасной ошибкой».

Через два дня Исаак вернулся с работы раньше обычного, велел Ленине надеть самое красивое летнее платье и повел ее за руку на трамвайную остановку. В полном молчании они доехали до приемной НКВД на Лубянке. Массивное, внушительного вида здание, в котором до революции располагалась страховая

компания, к 1937 году достроили, а подвалы превратили в огромную тюрьму и следственный изолятор, к тому времени переполненный еженощным уловом очередных жертв чистки. Исаак с племянницей вошел в главный вход, предъявил дежурному офицеру свой паспорт, после чего их провели наверх, в комнату ожидания. Здесь к Исааку подошел человек в темно-зеленой форме НКВД и перекинулся с ним несколькими словами. Ленина поняла, что это и был его друг.

Когда наконец их ввели в кабинет, Ленине сначала показалось, что там никого нет — один лишь огромный стол темного дерева с яркой лампой. Очень высокие окна, на полу — толстый ковер. Несмотря на солнечный день, тяжелые шторы наполовину прикрыты. Потом она заметила за столом маленького лысого человека в очках. Этот генерал, подумала Ленина, похож на карлика.

Карлик поднял взгляд на Исаака и на маленькую девочку и спросил, зачем они пришли. Заикаясь от волнения, Исаак стал объяснять, что его брата, верного и преданного коммуниста, арестовали по какой-то ошибке, недосмотру, или от излишнего рвения со стороны людей, призванных искоренять врагов народа. Выслушав его, генерал взял со стола тонкую папку, полистал ее и произнес только одно слово: «Разберемся». Это означало, что прием окончен. Потрясенный Исаак привел Ленину домой и на следующий день отправил обратно в Чернигов. Несколько дней спустя Марфа распродала всю кухонную утварь и купила билеты в Крым, где жила ее старшая сестра Федосья. Перед отъездом она добросовестно записала для Черниговского отделения НКВД свой новый адрес, чтобы, когда недоразумение будет устранено и ее муж вернется домой, он не беспокоился, застав пустую квартиру.

Наступила зима, а известий о муже все не было. Марфа с дочерьми жила в кухне маленького деревянного домика Федосьи на окраине Симферополя. По сравнению с роскошной жизнью в Чернигове это был полный крах. Марфа устроилась работать медсестрой в детскую инфекционную больницу и приносила детям остатки больничных обедов.

Климат в Крыму мягче, чем в европейской части России, но зимой с моря дует сильный холодный ветер. Жалкий домишко Федосьи обогревался маленькой железной печкой, «буржуйкой», которая быстро раскалялась докрасна, но к утру совершенно остывала. Детям не позволяли растапливать ее днем, когда Марфа была в больнице, и они сидели, кутаясь в теплые кофты и глядя, как дождь заливает маленький фруктовый сад у дома.

Жизнь осталась в другом месте, думала Ленина в эти долгие

зимние месяцы. Она грустила по благополучной жизни в Чернигове, по своим соседям и школьным подругам, по компании коллег и друзей отца, допоздна засиживавшихся на их кухне. Но больше всего она тосковала по своему папе, который был ее верным другом и защитником. Она думала, что он жив и здоров, находится где-то в неизвестном месте и так же по ней скучает, как она по нему. Людмила всегда была спокойным ребенком, а теперь будто замкнулась в себе. Она играла со своими куклами в уголке кухни, сидя на полу рядом с сундуком, на котором спала Ленина, и старалась не попадаться на глаза ворчливой матери и тетке. Марфа приходила домой поздно, уставшая и растрепанная. После ареста мужа она перестала следить за собой.

В начале декабря Людмила заболела корью — вероятно, мать занесла из больницы. У малышки поднялась температура, и Марфа осталась дома ухаживать за ней, а Ленину послала в аптеку за горчичниками и за глазными каплями.

Ночью, дня через три-четыре, в дверь грубо постучали. Федосья пошла открывать. В дом вошли четверо мужчин в темной форме с пистолетами на поясе и потребовали «гражданку Бибикову». Когда они распахнули дверь кухни, Марфа с больной Милой на руках с трудом поднялась с кровати.

«Встать!» — приказал один из них Ленине и, открыв крышку сундука, скинул девочку на пол вместе с постелью. Марфа закричала и схватила офицера за рукав. Он оттолкнул ее, и она вместе с трехлетней Милой упала в раскрытый сундук. Ленина помнит, как все кричали и плакали, как мама пыталась выбраться из сундука — это были минуты гротескового фарса посреди разворачивающегося кошмара. Марфу вытащили, заломили ей руки и в одной ночной рубашке вывели из дома. Ее втолкнули в милицейскую машину, прозванную в народе «черным вороном»; другой офицер шел следом, держа Людмилу под мышкой, а Ленину за руку. Ленина попыталась вырваться и подбежать к матери, но ее схватили и вместе с сестрой втолкнули в другую машину. Когда они отъехали, Ленина крепко прижала к себе больную сестру — у нее была истерика. В конце улицы две машины разъехались в разные стороны. Девочкам суждено было расстаться с мамой на целых одиннадцать лет.

Сейчас, когда я пишу эту историю, моему сыну Никите как раз столько же лет, сколько было Людмиле, когда арестовали ее мать, — без двух месяцев четыре года. У него круглое лицо, густые темные волосы и удивительно голубые глаза его бабушки Людмилы. Ленина, когда мы несколько лет назад приезжали к ней в гости, обняла его так сильно, что он заплакал; потом она

объяснила: Никита до того похож на Людмилу, что она не удержалась. «Я стала мамой в двенадцать лет, когда арестовали Марфу, — сказала она. — Людмила — мой первый ребенок. Он — копия Людмилы в детстве!» Порой, когда я наблюдаю за играми Никиты, меня — я думаю, как и большинство родителей, — вдруг охватывает необъяснимый, иррациональный страх. Пока он роется в клумбе, увлеченно выискивая улиток или выкапывая клубни, я боюсь, что мой ребенок может умереть, что его могут забрать у меня. А иной раз, обычно поздно ночью, когда я далеко от дома, в Багдаде или в другом, забытом богом месте, где провожу большую часть своей жизни после того, как уехал из Москвы, я вдруг начинаю думать, что с ним будет, если я умру. Как он перенесет мою смерть, что запомнит обо мне, поймет ли, что я покинул его навсегда, будет ли плакать. Мысль о том, что я могу его потерять, так страшна, что у меня начинает кружиться голова. Я часто думаю о Марфе и о той страшной ночи, пытаюсь представить себе, что бы я чувствовал, если б какие-то чужие люди вырвали Никиту у меня из рук, — и не могу!

Сотрудники НКВД привезли Ленину и Людмилу в симферопольскую тюрьму для малолетних преступников, где они должны были находиться до тех пор, пока власти не определят их судьбу. По суровой логике «чистки», члены семьи «врага народа» заражены его предательством, будто болезнью. Как говорится в русской пословице, яблоко от яблони недалеко падает. Поэтому двух девочек в возрасте двенадцати и трех лет партия обрекла на страдания за преступления их отца и сделала, подобно ему, изгоями.

Освещение в тюрьме было слабым, пахло мочой, карболкой и дегтярной мазью. Ленина помнит лица трех мужчин, которые записывали их данные, едкий запах переполненной камеры, куда их привели и велели устраиваться на разбросанной по полу соломе, помнит лай сторожевых собак в коридоре. Прижимая к себе стонущую сестру, она плакала, пока не заснула.

Мила тоже помнит ночь маминого ареста. Это ее самое первое четкое воспоминание. Она стоит в ночной рубашке с куклой, солдат толкает ее, и все кричат. В памяти у Милы почти ничего не сохранилось о коротком периоде жизни с родителями — до трех лет и десяти месяцев; осталась лишь тень воспоминания: она сидит на плечах у папы. С этого момента вместо мамы для нее была Ленина. Два испуганных ребенка внезапно оказались одни в мире, страшном и непонятном.

Глава 5
Тюрьма

Мы — дети страшных лет
России — Забыть не в силах ничего.

Александр Блок

В июне 1995 года с репортерским блокнотом в заднем кармане брюк я двинулся по Новослободской улице к воротам Бутырской тюрьмы. Вход я обнаружил между парикмахерским салоном и магазином и даже подумал, что не туда пришел. Но за мрачным проходом между унылыми советскими домами скрывался необычный, невероятный мир. Бутырка была огромной крепостью, именно крепостью, с башнями, амбразурами и стаями ворон, с карканьем кружащихся над крышами. Тюрьму построила Екатерина II для многочисленных преступников ее новой родины — туда, например, бросили предводителя крестьянского бунта Емельяна Пугачева.

Хотя было еще утро, на улице уже ощущался палящий зной. Но за те несколько минут, пока меня вели через маленькую арку, жаркий сухой воздух пропитался влагой и превратился в противную липкую пелену, оседавшую на коже и одежде. Даже в административном корпусе царил вездесущий казенный запах кислой капусты, дешевого мыла и сырой одежды.

Сопровождавший меня охранник открыл дверь одной камеры, и нас сразу обдало острым запахом потных мужских тел и зловонием мочи. Сначала я решил, что заключенные столпились у дверей, чтобы посмотреть, кто пришел. Но, заглянув в продолговатое помещение метров пять в ширину и двадцать в длину, увидел, что оно заполнено людьми от самой двери до забитых досками окон и напоминало вагон метро в час пик. Вдоль стен тянулись два яруса деревянных нар с матрасами — на них лежали люди и оттуда торчали распухшие ступни их ног. В узком проходе между нарами толпились полуодетые мужчины — кто прислонился к нарам, кто присел с краю, некоторые играли в карты, а остальные просто стояли, не имея возможности передвигаться. На веревке, натянутой под самым потолком, сушилась мокрая одежда, в углу распространяла жуткую вонь доверху заполненная параша, из стены торчал маленький кран. Невозможно было дышать из-за невероятной влажности и духоты, а смрад от скученных человеческих тел вызывал тошноту.

Я стал пробираться в глубь камеры, а охранник остался у двери и следил за порядком. Потом он объяснил, что по неписаному правилу охрана входит в камеру только в том случае, если с кем-то случится приступ безумия или заключенные затеют драку.

В камере оказалось 142 человека. У всех были пустые, запавшие глаза. Тело и ноги искусаны блохами и покрыты язвами. Многие тяжело и надсадно кашляли, сплевывая мокроту прямо на пол. Освещалась камера четырьмя мутными лампочками, которые светили шестнадцать часов в сутки, поскольку окна были загорожены, и воздух проникал лишь через две маленькие форточки.

Я попытался с кем-нибудь заговорить, но как-то неудобно было разговаривать с незнакомым человеком, стоя почти вплотную к нему, и я не нашел, что сказать. Ни тогда, ни позже я не мог воспринимать заключенных как обычных людей. Они перешли в другую реальность, стали скорее стадом животных. Я понимал, что, если они и выйдут когда-нибудь на свободу, тюрьма навечно останется в них, тогда как я, стиснутый между ними, был просто посторонним, заглянувшим сюда на минутку. Я мог идентифицировать их лишь как шелудивых зверей из старого и запущенного московского зоопарка. Никогда раньше — во всяком случае, с той поры как корреспондентом газеты я приехал в Россию, — у меня не возникало столь острого ощущения, что я всего лишь посетитель, сторонний наблюдатель.

У заключенных были лица людей, вся жизнь которых проходит в замкнутом пространстве зловонного помещения. Когда я протискивался в этой толпе, заключенные смотрели на меня с расстояния в несколько сантиметров, но, глядя в их глаза, я понимал, что они смотрят на меня с дистанции, которую я никогда не смогу преодолеть.

У меня есть фотография Людмилы и Ленины, сделанная в начале 1938 года. Обритая голова Ленины прикрыта шапочкой, Людмила прижимает к себе самодельную тряпичную куклу с косичками, в белом пальтишке и панамке. Ленина — красивая девочка с большими глазами, высоким лбом и тонко очерченным ртом. Людмила, тоже наголо остриженная, в вязаной безрукавке и белой кофточке с отложным воротничком, похожая скорее на круглолицего мальчика, прислонилась к старшей сестре. На губах Ленины едва заметная грустная и поразительно взрослая улыбка. Обе выглядят очень серьезными — у них совсем не детские глаза. Хотя эта фотография давно уже стоит на моем письменном столе, каждый раз при взгляде на нее у меня щемит сердце.

Людмила и Ленина Бибиковы в возрасте
четырех и двенадцати лет в Верхнеднепровском
детском доме. Начало 1938 года.
Обе девочки были обриты во избежание
вшивости. Куклу дал фотограф.

Людмила и Лена Бибиковы в возрасте четырех и двенадцати лет в Верхнеднепропетровском детском доме. Начало 1938 года. Обе девочки были обриты во избежании вшивости. Куклу дал фотограф.

В тюрьме, в первый же день, соседки по камере спросили у Ленины, за что их посадили. Сами они, совсем юные, в основном были воровки и проститутки. Услышав, что новенькие не преступницы, а «политические», так называемые дети врагов народа, они всей кучей набросились на Ленину и стали щипать ей руки и ноги, с силой выворачивая кожу и злорадно хохоча над ее слезами. Дверь открылась, вошли два охранника — один сдерживал лающую немецкую овчарку — и приказали всем замолчать. Вскоре девушек повели в столовую, где они выстроились в очередь за супом. Когда Ленина отходила от окошка, одна из старших ударила снизу по ее миске, отчего весь суп вылился на пол — таков был своеобразный обряд посвящения новеньких. И Ленина осталась голодной. Через пару часов пришел доктор, определил, что у Людмилы корь, и немедленно отправил ее в тюремную больницу, оставив Ленину наедине со своими мучительницами.

Спустя несколько дней Ленине позволили во время ежедневной прогулки навещать сестру. Она прятала в трусики сахар и кусочки мяса, оставшиеся после того, как старшие

покопались в ее миске, и относила их Людмиле. Иногда к тюрьме приходила их тетка Федосья, приносила сверточки с едой, которые Ленина подтягивала на веревке через зарешеченное окно, выходящее на улицу. Мила помнит эту веревку и маленькие посылки с едой. Еще она помнит, как над ней издевались, потому что по ночам она писалась в постель, и что ее сестра Ленина все время плакала.

Недели через три, в конце декабря, Ленина проснулась ночью и увидела, что под потолком камеры стелется дым. Дверь распахнулась, и испуганные охранники приказали детям бежать во двор. Здание загорелось от поджога — видимо, кто-то из старших пытался бежать. Охранники спустили овчарок, и те бросились к высыпавшим во двор детям. С тех пор Ленина стала бояться собак. Из больницы спешно выносили больных, среди которых была и Людмила. Пока примчались пожарные машины, дети совсем окоченели.

Но пожарные так и не смогли справиться с огнем, и пламя бушевало всю ночь. К утру от тюрьмы остались обгоревшие, закопченные стены. А дети, простояв во дворе под охраной всю ночь, только чудом не замерзли насмерть. Наконец прибыли открытые грузовики и стали увозить детей группами по двадцать человек. Ленина с Людмилой оказались в последнем грузовике, который направлялся в один из дальних детских домов. Почти весь день они ехали на север, голодные и замерзшие, запорошенные снегом, от которого негде было укрыться. Наконец они прибыли в «распределительный центр» для сирот в Днепропетровске. Девочки посинели от холода и так сильно дрожали, что Ленина даже не могла говорить. Их привели в огромный зал — там уже были дети испанских республиканцев, во время Гражданской войны вывезенные в Советский Союз. На ребятишек, оказавшихся вдали от родного дома, сердито кричали, потому что они не понимали, что им говорят.

Задерганный дежурный офицер принял от охранников, доставивших новую партию детей, список с их именами и возрастом. Он велел Людмиле идти вместе с другими младшими детьми, а Ленине встать в сторонку и ждать своей очереди. Ленина упала перед охранником на колени и, обняв его сапоги, умоляла не разлучать их с сестрой. Ее мольбы услышал человек в штатском, который стоял, прислонившись к косяку двери. Через шестьдесят пять лет, рассказывая мне эту историю на кухне своей московской квартиры, Ленина с трудом поднялась со стула, прислонилась к двери и, скрестив на груди руки, продемонстрировала его позу. Мужчина шагнул вперед, мягко опустил руку на плечо охранника и сказал: «Я заберу ее», потом

нагнулся и поднял Ленину с пола.

Это был Яков Абрамович Мичник, директор огромного, недавно построенного в Верхнеднепровске детского дома, рассчитанного на 1600 бездомных детей, малолетних преступников и сирот, из которых следовало вырастить новое поколение советских людей. В тот же вечер малышей, а вместе с ними Милу и двенадцатилетнюю Ленину, повезли на автобусе в его детский дом. Там их выкупали, осмотрели на предмет вшей и обрили им головы. Затем распределили по спальням соответственно возрасту. Ленине дали койку рядом с постелью сестры в больничном изоляторе, отделенном от остальных помещений коридором. Медсестры и воспитатели отобрали у испанских ребятишек их куклы и обувь и отдали своим детям. Ленине до сих пор видится во сне, как маленькие испанцы плачут, лишившись любимых игрушек — последнего напоминания о родном доме. Они плакали всю ночь и звали маму.

Потрясение от ареста и заключения постепенно проходило, и девочки стали чувствовать себя в детском доме более спокойно и уютно. Кормили здесь хорошо, и воспитатели были добрые. В первые дни еще не совсем выздоровевшая Людмила искала облегчения от донимавшего ее жара, сидя на бортике песочницы и погружая ноги в сырой песок. Через пару недель от кори не осталось и следа, но врачи обнаружили у девочки костный туберкулез, который стремительно развивался на фоне ослабленного иммунитета.

Каждый день после школьных занятий Ленина навещала сестру в инфекционном отделении больницы. Людмила вставала на стул и высовывалась из окна — так они разговаривали. Однажды Ленина застала ее заплаканной и подавленной. Оказалось, что ночью из палаты унесли ее маленького испанского друга Хуанчика, который спал на соседней кровати, и никто ей не сказал, куда он делся.

Но Ленине няня объяснила, что Хуан скончался от туберкулеза. Один за другим умерли все восемнадцать детей, которые лежали в той палате, куда поместили Людмилу. Моя мама оказалась единственной, кто выжил.

Ленина не могла написать своим родственникам в Москву, так как не знала их адреса; но даже если бы и знала, то маловероятно, что они посмели бы хлопотать о детях врага народа. А вот своей тетке Федосье, которая жила в Симферополе, она написала — правда, та не смогла к ним приехать. Зато сообщила, что их мать находится в Казахстане, в Карлаге, и дала

номер почтового ящика — вместо обычного адреса. Ленина ходила в школу за пять километров, а после уроков мыла полы учителям и получала за это лук, немного сала, сахар и яблоки. Сало, сахар и яблоки она относила в больницу Людмиле, а лук собирала. Когда набралось десять луковиц, она старательно завернула их в бумагу, уложила в маленькую коробочку, надписала на ней номер почтового ящика и, заработав деньги на марку, отправила посылку матери. Через несколько месяцев пришло письмо от Марфы. Поблагодарив дочь за посылку, Марфа попеняла ей, что та допустила «глупость» — не завернула в бумагу отдельно каждую луковицу, и они пришли замерзшие и сгнившие. Но все же она спросила о Людмиле, пожелала дочерям счастья и обещала, что скоро приедет и заберет их. Это письмо было последним приветом от матери, вперед на долгие годы, вплоть до послевоенного времени.

Моя мама не помнит детских игрушек, кроме плюшевого мишки, которого она привезла с собой из Чернигова и потеряла в детской тюрьме. Кукла на фотографии, сделанной в Верхнеднепровске, принадлежала фотографу. Ленина вспоминает, как горько плакала Мила, когда ей сказали, что нельзя взять с собой эту самодельную куклу.

Людмила обожала рисовать, но, как она выражается, талантом не обладала. Несмотря на болезнь, она рано научилась читать, и книги из библиотеки детского дома скрашивали ей долгие одинокие дни в больнице. Вместо друзей у нее появились книги и тот волшебный мир, который они перед ней разворачивали. Именно во время вынужденной неподвижности в больнице, где ей приходилось проводить много времени на протяжении всего детства, она привыкла жить в фантастическом мире, возникающем в ее живом воображении. Таинственные дремучие леса пушкинских сказок, волшебный ковер, летающий над погруженными в сон домами Багдада из «Тысячи и одной ночи», сказочные чудовища, с которыми встречался Синдбад Мореход, русские сказки и былины с всадниками-богатырями и бабой-ягой, иллюстрированные Иваном Билибиным, — вот куда скрывалась она от действительности. Окружающий мир, жестокий, стерильный и лишенный любви, было легче переносить, если знаешь, что где-то далеко существует счастливая страна и ты туда непременно доберешься. Даже когда она стала взрослой и искалеченную туберкулезом ногу подлечили, ее никогда не покидал притягательный образ иной, волшебной жизни — и уверенность, что эту жизнь можно завоевать только терпением и силой воли.

В детском доме Ленине однажды приснился сон. Она была в белой рубашке с красным галстуком. Какие-то дети закричали ей: «Твой папа! Уводят твоего папу!» Она выбежала на улицу и увидела своего отца со спины в сопровождении троих человек с винтовками. Его привели на высокий берег Днепра, к территории детского дома. Там он долго стоял, а Ленина смотрела на него, скованная параличом, как это бывает во сне. Потом все трое беззвучно выстрелили в папу. Он упал и покатился вниз по крутому берегу. Это был единственный раз, когда Ленина видела во сне отца.

К концу 1938 года Людмила выздоровела настолько, что уже могла посещать детский садик, но ее часто укладывали в больницу, где ей делали тяжелые операции — удаляли пораженную туберкулезом костную ткань на правой ноге. После этого Людмила стала сильно хромать, но, невзирая ни на что, росла веселым и умным ребенком и была бесконечно привязана к сестре. Единственное, что она запомнила из своих ранних лет, это детский дом, и там она была по-своему счастлива.

Гораздо тяжелее было Ленине, так как ее преследовали воспоминания о родном доме. Учителя внушали девочке, что ее родители оказались «врагами народа», за что и понесли справедливое наказание. А теперь о них с сестрой заботился дядя Сталин, чей портрет висел в классе. Вместе со своими однокашниками Ленина скандировала: «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!» Она честно пыталась не вспоминать о родителях, но в глубине души никогда не сомневалась, что когда-нибудь снова увидит своего дорогого папу. Слушая рассказы учительницы о счастливом будущем, Ленина представляла себе встречу с отцом.

Ленина (справа) с подругой. Верхнеднепровск. 1938 г.

Детский дом стоял на высоком берегу великой степной реки, в широких водах которой отражалось огромное бескрайнее небо. Летом дети часто бегали купаться в Днепре, наперегонки скатываясь вниз по глинистому берегу. А вообще здешняя жизнь подчинялась строгому распорядку, день был расписан буквально по часам, что имело свою положительную сторону — у Ленины попросту не оставалось времени на воспоминания и размышления. И среди сотен сирот сестры Бибиковы были счастливее других — по крайней мере, они были вдвоем.

Но обретенная сестрами спокойная жизнь в Верхнеднепровске вскоре резко оборвалась.

Летом 1941 года Ленине было уже шестнадцать, а Людмиле семь лет. Людмила мечтала поскорее пойти в первый класс, а Ленина стала старшей пионервожатой и с гордостью носила аккуратно выглаженную форму. Почти каждое утро все школьники выстраивались в шеренги, и под дребезжащие звуки государственного гимна, несущиеся с грампластинки, двое старшеклассников из почетного караула торжественно поднимали советский флаг. Иногда Ленина со старшими ребятами усаживались перед большим радиоприемником в пластмассовом корпусе и слушали детские образовательные и поучительные передачи. А позднее, уложив детей спать, взрослые тайком от них

вслушивались в вечерние сводки с войны, развязанной Германией против Франции и Британии. Правда, новая война воспринималась ими как заслуженная кара, которую навлек на себя загнивающий капиталистический мир. Два года назад Советский Союз и Германия подписали акт о ненападении, так что советский народ мог жить спокойно, а эта война касалась других стран и народов, находящихся за многие тысячи верст от днепровских степей.

То лето было очень жарким. С выжженных зноем полей ветер гнал по степи клубы пыли, и она садилась тонким коричневатым слоем на строения и деревья. В этом пекле у детей продолжалась обычная жизнь, а тем временем германская армия уже сосредоточила свои силы на советской границе.

Двадцать второго июня 1941 года Гитлер начал стремительное наступление — операция носила название «план Барбаросса» — и быстро сломил сопротивление Красной армии. Сестры не знали, что их дядя Исаак, инженер, ушел на фронт летчиком, но в первые же дни войны его бомбардировщик «По-2» был сбит над Белоруссией «мессершмиттами», которые расчищали воздушное пространство перед подходящими войсками вермахта. Родственникам так и не удалось узнать, где его могила, да и был ли он вообще похоронен.

Детям сказали о нападении фашистов только через несколько дней их учителя, которые, в свою очередь, услышали об этом по радио, когда сообщили, что Красная армия героически отражает натиск вероломного неприятеля. К несчастью, все обстояло гораздо хуже. Уже через четыре дня пал Минск, а к 27 июня две германские армии продвинулись на советскую территорию почти на 300 километров, тогда как третья армия стремительно двигалась к Москве. 21 августа войска вермахта перерезали железную дорогу Москва — Ленинград, а их бронетанковые дивизии устремились по пшеничным полям Украины к Сталинграду и к нефтяным промыслам Кавказа.

Киев оказался во власти немцев 19 сентября. Спустя несколько дней уже до Верхнеднепровска доносился отдаленный грохот пушек. Ленина была в школе, когда во дворе появились грузовики, чтобы отвезти старших детей копать траншеи. Им велели оставить учебники в классе и побыстрее залезать в машины. Ленина не сомневалась, что они скоро вернутся, наверное, прямо к ужину. Людмила была у себя в младшем классе и не видела, как уехала Ленина.

Больше она в Верхнеднепровск не вернулась. Ее детский рабочий отряд отвезли на окраину города, где ребята целыми

днями рыли траншеи. Уже через несколько дней из-за наступления немцев им пришлось отходить на восток. Невероятно уставшие подростки урывали для сна каждую свободную минутку, устраиваясь где придется: то на мешках, постелив их прямо на пол в цеху, из которого спешно эвакуировали оборудование, то на грудах вырытой земли. Днем они копали траншеи, а по ночам шли, отступая перед приближающимися немецкими войсками. Ленина не могла ни вернуться в детский дом, ни узнать, что стало с Людмилой и остальными детьми.

Сама Людмила не многое помнит из того, что произошло потом. Ее воспоминания о тех временах настолько же смутны, насколько ясны воспоминания Ленины. Правда, многое она узнала уже после войны от одного из своих одноклассников — его оставили собирать вещи, когда почти всех увезли рыть траншеи. И еще от Якова Мичника, директора детского дома, ставшего их другом и спасителем.

В первых числах октября линия фронта приблизилась к Верхнеднепровску, и над детьми, оставшимися в детском доме и в больнице, нависла огромная опасность. Весь транспорт был мобилизован, и когда бомбы стали рваться уже неподалеку, работники детского дома решили вывезти детей единственно возможным путем — переправив на другой берег Днепра, благо что до него было рукой подать. По приказу директора построили два больших плота, на которые быстро перевели оставшихся детишек, и с наступлением ночи, когда небо озарялось вспышками от разрывов артиллерийских снарядов, шестеро воспитателей, вооружившись длинными шестами и упираясь ими в дно, с трудом вывели плоты на середину реки, где их подхватило течением и понесло в темноту.

Глава 6
Война

Ни шагу назад!

Из приказа Иосифа Сталина

Всю ночь плоты медленно плыли по Днепру. На рассвете их прибило к деревне на восточном берегу. У здешних колхозников нашлись лошади, и детей рассадили в телеги и отвезли на ближайшую крупную железнодорожную станцию — в Запорожье. Город был охвачен паникой перед приближением немцев, и Мичник, доставив сюда ребятишек, передал их на попечение местных властей. Больше он их не видел, лишь после войны Ленина и другие его воспитанники приезжали навестить и поблагодарить своего спасителя. В Запорожье детдомовцы влились в огромный поток беженцев, уходящих на восток.

Директор Верхнеднепровского детского дома Яков Абрамович Мичник
со старшей дочерью Ленины Надей. 1950 год. Когда в ноябре 1937 года
сестер привезли в Днепропетровск, Мичник не позволил их разлучить.
В 1941 году, во время наступления немцев, он спас оставшихся в детдоме
детей, переправив их на плоту через Днепр. Среди них была и Людмила.

Директор Верхнеднепровского детского дома Яков Абрамович Мичник со старшей дочерью Ленины Надей. 1950 год. Когда в ноябре 1937 года сестер привезли в Днепропетровск, Мичник не позволил их разлучить. В 1941 году, во время наступления немцев, он спас

оставшихся в детдоме детей, переправив их на плоту через Днепр. Среди них была и Людмила.

Воспоминания маленькой Людмилы об эвакуации, во время отступления Красной армии осенью и зимой 1941 года, складываются из отрывочных картин. Она помнит, как стоит у высокого окна и видит простирающуюся перед ней плоскую равнину, за окном кружатся большие снежинки, а там, вдали, на землю падают бомбы, и она чувствует, как сотрясаются половицы у нее под ногами. Видит себя среди детдомовских ребят в дождливый осенний день — они стоят на обочине, вдоль разъезженной дороги и протягивают кружки с водой солдатам, которые бесконечными шеренгами идут в сторону передовой. Вспоминает, как лежит ночью в лесу, дрожа под тонким одеялом, и прислушивается к страшной, неестественной тишине леса.

Дети постоянно были в пути. По ночам кое-где вспыхивали прожектора и гремели взрывы. Однажды, вспоминает Людмила, они ехали в тяжелой крестьянской телеге, и каждый ребенок держал над головой ветку дерева для маскировки от атакующих их самолетов. И огромная лошадь, и ее упряжь тоже были прикрыты ветками. Почему-то эта картинка особенно живо встает передо мной: моя мама сидит вместе с другими детьми на дне телеги, с надеждой сжимая в руке ветку, словно талисман, оберегающий от бомб, — маленький, искалеченный болезнью, испуганный и одинокий ребенок, которого везут на восток, по волжским безбрежным степям.

Малышей эвакуировали все дальше и дальше от линии фронта, в глубь России. Не всегда находился для них транспорт, и тогда по нескольку дней и даже недель они жили в какой-нибудь деревне, ожидая, когда их переправят в более безопасное место. Где-то западнее Сталинграда детдомовцы застряли в потоке беженцев, которые окружали их со всех сторон, казалось, люди и машины заполонили всю степь, до самого горизонта. Жестокую холодную зиму Людмила прожила в занесенной снегом деревушке — там, страдая от голода, сироты таскали из амбаров жмых и дрались за еду с местной детворой. Ранней весной 1942-го кто-то наконец вспомнил о маленьких ребятишках и перевез их в колхоз, поближе к Волге. Людмила помнит, как в стылом молчаливом лесу ищет среди прошлогодней травы бледные, водянистые ягоды, как помогает крестьянкам мыть полы, за что получает хлебные корки.

Каким-то чудом, как раз в то время, когда Шестая немецкая

армия начала наступление на Сталинград, кто-то пристроил ребят на большой американский грузовик «студебекер», ехать на котором было настоящей роскошью. Он доставил их в город всего за несколько дней до подхода немцев. Скорее всего, это, было после 23 августа 1942 года, когда красноармейцы уже взорвали мост, потому что Людмила помнит, как они пересекали Волгу на барже, до отказа заполненной беженцами, и видела торчащие из воды фермы взорванного моста. Одно из самых сильных впечатлений тех лет — раненые солдаты, которые которые выглядывали из распахнутых окон школ и других городских зданий. Это жуткое зрелище живее прочих сохранилось в памяти Людмилы: «Они стояли буквально у каждого окна, все обмотанные бинтами».

Уже оказавшись на другом берегу, дети снова застряли. Город спешно укреплялся перед приходом немцев, поэтому любой вид транспорта использовался для доставки людей и припасов, а после — для эвакуации в тыл раненых.

Сирот разместили в нескольких деревушках недалеко от реки. Людмила помнит, как через ее деревню шли нескончаемые потоки беженцев; когда силы оставляли их, они укладывались спать прямо в поле или так плотно набивались в сараи и деревенские дома, что двери не закрывались. От их храпа в избе все дрожало, как будто земля тряслась. По ночам налетали вражеские бомбардировщики, и Мила помнит, как она бежит прятаться в высокий степной ковыль, а с неба медленно падают черные бомбы.

День и ночь через деревню проезжали телеги с тяжелораненными, покрытыми грязью солдатами, потерявшими руку или ногу. По ночам в реке отражалось зарево пожаров, бушевавших в городе, и вода казалась красной, а когда ветер был восточным, до деревни доносились дым и гарь жестокого сражения. Мила видела плывущие по реке мертвые тела и оторванные руки и ноги.

Милу постоянно мучил голод, и она только и думала о еде. В поисках пищи детдомовцы целыми днями рыскали по деревне, выпрашивали у беженцев хлебные корки, рылись в кучах пшеничной и ячменной соломы. Они собирали сухие листья, растирали их и смешивали с табаком из окурков, которые находили на обочине дороги, а потом под видом махорки выменивали на кусок сахара или ломоть хлеба у солдат с широкими монгольскими лицами. А те, прежде чем неумолимым людским потоком влиться в город, проехали свою Сибирь до конечной железнодорожной станции, а потом шли маршем дни напролет, ночуя на обочинах дорог.

Спустя полстолетия мне довелось собственными глазами увидеть русскую армию в действии. Я стоял на передовой, на северной окраине Грозного, когда над головой грохотал мощный артиллерийский огонь и в мятежном городе полыхали пожары. Весь центр заволокла густая пелена едкого дыма, из которого вырисовывались рваные остовы зданий с языками пламени. Каждую минуту над самыми домами проносились бомбардировщики «Су-24» и сбрасывали бомбы весом в полтонны, и те с ужасающей точностью попадали в цель, после чего взрывались с таким грохотом, от которого, казалось, должен был рухнуть весь город. Бомбардировка была настолько массированной, что ощущалась физически; под моими ногами содрагалось так, будто глубоко под землей хлопали гигантские двери.

Я проводил дни с русскими солдатами в траншеях, вырытых в песчаной почве, и спал бок о бок с новобранцами в разрушенных домах. Черные от грязи и копоти, они ругались, плевались и от малейшей шутки взрывались хохотом. Однажды вечером, когда мы при свете шипящей керосиновой лампы ели из банок тушенку, один молодой сержант, сидевший у противоположной стены, швырнул мне гранату. Чека была выдернута, и предохранительная скоба отлетела — какое-то мгновение я смотрел на маленькое стальное яйцо, ожидая, что комната разлетится на части. Но то была учебная граната.

Эти солдаты — совсем еще дети — испытывали лихорадочное возбуждение от опасности и войны. Но когда мы выходили патрулировать город, пробираясь от дома к дому по битому стеклу и грудам кирпичей, они шли молча и сосредоточенно, как перед боем. Их задача — продвигаться вперед, пока не окажутся под огнем, затем установить местонахождение снайпера и вызвать артиллерию, после чего как можно быстрее возвратиться на свою базу, моля Бога, чтобы артиллеристы не оказались пьяными и чтобы снаряды легли точно в цель. Эта тактика мало изменилась со времен уличной войны в Сталинграде. Устраиваясь спать, солдаты скидывали кирзовые сапоги и разматывали портянки, после чего взбивали свои меховые ушанки вместо подушек. А под огонь шло какое-то другое отделение, и до нас доносился рычащий грохот ракетной установки, которому резонировали бетонные плиты пола. Вся эта картина, вплоть до свечных огарков и коробков со спичками, которые ребята вместе с папиросами носили в верхнем кармане, казалось, перенесена из войны их дедов.

Сегодня в степях вокруг Сталинграда тихо и пустынно. Вдаль, насколько видит глаз, простираются колхозные поля, вспаханные кривыми бороздами, с разбросанными там и сям полуразрушенными избами и бетонными амбарами. Противоположный берег великой реки теряется в тумане, тяжело вздымающиеся волны лениво набегают друг на друга. Создается впечатление, что эти неоглядные поля и редкие деревья погружены в скорбные раздумья о жестоком противостоянии, приведшем сюда полвека назад такое великое множество людей, которые оросили эту песчаную почву своей кровью.

Я приехал в Волгоград, бывший Сталинград, зимой 1999-го. В воздухе висела сырая серая мгла, гнетущая, как и низкое зимнее небо. Мрачный город поражал своим сходством с другими провинциальными городами; и от той монотонной серости в душе рождалась какая-то безысходная, щемящая тоска.

На Мамаевом кургане, пологом холме в центральной части Сталинграда, где происходили самые жестокие бои, поставлен монумент «Родина-мать зовет». Эта бетонная статуя высотой в 85 метров изображает молодую, сильную женщину с высоко поднятым мечом; она полуобернулась назад, призывая к отмщению и победе. Она — это Россия, мстительная богиня, неодолимая сила природы, требующая невозможных жертв от своих детей — как своего законного права.

Зима 1942 года подходила к концу. Наступление немцев захлебнулось в руинах Сталинграда. Наконец местные власти стали собирать потерявшихся детей и отправлять их на Верхнюю Волгу, в Куйбышев (ныне Самара). Мила отстала от своих и оказалась в переполненном холодном вагоне поезда, который привез несколько тысяч бездомных детей в Соликамск, в предгорьях Урала, в гигантский приют для сирот.

В Соликамск стекались люди, сорванные войной с родных мест. Казалось, по росчерку пера какого-то чиновника весь город наводнили толпы сирот. Здесь царили, как выразилась Людмила, «волчьи законы»: дети отчаянно дрались друг с другом за кусок хлеба. В приюте обедали в три смены; первыми в столовую входили дети из младших групп, и учителя следили за тем, чтобы они сами съедали мясо, а не отдавали его старшим. Однако если малыш не приносил мяса старшим, его ждала «темная» — побои через накинутое на голову одеяло, чтобы он не мог выдать своих обидчиков. Поэтому маленькие украдкой от учителей прятали десятиграммовые кусочки мяса в длинные штаны. Восьмилетняя Людмила со своими сверстниками собирала в степи траву, ее солили и ели, что хотя бы частично спасало их от авитаминоза и

рахита. Но все равно у Милы, как у всех голодающих детей, невероятно раздулся живот, а высохшие ноги походили на палочки.

Правда, случались и светлые моменты. Однажды учительница в сельской школе предложила ученикам оставить свой завтрак — крошечные, пятидесятиграммовые порции хлеба для сирот, хотя крестьяне сами недоедали, питаясь горькой черной редькой и мелкой картошкой, урожай которых они могли снять за короткое уральское лето.

Когда наступило лето 1943 года, сотни детей отправились за ягодами для раненых солдат в окружающие город леса и болота. Каждый должен был собрать полведра. Мила очень боялась провалиться в болотную трясину, прикрытую густым мхом. Однажды детям пришлось пройти по лесу километров двадцать, прежде чем они нашли ягодное место, где еще не побывали деревенские жители. На обратном пути девятилетняя Мила, прихрамывая, вела за собой огромную толпу детей и распевала пионерские песни. Когда они возвратились в детдом с корзинками, полными ягод, глаза у Милы налились кровью от физического напряжения. Волчьи законы Соликамска научили ее, что для физически слабого человека единственный способ выжить — это стать лидером благодаря одной только силе характера.

После недельного сопротивления Днепропетровск был сдан немцам. Ленина и старшие детдомовцы, как и ее сестра и миллионы других беженцев, пешком, в телегах или на машинах двигались на восток. Где бы ни останавливалась рабочая бригада подростков, им сразу поручали рыть траншеи и ямы-ловушки для танков.

К началу сентября 1942 года Ленина оказалась в Ставропольской области, совсем близко к линии самого глубокого прорыва немцев. Гитлер приказал приостановить наступление на Кавказ и нефтяным вышкам Баку, бросив основные силы на битву за Сталинград. Ленину и десять старших детей оставили в деревне.

Работать в поле Ленина не могла из-за незаживающих мозолей на руках после рытья траншей. Кто-то из рабочих научил ее управлять лошадью, запряженной в телегу, и девочка во время уборки урожая вывозила в амбары хлеб с полей. Одна из жительниц деревни, армянка, предложила Ленине мыть полы у нее в избе и выполнять другую домашнюю работу, за что обещала ее подкармливать. Рассказывая мне об этом, Ленина показала пальцами размер короткого тупого ножа, которым она скребла пол, и объяснила, как с перевязанными пальцами стирала белье в

горячей мыльной воде.

Пока Ленина отскребала дощатый пол, а женщина готовила обед для своей семьи, они разговорились. Женщина оказалась эвакуированной из Москвы. В свою очередь Ленина рассказала ей о себе и о том, что у нее тоже есть родственники в Москве. И хозяйка дома предложила Ленине поехать с ее младшей дочерью в Москву, чтобы продать на рынке сухофрукты, а билет на поезд она раздобудет девочке сама. Дело в том, что во время войны билет в Москву могли купить только те, кто имел в паспорте штамп о прописке в столице. Разлученная с сестрой Ленина горела желанием разыскать своих родственников и с радостью согласилась. Через неделю Ленина с хозяйской дочкой, нагруженные восемью чемоданами, связанными попарно матерчатыми поясами и до отказа набитыми сушеными абрикосами, втиснулись в вагон, и поезд помчал их в Москву, сделав крюк на восток, подальше от боевых действий.

На Курском вокзале их встретили родственницы армянской девушки, освободили Ленину от чемоданов, распрощались с ней и спустились в метро. А Ленина пешком добралась до Красной Пресни, где по памяти нашла квартиру своей бабушки, оказавшуюся пустой. Правда, соседи вспомнили Ленину, которая была здесь четыре года назад, и объяснили ей, что бабушка и двоюродные сестры эвакуировались, а потом отыскали где-то телефон квартиры дяди Якова и позвонили ему из уличного телефона-автомата. Через час он появился на служебном автомобиле и привез Ленину в свою квартиру на Таганской площади.

Яков — старший брат Бориса — обладал таким же притягательным взглядом и был неравнодушен к женщинам. В старости он располнел и обзавелся двойным подбородком, но с фотографии 1969 года, когда Яков уже был в отставке, гордо смотрит человек в мундире генерал-лейтенанта авиации, украшенном орденами и медалями. Он выглядит полным достоинства слугой своей отчизны.

Брат Бориса Яков Бибиков в мундире генерал-лейтенанта ВВС. 1970-е годы.

Как и Борис, в школе Яков выделялся своими способностями, затем увлекся революционными идеями и стал убежденным большевиком. В то время как его брат делал партийную карьеру, Яков пошел в Военно-Воздушный флот Советской России, который тогда еще только создавался. В 1937 году, когда арестовали Бориса, Яков был уже генерал-майором и служил в штабе маршала Василия Блюхера, героя Гражданской войны, командующего Дальневосточным военным округом со ставкой в Хабаровске. К октябрю 1938 года «чистка» распространилась и на военных. Блюхер, старый военный товарищ Троцкого, быстро сообразивший, чем это ему грозит, вызвал к себе трех своих заместителей и без всяких объяснений приказал им немедленно ехать в Москву. Яков вернулся домой и, не тратя времени на сборы, вместе с женой Варварой, которая была уже на сносях, первым же поездом отправился на запад.

Спустя несколько дней Блюхера арестовали, и вскоре он

погиб от пыток в Лефортовской тюрьме. Варваре пришлось рожать в поезде, зато, уехав в Москву, семья благополучно затерялась в канцелярской неразберихе времен «чистки». По странной сталинской логике были арестованы миллионы невинных членов семей «врагов народа», в то время как некоторые из высокопоставленных партийных и прочих деятелей, чьи родственники оказались в тюрьме, оставались на свободе. Супругу сталинского министра иностранных дел Вячеслава Молотова сослали в исправительно-трудовой лагерь, а жену личного секретаря диктатора Александра Поскребышева расстреляли. «Мы найдем тебе другую жену», — небрежно сказал Сталин своему секретарю.

Итак, Яков уцелел, и в 1942 году его произвели в чин генерал-лейтенанта. Он жил в большой квартире красивого солидного дома для крупных военных. Варвара и ее малышка враждебно отнеслись к появлению в их семье Ленины. И это можно понять. Укрывательство дочери «врага народа» подвергало их смертельной опасности. Но Яков заявил, что племянница останется у них, и Варваре приходилось скрепя сердце благодарить ее за помощь по хозяйству. Ленина стала кем-то вроде бесплатной домработницы, но она радовалась уже тому, что живет в семье родственников, а не в детском доме. Яков рассказал ей, как погиб дядя Исаак, посетовал, что ничего не знает о судьбе Бориса и Марфы, и строго-настрого запретил племяннице говорить о них посторонним. Яков считал, что его самого, брата предателя партии, уберегли от ареста только везение и война.

Когда Ленина рассказала, что в суматохе отступления потеряла связь с Милой, Варвара уверенно заявила, чтобы она и не надеялась снова увидеться с сестрой.

Яков устроил Ленину работать радиооператором на Ходынском аэродроме, находившемся на севере Москвы. Там летчики-испытатели обкатывали новые истребители «Яки», сходившие с конвейера завода «Динамо», где когда-то работал Исаак, а также истребители из конструкторского бюро Лавочкина, где Яков отвечал за военное снабжение. С работой Ленина справлялась хорошо, ее очень полюбили летчики и во время испытательных полетов частенько пели с ней дуэтом по радиосвязи. Она до сих пор помнит свой позывной номер — 223305 — и негодует, если кто-то сомневается, не забыла ли она его. «Скорее имя свое забуду, чем позывной!» — шутит она. Вечерами с помощью дяди Якова она составляла бесконечные запросы о сестре и отправляла их в министерство просвещения,

ответственное за судьбу сирот, но обнадеживающих известий не получала.

В семье Якова Ленина провела еще два года, чувствуя себя здесь так же спокойно и уютно, как в Верхнеднепровске. После того как под Сталинградом была окружена и уничтожена Шестая армия Гитлера, в ходе войны произошел коренной перелом, и Красная армия начала стремительное продвижение на запад.

Летом 1944 года, когда война шла уже в Польше и в Нормандии высадились союзники, Яков сказал Ленине, что для нее есть поручение. Один из сослуживцев Якова, тоже генерал, узнал, что его сын, с которым он потерял связь, когда из осажденного Ленинграда вывозились тысячи детей, находится на Урале, в лагере для эвакуированных детей. Ленине поручалось доставить туда необходимые документы и привезти мальчика в Москву.

Через неделю Ленина уже летела на военном самолете в город Молотов, ныне Пермь, с русским экипажем на американском транспортном самолете «дуглас» — эти машины поставлялись в Советский Союз по ленд-лизу. Ленина в военной форме с лихо сдвинутой на затылок пилоткой впервые в жизни летела на самолете.

В Перми директор местного авиационного завода, друг Якова, устроил девушку на двухместный истребитель «ПО-2», который должен был доставить ее в лагерь для эвакуированных детей. Этот лагерь находился в Соликамске.

Маленький потрепанный «ПО-2» приземлился на импровизированном аэродроме на окраине города, и Ленина с молодым пилотом направились по грязным улицам в огромный детский приют, расположенный в дореволюционном здании из красного кирпича. Во дворе бегали сотни истощенных детей. Не успела Ленина войти во двор, как увидела, что к ней бежит, сильно прихрамывая, какая-то девочка. «Тэ ж моя сестра Лина!» — кричала девочка по-украински.

У Людмилы не было передних зубов, живот раздулся от голода. Ленина упала на колени и обняла сестру, а та все плакала и просила есть: «Исты хочу! Исты хочу!»

Рыдания мешали Ленине говорить. Молодой пилот с изумлением смотрел на них, не понимая, что происходит. Не в силах разнять плачущих сестер, он торопливо повел их в кабинет директора.

Узнав, что Ленина случайно нашла здесь свою младшую сестру, директор не сдержала слез радости. Она позволила девушке забрать генеральского сына, но затем им пришлось несколько часов ждать, пока пилот созвонился со своим

начальником в Перми и попросил его, чтобы тот заручился разрешением Москвы вывезти и Людмилу. Кто-то дозвонился до Якова — что во время войны было настоящим чудом, — и тот пустил в ход свои связи. Разрешение дали, и Ленина летела обратно в Пермь в маленьком «ПО-2», сидя на месте пулеметчика и держа на коленях двух детей, страдавших от «воздушной болезни».

Ночь они провели в маленькой комнате коммунальной квартиры, где жил друг директора авиационного завода. Ленина заметила, что дети всю ночь бегают в туалет. Утром ее разбудила крупная ссора на общей кухне. Оказалось, что дети съели всю еду, какую только нашли в кастрюлях соседей, в том числе большой котелок с рисом и курицей. Уже по дороге в аэропорт, где они должны были пересесть на транспортный самолет, у Людмилы и мальчика начался понос. Их желудки, привыкшие к голоду, не смогли переварить такое обилие пищи.

Когда они вернулись в Москву, в квартире Якова не нашлось места для больного ребенка, и он устроил Людмилу в детский распределитель, размещавшийся в Даниловском монастыре и предназначенный для детей номенклатуры. Там невероятно вкусно и сытно кормили продуктами, поступавшими из Америки в Союз по ленд-лизу, такими, как томатный суп «Кэмпбелл» в банках, тушенка, мясо тунца и сгущенное молоко. Больше всего Миле нравились огромные банки с порошком какао «Херши», вкус которого она помнит до сих пор. Она видела, как детдомовские повара, сняв крышку, с благоговением вскрывали фольгу. В темно-коричневом душистом порошке лежала пластмассовая мерная ложечка. Людмила была потрясена такой изумительно практичной упаковкой, а мысль о том, чтобы потом выбросить эту ложечку, просто не укладывалась у нее в голове. Ей казалось, что такая чудесная банка могла попасть сюда только из другого, волшебного мира, который существовал в ее воображении.

Глава 7
Мила

Мы рождены, чтоб сказку сделать былью,
Преодолеть пространство и простор.
Нам Сталин дал стальные руки-крылья,
А вместо сердца — пламенный мотор.

Марш авиаторов. 1937 год

Мила быстро набирала вес, однако нога ее оставалась изуродованной туберкулезом. В Даниловском монастыре, где она провела полгода, нашлись красочные американские комиксы для детей, и девочка с жадностью бросилась их рассматривать. Ей было уже десять. И она выжила.

В январе 1945-го Милу перевели в Салтыковский детский дом под Москвой, а весной оттуда ее послали в санаторный детский дом в Малаховке. Там она стала по-настоящему выздоравливать. Правда, живот у нее все еще был раздут, «он торчал дальше ее носа», — вспоминает Ленина, и она прихрамывала, но никогда не унывала, весело распевала песни и прыгала во дворе через скакалочку. Мила вошла в группу ребят, которые наблюдали за распределением пищи — они приходили в кухню и следили, чтобы повар, вскрывая большие банки с американской тушенкой, всю ее, до последнего кусочка, выкладывал в кастрюлю, где варились щи для детей. Несмотря на прекрасные американские продукты, голод оставил в душе Милы неизгладимый след. «Память о голоде, пережитом в детстве, преследует тебя всю жизнь, — сказала она мне. — И никогда не чувствуешь себя полностью сытой».

И все же, принадлежа к поколению детей, переживших голод, «чистку» и войну, Людмила и Ленина могли считать себя счастливыми. Они уцелели и нашли друг друга. Возможно, именно поэтому трагический жизненный опыт, который нам кажется невероятно тяжелым, не так уж сильно повлиял на сестер. Мила выжила, когда рядом с ней один за другим умирали малыши из Испании; Ленина нашла Людмилу, хотя тысячам братьев и сестер так и не суждено было увидеться вновь. Одного этого было достаточно, чтобы радоваться жизни.

Но, несомненно, девочки смогли выжить и благодаря природной гибкости детской психики, их умению жить одним

днем. Ребенка не отягощают взрослые проблемы; не задумываясь о прошлом и будущем, он целиком погружен в сегодняшний день с его впечатлениями и переживаниями, что надежно ограждает от отчаянья и уныния. Во всяком случае, Людмиле безусловно помогало отсутствие воспоминаний о прошлом, сохранившемся лишь в отрывочных смутных образах раннего детства; девочке легче было пережить жестокие реалии тюрьмы и детского дома — ведь ей не с чем было сравнивать свою нынешнюю жизнь. Вкусное какао «Херши» и сытная тушенка помогли ей выздороветь и окрепнуть, и она безмятежно воспринимала мир таким, какой он есть.

Вскоре после возвращения Людмилы из Соликамска в квартиру Бибиковых на Таганской площади заглянул племянник жены дяди Якова, Александр Васин. Оказавшаяся дома Ленина застенчиво поздоровалась со своим дальним родственником. Александр, или Саша, был цветущим, красивым парнем с неотразимой улыбкой и громким, заразительным смехом. Ему необыкновенно шла светло-зеленая форма капитана танковых войск с блестящими погонами.

Они виделись однажды в 1937-м — вскоре после ареста отца Ленина приезжала в Москву. Саша шутливо заметил, какой хорошенькой стала его кузина, и предложил показать ей метро. Когда они спускались на эскалаторе, он, все так же весело подтрунивая над Лениной, сказал, что с удовольствием взял бы ее в жены. Через несколько дней состоялось их первое свидание в Краснопресненском парке, недалеко от зоопарка. Там он пригласил ее в кафе — это было с Лениной впервые в жизни. По невероятному совпадению, когда через тридцать шесть лет Саша скоропостижно скончался от сердечного приступа, коллеги устроили ему поминки в том же самом кафе.

Короткий Сашин отпуск заканчивался, пролетели две недели ухаживаний, нужно было возвращаться в свою часть. Перед отъездом он сделал Ленине предложение, и она его приняла.

Капитан Александр Васин. 1942 год. Вскоре после того, как он сделал Ленине предложение, его машина подорвалась на мине недалеко от Смоленска. Ему ампутировали ногу обычной пилой.

Тремя днями позже Сашина машина подорвалась на противотанковой мине, на передовой линии фронта западнее Смоленска. Осколком ему разворотило ногу, и ее пришлось ампутировать до самого колена. В полевых условиях это сделали обыкновенной пилой, после чего Сашу переправили в большой военный госпиталь в Иваново, откуда он прислал Ленине странное письмо. Он писал своей невесте, что горел в танке и сильно изуродован и что ей лучше найти себе другого мужа. Ленина бросилась за помощью к дяде Якову. Яков устроил ей полет в Иваново на американском «дугласе» и предупредил экипаж, что им придется везти в Москву раненого. Ленина нашла тот госпиталь и увидела во дворе Сашу, опирающегося на костыль. Он вовсе не был обожжен, но потерял ногу. Оба вернулись в Москву и через три месяца поженились. Ей было девятнадцать, ему двадцать шесть. Странно, что после почти сорокалетней супружеской жизни Ленина не может вспомнить, какой именно ноги он лишился.

Я помню Сашу, этого обаятельного красавца с твердым характером и положительного во всех отношениях. Он был типично советским человеком, простосердечным, веселым и не терявшим оптимизма, даже когда сталкивался, как и многие другие, с некомпетентностью или грубостью бюрократов.

Думаю, Саша и его юная свояченица Людмила были очень

разными людьми. Она отличалась необыкновенной целеустремленностью и бескомпромиссностью, всегда пыталась изменить жизнь к лучшему. Он же удовлетворялся простыми вещами: уважением друзей и коллег, своей маленькой квартиркой, дачей, которую построил собственными руками из ворованных досок и кирпичей. И всегда сознавал свое мужское обаяние. Казалось, он считал своим долгом приласкать женщин, которых война оставила одинокими. Но при этом он ни разу не дал повода очень ревнивой Ленине заподозрить его в измене. «Может, он и не был верным мужем, но я никогда ничего не знала», — не скрывая одобрения, говорит Ленина.

В последние месяцы Великой Отечественной войны Москва была близка к истощению. Красная армия сражалась уже далеко на западе, в Восточной Пруссии, стремясь опередить союзников и первой ворваться в Берлин. А в глубоком тылу, в городах и селах, опустошенных войной, женщины и дети вели непрерывную войну с голодом и холодом, с тревогой ожидая весточек с фронта, особенно теперь, когда победа была уже так близко.

На улицах Москвы, заполненных людьми в военной форме, по вечерам было темно — электричество, как и многое другое, нормировалось. Все с нетерпением ждали конца войны и думали только о том, как выжить, и не задумывались о будущем. Дни проходили в хлопотах, где и как отоварить продовольственные карточки с их мизерными нормами на все продукты. Варвара с дочерью часами выстаивали на улице в длинных очередях, надеясь, что подвезут продукты. Ленина выпрашивала в родильном доме хоть немного молока для своей вечно голодной сестренки. По вечерам они с Сашей усаживались у репродуктора — черной «тарелки» — и с гордостью слушали сообщения о том, что Красной армией взят еще один немецкий город. Ленина, в отличие от многих своих подруг по работе на Ходынском аэродроме, была счастлива — ведь ее Саша остался жив. Бабушка Софья отдала молодоженам свою комнату в подвале дореволюционного особняка на улице Герцена. Она была очень маленькой, а утопленные в толстой стене окна пропускали мало света, но зато у Ленины впервые с детства появился собственный дом, и она всеми силами старалась сделать его уютным.

Кухня стала ее царством, а еда — мерилом любви к мужу. Спустя много лет с тех пор как она научилась готовить еду на маленькой плитке в квартире на улице Герцена, я сижу в кухне моей тетки на Фрунзенской набережной, и она угощает меня теми же блюдами, которые когда-то стряпала для Саши, — кислыми щами, гороховым супом, котлетами и жареной картошкой. Пока я

ем, она ревниво следит за мной, пытаясь понять, оценил ли я ее кулинарные способности. Ленина, как и моя мама, не представляет себе счастья без вкусной и сытной еды.

В конце 1945 года — Людмиле вот-вот должно было исполниться одиннадцать лет — ее сочли достаточно здоровой, чтобы выписать из детского дома в Малаховке. Но в однокомнатной квартирке Ленины было слишком тесно. Она уже ожидала первенца, а в кухне на раскладушке ночевала сестра Саши Тамара. Ленина позвонила своей тетке Варваре, но та тоже отказалась принять Людмилу. «Еще одна попрошайка», — ответила она мужу, когда он спросил, кто звонит. Тогда Людмила вернулась в детский дом в Салтыковке, в восемнадцати километрах от Москвы.

Салтыковка — симпатичное, тихое местечко. Однажды летом 1988 года мы с мамой решили туда съездить. Сели на электричку на Курском вокзале, как в детстве не раз делала мама. Когда поезд с грохотом умчался вдаль, мы остались на узкой бетонной платформе, и воцарившуюся тишину нарушали лишь пенье птиц и отдаленный гул машин на шоссе.

«Ничего не изменилось», — заметила мама, когда мы шли с ней, взявшись за руки, по пыльной улице поселка, вдоль которой стояли старые деревянные дома выцветшего зеленого и желтого цвета. Впереди виднелись высокие ворота детского дома. Покосившийся штакетник окружал его небольшую территорию, где строения прятались среди пышно разросшихся кустов жасмина и зарослей подсолнухов. Сразу за детским домом, где моя мама провела бóльшую часть своего детства, начинался лес.

Сейчас здесь было тихо и пусто — ребят отправили на лето в пионерлагерь. Как всегда в таких местах, в отсутствие детворы острее ощущается грусть, заброшенность и горечь сиротства.

И все-таки в Салтыковке Мила была счастливее, чем где бы то ни было. Здесь она впервые пошла в обычную школу, которую очень полюбила. Пристрастившись к чтению за годы вынужденного безделья в больнице, она жадно набрасывалась на книги из местной библиотеки. Учительницы были педагогами старой школы и стремились вырастить из детей грамотных людей, привить им любовь к сочинениям Пушкина. По воскресеньям приезжали шефы — военные, на больших армейских грузовиках они отвозили детей в свою часть и показывали им фильмы.

Мила помнит, как она сидела на коленях у деревенской женщины, которая топила баню в детском доме, и та часами вычесывала из ее волос вшей. А одна из воспитательниц, Мария

Николаевна Харламова, в свое свободное время занималась с Людмилой дополнительно литературой и историей. Когда мы постучали в дверь ее дома, Мария Николаевна сразу узнала мою маму и заплакала.

— Милочка! Неужели это ты? — повторяла она, не размыкая объятий.

Мария Николаевна захлопотала, напоила нас чаем с домашним вареньем, а потом нашла в старых бумагах конверт, где хранились вырезки из местной газеты: в одной сообщалось, что Людмила поступила в МГУ, в другой — что закончила его с красным дипломом.

— Я так тобой гордилась! — прошептала она, глядя на свою блестящую ученицу с удовлетворением старой матери. — Я гордилась всеми своими учениками!

В то время, когда Мила еще оставалась в Салтыковке, ей вновь пришлось провести несколько месяцев в Боткинской больнице, где ей сделали сложную операцию на бедре и на голени. Из-за перенесенного в детстве туберкулеза правая нога у девочки стала короче другой на шестнадцать сантиметров, и, когда ей исполнилось пятнадцать, хирурги сочли возможным рассечь кость и растянуть ее под нагрузкой.

Один из редких снимков Людмилы в детском доме в Салтыковке. 1949 год. Между двумя операциями на поврежденной туберкулезом ноге в Боткинской больнице

Один из редких снимков Людмилы в детском доме в Салтыковке. 1949 год. Между двумя операциями на поврежденной туберкулезом ноге в Боткинской больнице.

Вернувшись после гнетущей больничной тишины в шумную

Салтыковку, Людмила с азартом окунулась в активную школьную жизнь и в разные игры. Она всегда была заводилой, настоящей пионерской активисткой, и на ее белой рубашке ярко сиял пионерский значок. «Нам Сталин дал стальные руки-крылья, а вместо сердца — пламенный мотор», — пели в те годы, и, несмотря на свою искалеченную ногу, Мила стремилась соответствовать идеалу.

Милу всегда отличали прямолинейность и независимость мышления — черты характера, которые даже в школе проявлять было небезопасно. Однажды, вскоре после окончания войны, учительница прочла ребятам передовицу «Пионерской правды», не избежав антиамериканской риторики. Мила подняла руку и спросила: «А разве американцы не помогали нам во время войны?»

Учительница испугалась и немедленно отправила Милу к старшей пионервожатой, которая срочно созвала сбор отряда. Послушно собравшиеся одноклассники заявили, что Мила должна заняться своим политическим образованием, и вынесли ей порицание. Не в последний раз в жизни Мила предстала перед подобным лицемерным судом.

Уже тогда в ее маленьком искалеченном теле жила неукротимая воля. Позднее она писала своему будущему мужу, моему отцу, что не хочет идти на уступки и не хочет принимать реалии советской жизни. «Я хочу, чтобы жизнь на деле доказала мне силу моих принципов, — писала она. — Хочу, хочу, хочу!» В обществе, где большинство ее современников думали только о том, как бы прожить, и довольствовались малым, Мила стремилась вырваться вперед и была убеждена, что добьется этого благодаря своей воле и характеру. Поэт Евгений Евтушенко сардонически назвал тех, кто строил свою жизнь в советском обществе с помощью миллионов маленьких компромиссов, «товарищ Компромисс Компромиссович». Мила к ним не принадлежала.

Хромота не помешала Миле стать чемпионом своего класса по прыжкам через веревочку. В Салтыковке по ее предложению проводили ежедневный осмотр детей на предмет вшивости, она устраивала туристические походы и экскурсии, разучивание новых песен и соревнования по прыгалкам. Приезжая к сестре на улицу Герцена, она сразу бросалась во двор соревноваться с ребятами — «кто кого перепрыгает», чертила мелом на тротуаре классики. И почти всегда в этих играх побеждала, один раз даже со сломанной рукой в гипсе.

■

Девятого мая 1945 года по радио торжественно сообщили о

великой победе. Ленина услышала это на заводе «Динамо» и испытала чувство невероятного облегчения и глубокую усталость. Однажды по Садовому кольцу вели пленных немцев, и Ленина вышла на улицу Герцена, туда, где она пересекается с Садовым, чтобы собственными глазами увидеть поверженного противника. Собравшиеся толпы людей в полном молчании смотрели на проходившие мимо колонны немецких пленников с замкнутыми лицами, она помнит сильный запах их кожаных ботинок и ремней. За военнопленными следовали поливальные машины, демонстративно смывая потоками воды следы фашистов. Даже один из десяти не вернулся на родину.

Яков с семьей переехал в более просторную и современную квартиру. Из командировки в Германию, целью которой было демонтировать немецкие ракетные лаборатории и доставить оборудование в конструкторское бюро Лавочкина, он своим ходом пригнал в Москву трофейный «мерседес». Это был огромный, сверкающий черным лаком автомобиль, знак высокого положения. Яков разъезжал в нем по Москве сам и приглашал покататься девушек; в конце концов об этом стало известно Варваре, и она закатила ему страшную сцену ревности. Тем временем Яков получил новое назначение — пост руководителя советской ракетной программы, которая находилась в стадии становления и для выполнения которой предполагалось использовать пленных немецких специалистов. Этот пост открыл для всей семьи особые привилегии, но они не спешили делиться ими со своими бедными родственниками. Ленина и Людмила еще долго после войны жили очень скромно, даже бедно. В этой серой будничной жизни яркими пятнами вспыхивали военные парады и многолюдные демонстрации с красными знаменами и лозунгами, и призывами, которые неслись из громкоговорителей, — тогда люди испытывали огромную гордость за достижения Родины. Всякий раз, когда Ленина с Сашей, чью грудь украшали орденские колодки, выходила погулять с новорожденной дочкой Надей, она надеялась, что уж для этой крошки детство будет счастливым.

■

Согласно официальному приговору, который получил Борис Бибиков — «десять лет без права переписки», — его должны были освободить в июне 1947 года. Хотя шансы, что он пережил лагерь и войну, были слишком малы, Ленина продолжала надеяться на его возвращение.

Даже после всего, что они пережили, семья Бибиковых сохраняла наивную веру в справедливость и порядочность

советской системы. Подобно десяткам миллионов других родственников репрессированных, они считали, что именно их близкие оказались жертвами какой-то ужасной ошибки. Исполненная непоколебимой уверенности в том, что справедливость в конце концов восторжествует, мать Бориса, Софья Наумовна, постоянно отправляла на имя министра внутренних дел запросы о судьбе своего сына. В течение многих лет ее письма оставались без ответа, однако это не поколебало ее веру. Но вот наступил срок освобождения Бориса, а известий все не было.

Ленина (слева) с подругой. Москва. Конец 40-х.

Зимой 1948 года Ленине, которая вынашивала второго ребенка, пришлось уехать в калужскую деревню, где жила мать Саши, Прасковья. Там было много молока, и на время родов можно было оставить маленькую Надю на попечение соседок. Саша учился в юридическом институте и вынужден был остаться в Москве. Но каждую субботу он садился в поезд со своим стареньким велосипедом, который чинил собственноручно, ехал на нем (это с протезом!) от Калуги до деревни, проводил с семьей один день и в воскресенье вечером возвращался на велосипеде обратно, чтобы успеть на московский поезд.

Однажды Саша привез в деревню письмо со штемпелем «Карлаг» — без конверта, свернутое треугольником — такие приходили от солдат с фронта. Письмо было от Марфы. Она

писала, что прошлой весной ее освободили, что живет она рядом с лагерем «под административным надзором» и что у нее родился мальчик по имени Виктор. Его отец — священник из их лагеря, которому она спасла жизнь. Но после освобождения он возвратился к своей семье, куда-то на Алтай.

Теперь Марфа ожидала обещанного разрешения выехать из Казахстана, но не знала, куда ехать, так как у нее не было паспорта. Ленина поняла, что́ имеет в виду мать — в ее проездных документах значилось, что она бывшая политзаключенная, а потому может проживать не ближе сто первого километра от крупных городов. В крохотной московской квартирке Ленины каждый метр был на учете, но Прасковья заявила, что Ленина обязана устроить Марфу в Москве. Ленина написала матери, чтобы та не обращала внимания на запрет и, как только сможет, приехала жить к ним в столицу. На следующий день Саша отправил это письмо.

Локомотив медленно вполз на Курский вокзал, извергая дым и сажу. Из-за нехватки подвижного состава люди приехали в вагонах для перевозки скота. Марфе не разрешили купить билет на обычный поезд из Семипалатинска, поскольку у нее отсутствовали нужные документы, и она ехала на случайном поезде, полном таких же беспаспортных бродяг, как и она. Предварительно Марфа отправила дочери телеграмму о своем приезде. Из поезда вылезли толпы пассажиров — в основном бывшие осужденные, измученные и грязные после пятидневной дороги.

В памяти Ленины мать осталась женщиной видной, модно одетой супругой крупного партийного руководителя. Сейчас по платформе медленно брела старуха, скорее похожая на нищенку, — грязная, в лагерной телогрейке, с узелком в руках. Она была одна.

Марфа едва улыбнулась, увидев тяжело переваливающуюся дочь, беременную вторым ребенком. Они обнялись и заплакали. Ленина спросила, что случилось с ее маленьким сыном. «Он умер», — коротко ответила Марфа, явно не желая вдаваться в объяснения, и заторопилась к выходу. Они молча доехали на метро до «Краснопресненской», потом Ленина заставила мать пойти в баню, что рядом с зоопарком, вымыться и вывести вшей перед появлением в их доме.

Добравшись наконец до полуподвальной квартирки на улице Герцена, где жила ее дочь с семьей, Марфа впала в крайнее раздражение. Она жаловалась, что приготовленная ей кровать слишком мягкая и что внучка слишком громко кричит. До

полуночи Саша утешал заплаканную Ленину, а его теща расхаживала по кухне не в силах заснуть.

На следующий день Ленина отправилась за Людмилой в Салтыковку. Когда сестры приехали на улицу Герцена, они застали мать, нетерпеливо ожидавшую их у дверей квартиры в конце длинного коридора. Первое, что увидела Марфа, была прихрамывающая фигурка младшей дочери. Марфа позвала ее и, когда девочка подбежала к ней, завыла. Тот страшный вой запомнился Людмиле на всю жизнь. Последний раз Марфа видела ее упитанным и радостным ребенком, а через одиннадцать лет нашла хромым, истощенным четырнадцатилетним подростком.

Марфа долго с плачем прижимала дочь к себе. Рассказывая сейчас об этой встрече, Мила покачивает головой, пытаясь вспомнить свои ощущения в тот момент. Но она ровным счетом ничего не почувствовала. «Наверное, я обняла ее, может быть, назвала мамой. Но я не помню».

Для Милы понятие «мама» приобрело почти абстрактный смысл: в обстановке детского дома, где прошло ее детство, для него не было места. Она не помнила родителей, если не считать смутного воспоминания об аресте матери. А когда Ленина сообщила ей, что их мать жива, она послушно стала писать ей в Карлаг, но ее заверения в любви были, по правде говоря, придуманы. Мила не знала, что значит мама, разве что по книгам, и понятия не имела, что такое дочерняя любовь.

Возвращаясь поздно вечером в Салтыковку, Людмила прежде всего испытывала огромную благодарность к матери за приготовленный ею обильный и вкусный ужин. Спустя годы она писала жениху, как заплакала, узнав, что ее мать жива, но приказала себе успокоиться, считая слезы признаком слабого характера.

Марфа так и не стала Людмиле настоящей матерью. Безжалостно разорванные в декабре 1937 года родственные отношения не восстановились. Мила часто приезжала в гости к Ленине, но ей быстро надоедали вечные жалобы и вспышки материнской злобы. В течение нескольких месяцев девушки покорно исполняли заведенный матерью порядок: почти каждый выходной Марфа с Лениной бывали в Салтыковке, Ленина забирала сестру из детского дома на прогулку, а Марфа, у которой до сих пор не было никаких документов, ждала дочерей у деревенского пруда. Они гуляли и разговаривали, и Марфа передавала дочке конфеты и домашние пирожки, которыми Людмила делилась со своими однокашниками.

Девочка любила свою мать, как «собака любит человека,

который ее кормит», призналась она мне как-то жарким летним вечером у меня дома в Стамбуле. «Я знала, что такое партия, Сталин, народ, но никогда не понимала значение слова „мама“».

При живой матери Мила в душе чувствовала себя сиротой. Но задолго до того, как сама стала матерью, много размышляла о материнстве и о том, какой она будет матерью, и часто писала моему будущему отцу об их еще не рожденных детях и о страхе потерять их, как когда-то Марфа потеряла ее.

> Мне всю ночь снилось, как я несу на руках маленького мальчика, нашего сына, очень нежное и трогательное существо, — писала Людмила моему отцу в 1964 году. — Дорога была очень трудной и длинной, шла то вверх, то вниз, в какой-то подземный лабиринт. Нести сына было очень тяжело, но я не могла бросить такого прелестного малыша, в котором все было твое — голос, нос, волосы, пальчики. Почему-то мы оказались около здания МГУ на Моховой, где старенький профессор выбирал самых хороших детей, и мой мальчик оказался одним из них. Все родители радовались, что выбрали именно их детей, и только я одна плакала, так как не верила, что мне его вернут.

Еще не появились на свет ни я, ни моя младшая сестра, но Мила уже думала о том, как защитить своих детей. А ее мать временами охватывала необъяснимая ненависть к дочери. Случалось, недовольная тем, что Мила сказала или сделала, Марфа со злобой обзывала ее «детдомовской калекой». Истеричная по натуре, она называла старшую дочь «жидовским отродьем» и ругалась жуткими лагерными ругательствами. Временами у нее случались истеричные припадки жалости к себе и страстной любви к детям, и тогда она обнимала их, заливаясь слезами.

Пройдя лагеря, Марфа вернулась из Казахстана просто ненормальной. Но все настолько боялись психиатров, ничего не понимая в этой науке, что никому и в голову не приходило, что матери нужно полечиться, и вся семья молча страдала от ее припадков бешенства. «Для нас психиатры были страшнее, чем чекисты», — говорит Ленина. Марфа всегда отличалась злым, сварливым нравом, а лагерная жизнь превратила ее ненависть к окружающим в необузданную силу.

Однако временами лучшие стороны ее души будто прорывались сквозь всю горечь жизни, и она неожиданно проявляла необыкновенную щедрость. В 1971 году, когда я родился, Марфа прислала моей маме поздравительное письмо и

сообщила, что открыла в банке счет на мое имя, что зарабатывает деньги, готовя еду для священника из местного прихода, и ревностно откладывает их в банк. Приехав в 1976-м к нам в гости, она привезла сберкнижку и показала ее Людмиле. Это было своего рода предложением о мире, попыткой искупить тяжелое детство дочери, лишенной материнской любви и заботы. После смерти Марфы Ленина не смогла найти сберкнижку и предположила, что ее украли украинские родственники матери. Но это не важно. Я часто представляю себе, как Марфа изо дня в день стоит у плиты, варит суп и жарит котлеты для священника и думает о живущем в далеком Лондоне мальчике, которого она видела всего несколько недель, а после работы, тяжело переваливаясь, тащится в банк, чтобы отложить для внука свои жалкие гроши.

Встречаясь с матерью только в выходные, Людмила была избавлена от самых жутких ее скандалов. Ленине приходилось терпеть. Но вот однажды ей пришла в голову спасительная мысль. Дело в том, что за небольшую плату она продавала остававшееся после кормления малышки грудное молоко в роддом по соседству — для младенцев-отказников. И вот она устроила туда работать свою мать. Теперь большую часть дня Марфы не было дома, и Ленина могла хоть немного отдохнуть от нее. Зато вечером, расположившись на кухне, мать принималась изводить Ленину своими злыми придирками. Она язвительно спрашивала, почему та вышла замуж за «калеку, а не за генерала», и убеждала ее разойтись с Сашей. Провоцируя скандалы с дочерью, она открыто заигрывала с ее мужем. Несколько раз Марфа набрасывалась на нее с ножом и однажды Ленина, отбиваясь от матери, сломала ей палец. В результате этих стычек было перебито много посуды, которую Ленина с таким трудом приобретала. По ночам Марфа плакала и проклинала Бориса, называя его дураком и предателем за то, что он навлек на нее столько бед, твердила, что не желает его больше видеть, и надеется, что он умер.

«Мы терпели все это, — вспоминает Ленина. — Но сколько крови она у нас выпила! Она жила нашими страданиями».

Потребовались месяцы, чтобы Марфа смогла рассказать, как она прожила те страшные десять лет, но делала при этом циничные пояснения. Через несколько недель после ареста Марфа была осуждена. Вероятно, во время бесконечных допросов у нее случился нервный срыв, и она стала признаваться во всем, что ей приписывали, включая вину за мужа. За «причастность к антисоветской деятельности» ей дали десять лет каторжных работ и вместе с сотнями других осужденных женщин погрузили в

вагоны для скота и доставили на отдаленную железнодорожную станцию в Казахстане. Оттуда их пригнали по степи в Семипалатинск, в палаточный лагерь, а там заставили строить себе тюрьму из неотесанных досок, которую потом должны были обнести колючей проволокой.

Однажды мой знакомый, сын пленника ГУЛАГа, рассказал мне, как его отцу удалось выжить в лагере. Старик заставил себя совершенно забыть свою прежнюю жизнь, как будто это был сон, отказаться от надежды когда-либо вернуться к ней, выкинуть из головы сожаление и ожесточение, а главное, раствориться в настоящем, ценить маленькие радости лагерной жизни: горячую печку, мыло в бане, туманные зимние сибирские рассветы, тишину леса, найденные в тайге россыпи ягод, знаки малейшей доброты сокамерника. Но такое было под силу лишь очень сильным, волевым людям, и большинство осужденных, не выдержав жестоких испытаний, либо погибли, либо на всю жизнь остались морально искалеченными.

Марфа почти никогда не говорила о своей жизни в лагерях. Ленина узнала только об одном случае, настолько жутком, что у нее больше не возникало желания расспрашивать. Однажды осенью, еще перед войной, в лагерном скотном дворе телились коровы. Марфа должна была после появления на свет каждого теленка собрать еще горячую плаценту и околоплодные воды в ведро, перелить из ведра в бочку, стоявшую на улице, и засыпать все карболкой, чтобы не ели крысы. Марфа дождалась очередного теленка, а когда вышла на улицу, увидела около той бочки двоих мужчин, скорее напоминающих скелеты, которые корчились от невыносимой боли. Эти зэки, недавно переведенные из другого лагеря, бывшие священники, едва держались на ногах от голода. Они подкрались к бочке и жадно набросились на сырую, еще горячую плаценту. Марфа затащила одного из них в коровник и напоила свежим молоком, чтобы нейтрализовать карболку. Этот выжил. А второй в муках скончался прямо у самой бочки. После выхода из лагеря Марфа стала жить с тем, спасенным, и родила от него сына, рано умершего.

В тот же день, после отела, Марфа помогала собирать трупы зэков, скончавшихся во время этапа. Вместе с другой женщиной она грузила их на телегу, которую потом, уже одна, тащила далеко в степь, к месту массового захоронения. Но тут запах мертвечины учуяли шакалы и стали ее преследовать, и тогда Марфа, чтобы спастись, бросила им труп на растерзание. Срок лагерного заключения окончился для Марфы в начале 1948 года, но ей не разрешили вернуться домой. Сначала ее выпустили под «административное наблюдение», что означало проживание в

деревне, неподалеку от лагеря. Со священником, имя которого она так и не назвала, они поселились в избе на окраине Карлага, завели небольшой огород и исполняли разные работы для работников лагеря.

Марфа почти ничего не рассказывала про своего лагерного «мужа» и про сына Виктора, который умер перед самым ее возвращением в Москву. Но Ленина всегда подозревала, что, когда священник вернулся к своей семье, Марфа просто отказалась от ребенка, отдав его местному доктору или в детский дом. Ленина никогда не приводила в пользу своего предположения никаких доказательств, она просто подозревала, что могло быть именно так, потому что «чувствовала это сердцем». В 2007 году жизнь свела Ленину с неким прокурором по имени Виктор Щербаков; правда, сопоставив факты, убедилась, что этот человек не ее пропавший единоутробный брат, а почти однофамилец ее матери. Поразмыслив, Ленина, которой было уже восемьдесят два года, решила больше не искать малыша, пропавшего в 1948-м. «Что, если я его найду, а он окажется обыкновенным негодяем? — спрашивала она. — В нем нет крови Бориса, которая сделала нас порядочными людьми. В нем течет кровь Марфы, а ее нам и так хватает!»

Вместо обычного паспорта Марфе выдали справку об освобождении и специальное свидетельство, навсегда запрещающее ей жить вблизи крупных городов. В Советском Союзе в 40-е годы было множество таких людей, обреченных на бесправную жизнь.

К счастью для Марфы, Саша уже работал младшим юристом в Министерстве юстиции и нашел лазейку, чтобы спасти ее. По тюремным документам Марфа проходила под фамилией Щербакова — ее русифицированной девичьей фамилией. Но в свидетельстве о рождении стояла украинская фамилия Щербак, и Саша уговорил сотрудников милиции выдать паспорт Марфе Щербак — женщине, не имеющей никаких ограничений на выбор места жительства. Таким образом, по документам Марфа была обыкновенной советской гражданкой. Но в семье знали, что душа ее разбита.

Детский дом, где воспитывалась Людмила, имел свою производственную базу: швейную мастерскую и механический цех. Большинство сверстников Людмилы заканчивали только семь классов и после годовой практики уезжали работать на текстильные фабрики в Иваново. Учительница Людмилы обратилась к местным властям с просьбой, чтобы те позволили девочке закончить десятилетку в другой местной школе, — тогда

она сможет поступать в университет. Разрешение дали, а Людмиле пришлось оплачивать свое содержание в детском доме — она занималась с младшими детьми и устраивала любительские спектакли. Вот тогда она и выработала свои особые педагогические приемы, которые использует и по сей день. В дальнейшем она стала очень строгой преподавательницей русского языка, перед которой робели все английские студенты; на занятиях она не терпела никакой болтовни и ошибок, зато бурно радовалась каждому успеху своих учеников.

Если бы Сталин не умер 5 марта 1953 года от кровоизлияния в мозг, жизнь моей матери наверняка потекла бы по иному руслу.

Людмила блестяще закончила салтыковскую школу, получив серебряную медаль (она до сих пор помнит ошибку в сочинении, из-за которой лишилась золотой медали, — пропустила запятую между словами: «гиппопотамы, или бегемоты»). При Сталине дочь «врага народа» не могла и мечтать об университете. Скорее всего, Мила поступила бы в областной педагогический институт и всю жизнь проработала бы школьной учительницей.

Завуч детдома Н. И. Сумарокова, «из бывших», вызвала Милу в кабинет директора и сказала ей: «При поступлении в университет напиши в автобиографии, что ты выросла в детдоме, родителей своих не помнишь, тебя вырастила и воспитала Родина».

В сентябре 1953 года Людмила стала студенткой исторического факультета самого престижного советского университета. Узнав, что она принята, Мила воскликнула: «У меня выросли крылья!»

■

Смерть Сталина принесла надежду и на возвращение из лагеря отца. В 1954 году МВД, которому суждено было стать наследником НКВД, прервало свое семнадцатилетнее молчание о судьбе Бориса Бибикова. В ответ на очередной запрос Софье Наумовне сухо сообщили, что Бибиков Б. Л. в 1944 году скончался от рака в тюремной больнице. Тогда Софья Наумовна обратилась к первому секретарю ЦК КПСС Никите Сергеевичу Хрущеву с просьбой — хотя бы имя Бибикова очистить от несправедливых обвинений. Письмо послушно легло в досье ее сына.

> Уважаемый Никита Сергеевич, — писала она. — Обращаюсь к вам как старая женщина, мать троих сыновей-коммунистов. Остался у меня только один, Яков, который служит в рядах нашей доблестной Советской Армии. Второй, Исаак, погиб на фронте

Великой Отечественной войны, защищая нашу Родину. Третий, Бибиков Борис Львович, был арестован в 1937 году как враг народа и приговорен к десяти годам заключения. Срок его заключения истек в 1947 году.

Никита Сергеевич, мой сын… Я чувствую, я уверена, что Борис невиновен, что его арестовали по ошибке. Можно ли спустя восемнадцать лет разобраться в его деле и реабилитировать его? Я до сих пор не могу узнать правду о том, что случилось. Мне восемьдесят лет, я не являюсь членом партии, но я честно учила моих детей любить свою Родину и преданно ей служить. Она дала им жизнь, здоровье и знания для торжества коммунизма, для мира на земле, для процветания их великой отчизны… Дорогой Никита Сергеевич, прошу вас взглянуть на это дело как коммунист, и если мой сын невиновен, реабилитировать его. С уважением, Бибикова.

Дело Бориса Бибикова было вновь открыто в 1955 году, во время первой кампании по реабилитации, то есть судебного пересмотра дел жертв репрессий, начавшегося в стране еще до секретной речи Хрущева на XX съезде партии, когда он развенчал культ личности Сталина. Для пересмотра тысяч дел, подобных делу Бибикова, потребовался колоссальный бюрократический аппарат. Для реабилитации Бибикова были взяты подробнейшие показания у людей, близко его знавших, тщательно изучены следственные дела каждого, проходившего по его делу. По печальной иронии судьбы, количество необходимых для реабилитации документов оказалось в три раза больше тех, которые потребовались, чтобы арестовать, осудить и уничтожить Бориса Бибикова.

Все, кого допрашивали о так называемой контрреволюционной деятельности Бориса, заявили, что он был искренним и преданным коммунистом.

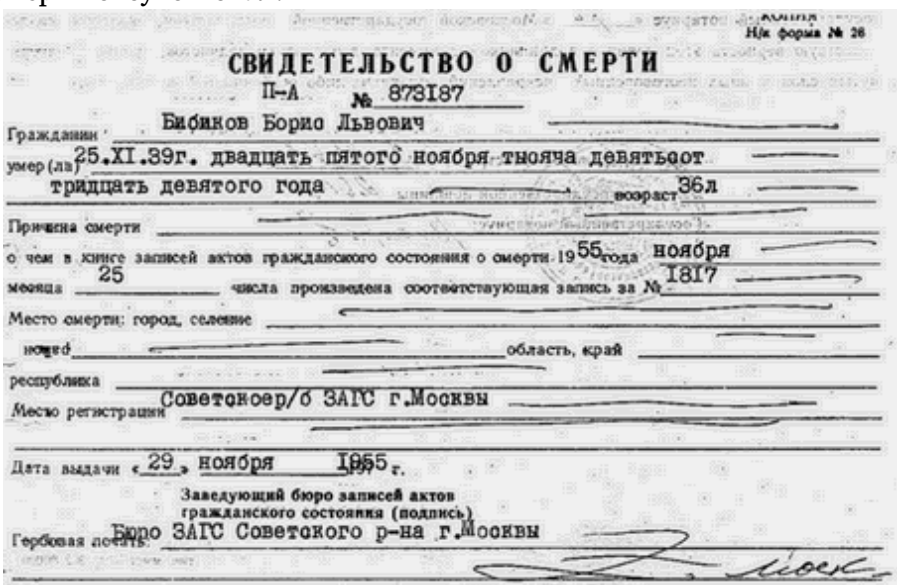
Могу описать его только с положительной стороны; он целиком отдавал себя служению партии и работе завода, пользовался среди рабочих огромным авторитетом, — сообщил следователям Иван Кавицкий, бывший заместитель Бориса на ХТЗ. — Мне ничего не известно о его антисоветской деятельности, напротив, он был преданным коммунистом.

Я никогда не слышал о каком-либо уклоне от партийной линии (Бибикова). Люди говорили, что его арестовали как врага народа, но никто не знал, за что

именно, — сказал Лев Веселов, заводской бухгалтер.

Я помню, что все мои товарищи в управлении завода очень удивились, узнав о его аресте, — заявила машинистка Ольга Иршавская.

Двадцать второго февраля 1956 года закрытая сессия Верховного суда СССР приняла постановление с грифом «секретно», фактически отменяющее решение Военной коллегии от 13 октября 1937 года. Семье Бориса послали короткое сообщение о его реабилитации, а также свидетельство о смерти с указанием даты, когда приговор был приведен в исполнение, — на следующий день после вынесения приговора. Пункт о причине смерти отсутствовал.



Н/к форма № 28

СВИДЕТЕЛЬСТВО О СМЕРТИ

П-А № 873187

Гражданин Бибиков Борис Львович

умер(ла) 25.XI.39г. двадцать пятого ноября тысяча девятьсот тридцать девятого года возраст 36л

Причина смерти

о чем в книге записей актов гражданского состояния о смерти 1955 года ноября месяца 25 числа произведена соответствующая запись за № 1817

Место смерти: город, селение

район область, край

республика

Место регистрации Советское р/о ЗАГС г.Москвы

Дата выдачи «29» ноября 1955 г.

Заведующий бюро записей актов гражданского состояния (подпись)

Гербовая печать Бюро ЗАГС Советского р-на г.Москвы

Первое свидетельство о смерти Бориса Бибикова. Причина и место смерти не указаны. Власти только в 1988 году сообщили, что Борис Бибиков был расстрелян 14 октября 1937 года под Киевом и похоронен в общей могиле.

Поступление в университет Людмила восприняла как осуществление своей заветной мечты. Она стала жить в студенческом общежитии, занимавшем огромное помещение в доме на Стромынке, в Сокольниках, где с ней поселились еще пятнадцать девушек. Вскоре их перевели в общежитие самого университета на Ленинских горах. Все ее детство прошло в советских казенных учреждениях, и шумная жизнь университетского общежития сполна заменяла ей семью. Она быстро подружилась со своими сверстниками, многие из которых

стали выдающимися людьми. Среди них был Юрий Афанасьев, статный паренек, искренний и прямодушный, впоследствии известный историк, один из интеллектуальных лидеров Перестройки.

Людмила с легкостью овладела французским и латынью и, кроме того, искусством демонстрировать внешнее послушание. Она много, упорно занималась — ее курсовые работы, написанные каллиграфическим почерком, являются образцом добросовестного и кропотливого труда. Людмила была воспитана советской системой, в которой основная роль отводилась коллективу, а отдельный человек был полностью лишен физической и нравственной независимости. Студенты 50-х годов после занятий факультативно читали пьесы Мольера, ставили любительские спектакли, в выходные дни ходили в турпоходы. Но несмотря на идеологические запреты и жизнь в большом коллективе, Мила чувствовала себя по-настоящему свободной и занялась изучением неисчерпаемых богатств мировой литературы. Она читала Дюма и Гюго, Золя и Достоевского, сентиментальные повести Александра Грина и рассказы Ивана Бунина. Литература, музыка и театр открыли ей окно в огромный мир, отвечающий ее широким интересам и мощному темпераменту.

Одним из страстных увлечений Людмилы стал балет. Как-то раз Саша заявил, что юной свояченице необходимо дать «старт в жизни», и тогда Ленина повела сестру в Большой театр; с тех пор они старались не пропускать ни одной балетной премьеры.

Любовь Людмилы к великому театру XIX века зародилась в те студенческие годы. В компании однокашников она чуть не каждый вечер устраивалась на галерке и после каждого акта восторженно аплодировала, а по окончании спектакля долго мерзла на улице у семнадцатого подъезда Большого, дожидаясь танцовщиков, выходивших с огромными букетами цветов. Людмила очень подружилась с Валерием Головицером, худым, впечатлительным юношей и тоже страстным балетоманом, братом ее близкой подруги Галины.

Людмила (справа) с подругой Галиной Головицер в комнате Людмилы в Староконюшенном переулке. 1962 год. Фотографировал муж их подруги-балерины, немец из Восточной Германии.

Людмила и ее друзья были не просто зрителями — они всей душой погружались в мир спектакля, сочувствовали героям, восхищались мастерством исполнителей. Когда в Москву прибыл на гастроли театр «Комеди Франсэз», первый зарубежный театр в послевоенное время, они, выстояв за билетами длинные очереди, увидели лучшие спектакли — мольеровского «Тартюфа» и «Сида» Корнеля, они кричали с галерки «Vive la France!» и бросали актерам цветы. После заключительного спектакля вместе с возбужденной толпой они провожали актеров от Театральной площади до гостиницы «Националь». Затесавшиеся среди них кагэбэшники злобно пинали театралов своими тяжелыми ботинками, желая умерить чрезмерный энтузиазм и восхищение девушек.

В следующем году в Москву на всемирный кинофестиваль приехал Жерар Филип, величайший французский актер своего поколения. Людмила с подругами подбежали к нему, чтобы выразить свой восторг. Он любезно поговорил с поклонницами и пообещал приехать еще. После отъезда Филипа во Францию девушки собрали деньги на подарок своему любимцу, а одна из них съездила в Палех, известный своими лаковыми миниатюрами, и заказала портрет Филипа в роли Жюльена Сорреля из фильма «Красное и черное». Когда через несколько

месяцев Москву посетили французские коммунисты Эльза Триоле и Луи Арагон, Мила с четырьмя друзьями отправилась в гостиницу «Москва» — очень смелый и рискованный поступок, поскольку в гостинице останавливались в основном иностранцы и там было полно агентов КГБ — и из вестибюля позвонила Эльзе Триоле, объяснив, что они хотят послать с нею подарок для Жерара Филипа. Эльза Триоле, заинтересовавшись, пригласила их в номер, взяла подарок и по возвращении в Париж немедленно передала его Филипу. Пятью годами раньше пойти на такое мог только ненормальный. Но хрущевская «оттепель» многое изменила, и Людмила с друзьями смело испытывала прочность границ, отделяющих их от внешнего мира.

Как-то раз одна из подруг Людмилы прочла в газете французских коммунистов «Юманите», единственном доступном тогда для советских граждан издании французской периодики, сообщение о том, что Жерар Филип находится в Китае, где проводит встречи с кинозрителями. Девушки затеяли весьма опасную игру — они отправились на Центральный телеграф и заказали международный разговор с Пекином, хотя не знали, в каком отеле он остановился. Молодая телефонистка, по достоинству оценившая отвагу девушек, попросила свою китайскую коллегу соединить ее с самым крупным отелем в Пекине. Через полчаса Ольга, подруга Людмилы, разговаривала с Жераром Филипом, который сказал, что на обратном пути в Париж остановится в Москве.

На Внуковском аэродроме милиция попыталась остановить девушек, но общими усилиями человек двадцать прорвали заграждение, выбежали на взлетную полосу и столпились у трапа. В то время Филип уже был смертельно болен гепатитом, которым заразился в Южной Америке. Лицо его приобрело нездоровый серый оттенок, выглядел он гораздо старше своих тридцати семи лет. Узнав Людмилу, он тепло поздоровался с ней и по ее просьбе — оставил автограф на книге Стендаля «Красное и черное». «Людмиле на память о московском солнце», — написал Филип. Эта книга до сих пор хранится на полке в спальне моей матери.

Людмила (третья справа) с друзьями-театралами встречает
в аэропорту Внуково французского актера Жерара Филипа,
прилетающего из Пекина. Осень 1957 года.
На книге "Красное и черное" он оставил свой автограф:
"На память о московском солнце".

Людмила (третья справа) с друзьями-театралами встречает в аэропорту Внуково французского актера Жерара Филипа, прилетающего из Пекина. Осень 1957 года.

На книге «Красное и черное» он оставил свой автограф: «На память о московском солнце»

Одна из самых способных учениц своего выпуска, Людмила блестяще закончила МГУ с красным дипломом и, приняв рискованное решение отказаться от университетского распределения, стала искать работу самостоятельно. Прежде всего, недалеко от метро «Лермонтовская» (теперь «Красные ворота») она сняла комнату у немолодой супружеской пары, где спала на раскладушке и оплачивала стол и проживание тем, что давала уроки сыну хозяина. Авиаинженер по профессии, он нигде не работал, а по просьбе соседей выполнял всякие случайные работы по дому. Поэтому Людмила подозревала, что он чем-то провинился перед властями.

Однажды у Ленины остановилась приехавшая за покупками Екатерина Ивановна Маркитян, жена сослуживца Бориса Бибикова по Харьковскому тракторному заводу. Она сказала Людмиле, что одна ее давнишняя подруга стала заместителем директора Института марксизма-ленинизма, где занимались изучением и сохранением письменного наследия

коммунистических идеологов. Звали ее Евгения Степанова, и когда Мила позвонила, та сразу же предложила ей должность младшего научного сотрудника. Людмила не питала ни малейшего интереса к марксистско-ленинской теории, но интеллектуальная работа в Москве ее устраивала, и она без колебаний приняла предложение. Она включилась в подготовку к изданию гигантского собрания сочинений Карла Маркса и его друга и спонсора Фридриха Энгельса, которые она находила напыщенными и невыносимо скучными. Но работа в институте давала ей возможность усовершенствовать свой французский, да и коллеги оказались людьми очень умными и интересными. В институт часто приезжали зарубежные ученые и коммунисты для углубленного изучения коммунистической доктрины, почти приравненной к богословию, и тогда Людмилу приглашали в качестве переводчика и гида. Кроме того, в институтской столовой, расположенной на первом этаже небольшого дворца в неоклассическом стиле, появлялись отличные продукты. Раньше здесь была усадьба князя Долгорукого, а теперь находится Дворянское собрание.

Прогуливаясь по Москве в 1995-м, я случайно наткнулся на особняк, где когда-то размещался ИМЛ. С упразднением института и самого учения марксизма-ленинизма старый дворец заметно обветшал. Группе потомков русских дворян удалось вернуть себе право собственности на здание, но они не имеют средств на его реставрацию. И вот он стоит, разрушаясь, в заросшем саду, одинокий и никому не нужный.

Недавно восстановленное Дворянское собрание устроило благотворительный бал для сбора средств, который проводили в заброшенном спортзале, занимавшем одно крыло здания. Я отправился туда в старом смокинге моего отца, в котором он, молодой дипломат, в 1959 году встречался с Никитой Хрущевым. Многочисленные потомки тех русских дворянских семейств, что не эмигрировали и все же смогли уцелеть во время революции, Гражданской войны и «чистки», скованно танцевали мазурку и вальсы под грохот военного оркестра. Беда в том, что организаторы бала стремились воскресить прошлое, которое никто не помнил, и воссоздать традиции, продолжающие жить лишь в их воображении. Князь Голицын в серых туфлях из искусственной кожи беседовал с графом Лопухиным, облаченным в поношенный лавсановый костюм, а их густо накрашенные супруги кокетливо поигрывали сувенирными венецианскими веерами из пластмассы.

За десятки лет советского агрессивного мещанства бывший великолепный особняк превратился в бездуховный муравейник с

перегородками из древесностружечных плит и коридорами, застеленными загибающимся по углам линолеумом. Высокие окна, выходящие во двор, наглухо закрашены белилами. Украдено все, что можно, включая дверные ручки и выключатели.

Я пытался представить свою маму, молодую и полную энергии, которая идет, слегка прихрамывая, по этим коридорам на первое собеседование с директором института. Или в тот момент, когда она с вызывающим видом стоит перед партийным собранием, созванным для осуждения ее любовной связи с иностранцем. Но ее нигде не было; я не увидел никаких призраков там, где все вокруг сотрясалось от грохота оркестра.

Правнук Карла Маркса, Карл Лонге в Институте марксизма-ленинизма. Людмила (в центре) переводит.

Как ни медленно вращалось колесо бюрократии, но к весне 1960 года Людмила, став штатным сотрудником института, уже имела право на получение жилплощади, правда как незамужняя могла претендовать лишь на комнату в коммунальной квартире. В марте ее коллеге Клаве Конновой с двумя детьми и престарелым отцом дали квартиру, и они освободили семиметровую комнату в коммуналке. Ее переписали на

Людмилу, и вскоре она перебралась туда, в дом рядом с Арбатом, в Староконюшенном переулке. Комнатка была маленькая, зато ее собственная. Так в двадцать шесть лет у Людмилы появилось место, которое она с полным основанием могла назвать своим домом.

Глава 8
Мервин

В глазах — мечта…
Все остальное им заслонено,
Как будто не понять нам, даже зная,
Ни всей его печали, ни тщеты.

Дагерротип, на миг мелькнувший, — ты,
В моих руках, что медлит, исчезая[3].

Райнер Мария Рильке

Мне всегда очень нравился кабинет моего отца, расположенный на втором этаже викторианского дома в Пимлико, где я вырос. Там пахло французскими сигаретами и чаем «Дарджилинг», звучали кантаты Баха и оперы Генделя. Сейчас кабинет отца кажется маленьким, но семилетнему мальчику, прислонившемуся к солидному креслу и взирающему на полки книг, от пола до самого потолка, он представлялся огромным. Разглядывая висящую над камином кавалерийскую саблю и коллекцию моделей паровых двигателей, я инстинктивно чувствовал, что это место принадлежалонастоящему мужчине, а ящики письменного стола с подзорными трубами, компасами, семейными фотографиями и разными другими интересными вещами манили меня, как запретный сундук с сокровищами. Даже когда я жил отдельно от отца, меня, подростка, чрезвычайно интересовала тайна кабинета и прошлое отца, о котором он не очень-то любил вспоминать.

Однажды, тайком роясь в ящиках его стола, я обнаружил пакет с фотографиями. На снимках был не тот отец, каким я его знал, а удивительно холодный молодой человек в строгом костюме 60-х годов и в солнцезащитных очках в стиле Малкольма X. На одной фотографии он идет по берегу моря, сверкающего под солнцем. На других — в теплом пальто стоит на льду огромного озера; бредет между горами арбузов на живописном

рынке где-то в Центральной Азии; сидит в ресторане на набережной, спокойный и уверенный, в обществе хорошеньких девушек. На обороте каждой фотографии его аккуратным почерком написано, где и когда она сделана.

В тот же вечер, вероятно, подспудно желая признаться в своем дерзком поступке, я спросил отца, что он делал в Бухаре и на озере Байкал в 1961 году. Он отвел взгляд, тонко усмехнулся, как это ему свойственно, и опустился в кресло.

— А, Байкал! — небрежно сказал он, наливая себе чай через ситечко. — Меня возил туда один кагэбэшник.

Мой отец родился в июле 1932-го в Суонси, в маленьком домике на Лэмб-стрит. В его детстве еду готовили на решетке камина, который топили углем, крошечные спаленки не отапливались, гостиной, заставленной громоздкой мебелью, не пользовались, женщины с изможденными лицами были резкими и грубыми, а мужчины сильно напивались. Ребенком меня пару раз привозили на эту улицу, и, по странному совпадению, каждый раз в ветреные дни, когда моросил мелкий дождь и улицы становились пустынными. Вероятно, поэтому в моей детской памяти Суонси остался пронизанным грязновато-желтым светом, почему-то казавшимся мне ядовитым и придавливающим к земле. Морской ветер с широко раскинувшегося залива Суонси приносил запах соли и нефти. Улицы были монотонно-серыми, как и люди с их серыми невыразительными лицами.

Сейчас этот уголок Южного Уэльса кажется заброшенным, некрасивым и неуверенным в себе местом, будто впитавшим в себя грязь и пот множества людей, чья жизнь прошла в тяжелом труде и в дыму. Но в детские годы моего отца Суонси был одним из самых оживленных портов отгрузки угля, и заходившие в него огромные пароходы представляли собой артерии, по которым этот уголь доставлялся в самые отдаленные уголки тогда еще крупнейшей мировой державы. На палубу судов с широкими трубами, извергающими густой черный дым, опускались клети с каменным углем, а между грузовыми пароходами и пассажирскими лайнерами изящно лавировали красивые старинные шхуны.

Бывали моменты, когда мне случалось улавливать мимолетные отголоски ушедшего мира времен детства моего отца. В 1993-м, как-то вечером, я проезжал на машине через маленький городишко в горнодобывающем районе Словакии, и в открытое окно ко мне врывался сырой ночной воздух, пропитанный запахом угольного дыма и жареного лука. Однажды я стоял в Ленинградском порту с бесконечными рядами

заржавленных кранов и грузовых кораблей, и мне приходилось наклоняться вперед, чтобы устоять против резких порывов ледяного ветра с привкусом ржавчины, набрасывающегося на берег с Финского залива. И еще была в моей жизни неделя, проведенная в Челябинске, в обществе усатых шахтеров с мощными бицепсами и мрачными отчаявшимися лицами, которые мало говорили, зато много пили. Их жены выглядели измученными и осунувшимися, и в небрежных мазках губной помады и остатках перманента на сухих, ломких волосах угадывалась жалкая попытка сохранить хоть какую-то женственность и привлекательность. Подобные образы населяли в моем воображении жизнь в Южном Уэльсе времен Великой депрессии — месте, где крохотная доля счастья каждого оплачивалась ценой невероятно тяжелого и опасного труда на протяжении всей жизни.

Семья Мервина была бедной, но респектабельной и изо всех сил старалась удержаться на последней ступеньке мелкобуржуазного сословия и поддерживать видимость благополучия. Приблизительно в 1904 году мой прадед Альфред повел всю семью в фотоателье. Получившийся снимок очень точно отражал стесненные обстоятельства их жизни. Хотя сам Альфред в черном костюме с выпущенной из кармашка золотой цепочкой от часов выглядит типичным отцом семейства эдвардианской эпохи, а его сын Уильям в высоком воротничке и дочь Этель в черном, глухом платье и черных чулках держатся весьма чопорно, однако у его жены Анны лицо худое и изможденное, и во всей группе, снимавшейся на фоне чужой мебели с высокими массивными стульями и пышными цветами в горшках, чувствуется смущенная скованность. Эта большая фотография, раскрашенная от руки, что стоило больших денег, и вставленная в рамку, давила на Мервина в течение всей его юности как напоминание о жестоком крушении когда-то состоятельной семьи. Теперь же вместе с мамой и бабушкой он очень скромно, если не бедно, жил в районе Хафод города Суонси.

Мой дед по отцу, Уильям Альфред Мэтьюз, занимался тем, что организовывал погрузку угля в трюмы кораблей таким образом, чтобы он не смещался во время плавания. Это называлось «триминг груза» и требовало большого искусства. Работа была грязной, но хотя бы не на самом дне социальной лестницы, где находились чернорабочие, которые собственно и грузили уголь под его руководством, раздевшись по пояс и стоя по колено в угольной крошке.

Судя по всему, Уильям Мэтьюз был лишен честолюбия. Во

всяком случае, его любимым занятием было посещение Рабочего клуба, где в компании старых друзей по окопам он пропивал всю зарплату. Во время Первой мировой войны он был пять раз ранен, но, как многие другие ее участники, ничего за это не получил, кроме набора медалей и уважения своих товарищей из Клуба раненых ветеранов, своего рода медицинского страхового общества. Они, в знак признания его заслуг — как секретаря, — вручили ему дешевые каминные часы; которые до сих пор тикают в кабинете моего отца. На реке Сомме он отравился немецким «горчичным» газом, что пагубно отразилось на его легких, но он продолжал беззаботно курить дешевые матросские папиросы с грубо нарезанным табаком.

Дед был красивым мужчиной, носил строгую черную тройку с отцовской золотой цепочкой от часов, украшенной совереном на толстом золотом кольце. Когда в 1964 году он умер, среди немногих вещей, доставшихся его сыну, был карманный дневник, в котором он отмечал дни свиданий с хорошенькими женщинами в парках Суонси.

К своему сыну Мервину он относился равнодушно, а жену Лилиан едва терпел. За всю жизнь не прочитав ни одной книги, он совершенно не интересовался учебой сына в школе. Мервин всегда глубоко возмущался ограниченностью отца, вероятно потому, что сам страстно любил читать и был прилежным учеником. Время от времени Уильям деспотично утверждал свой родительский авторитет в глазах сына, которого наверняка считал умнее себя, тем, что не давал ему инструменты для его любимых работ по дереву или издевался над недостатком у него физической силы.

Мервин на всю жизнь запомнил унижения, которым подвергал его отец. В письмах своей русской невесте он часто вспоминал о жестокости и эгоизме отца. Мервина крепко связывали с Людмилой впечатления детства без родительской любви.

> Твое безрадостное, горькое, униженное детство, постоянное отсутствие тепла и привязанности, доброты, уважения, все твои обиды, болезни, слезы я понимаю до боли остро, — писала в 1965-м Мила Мервину. — Как я ненавижу твоего отца за то, что он не давал тебе доску, если ты хотел смастерить что-нибудь. Какая ужасная жестокость, какое неуважение к личности — я сама страдала от этого тысячу раз в жизни! Мне так хочется вернуть то навсегда ушедшее время и приобрести для тебя целую мастерскую, дать тебе все, что тебе нужно,

чтобы твоя жизнь стала интересной и счастливой!

Очевидно, Мервин рос ребенком замкнутым и необщительным. Ему нравилось в одиночестве бродить среди доков, где кипела работа, и по шахтам, окружавшим мрачный город, заглядывать в сараи с установленными в них паровыми двигателями, которые завораживали его своей отлаженной работой. По воскресеньям он забирался на горы угольного шлака, смотрел на корабли в заливе, на простирающееся за ним Ирландское море и мечтал о путешествиях в дальние неизведанные страны, как все юноши, которым уготована необыкновенная судьба.

Большую часть детства он провел с мамой Лилиан и бабушкой. Семейная жизнь проходила в вечных домашних скандалах, которые заканчивались тем, что либо отец в очередной раз уходил из дома, либо мать хватала ребенка и убегала к своей матери. Лилиан была очень эмоциональной женщиной, склонной к истерикам. Все ее надежды сосредоточились на сыне, она жила только им — и Мервину с трудом удавалось как-то обуздывать эту безумную любовь, которая его угнетала. Позднее Мервин часто жаловался Миле, что мать со свойственной ей страстью все преувеличивать обвиняла его в том, что он «убивает свою старую мать невниманием».

Но вряд ли стоит удивляться неуравновешенности характера Лилиан. Она получила непреходящую душевную травму, когда забеременела от женатого мужчины, местного адвоката, отказавшегося признать ребенка. В суровой методистской среде Южного Уэльса внебрачный ребенок оставался пятном на всю жизнь. Когда Уильям Мэтьюз женился на ней, она считалась падшей женщиной, что сильно отразилось на их отношениях. Мой отец рос, считая своего единоутробного брата Джека дядей, и узнал правду только подростком.

Начало Второй мировой войны привнесло в жизнь мальчика настоящий ужас. В детстве мне часто приходилось слышать его рассказы о войне — о выматывающем душу вое бомбардировщиков в безлунные ночи, о зрелище разрушенных бомбами доков и железнодорожных путей. С началом войны Мервина с одноклассниками эвакуировали в цветущие долины реки Гвендрайт на полуострове Гоуэр; он вез с собой маленький фибровый чемоданчик, на крышке которого старательно вывел карандашом свое имя и адрес. Но вскоре их матери решили, что опасность преувеличена, и большинство детей возвратились домой.

Женщины ошиблись. Мервин оказался в Суонси во время

самых жестоких бомбардировок 1941 года. Он помнит страшный грохот бомбовых разрывов, помнит, как они с мамой, взяв свечи и старую шахтерскую бронзовую лампу, бегут спасаться в бомбоубежище в дальнем конце сада. Однажды перед одним из самых массированных налетов немецких бомбардировщиков мать увела Мервина к деду. Она не могла бы объяснить, почему так сделала, просто ее охватило неодолимое желание уйти из дома. Когда на следующее утро они поднялись на холм, по которому шла дорога к Лэмб-стрит, они увидели, что их дом полностью разрушен прямым попаданием бомбы. Половина зданий на их улице превратились в груды дымящихся кирпичей, а многие соседи оказались заживо похороненными в бомбоубежищах Андерсона. На маленького Мервина это произвело незабываемое впечатление.

Думаю, каждый отец, играя со своим сыном, будто снова возвращается в свое детство. И точно так же каждый мальчик разделяет увлечения своего отца, пока не наступит у него переломный возраст, когда он может утратить интерес к пристрастиям отца. Мне кажется, что, в отличие от моих сверстников, мое детство было насквозь пропитано духом 30-х годов. Одной из первых книжек, которую я прочитал без посторонней помощи, была отцовская «Белоснежка и семь гномов», иллюстрированная объемными картинками, их нужно было рассматривать через очки с красными и зелеными целлулоидными стеклами в картонной оправе. Позднее я любил читать его старые ежегодные альманахи «Мальчишечьей газеты» и толстые книги о приключениях с бипланами и страшными пиратами. Однажды утром на мое восьмое Рождество я обнаружил в своей спальне большой, обтянутый мешковиной ящик. В нем оказался игрушечный электрический поезд фирмы «Хорнби» с замечательным зеленым локомотивом под названием «Карфильский Замок». Это был один из немногих подарков моему отцу от деда — на Рождество 1939 года. В другой год отец подарил мне свой конструктор в специальном деревянном ящике с множеством выдвижных ящичков и отделениями для болтиков, винтиков и планок, а еще к нему прилагалась отлично иллюстрированная инструкция по сборке всевозможных конструкций, в которой были нарисованы мальчики в коротких штанишках и длинных носках. Я часами сидел на полу в своей комнате и собирал сложные подъемные краны на порталах, бронепоезда и подвесные мосты, а потом запускал по ним мой игрушечный поезд.

Иногда отец доставал свою коллекцию паровых машин,

которые приводились в действие маленьким бойлером, нагреваемым спиртовкой, и я с наслаждением вдыхал запах машинного масла. По выходным мы ходили в Ист-Энд посмотреть на Темзу с ее баржами в доках Св. Екатерины, спускались к реке и на отмели находили обломки глиняных курительных трубок и старые бутылки. Когда я стал постарше, мы каждый вечер совершали долгие прогулки по всему Пимлико. Мы равнодушно проходили мимо аккуратных белых фасадов Томаса Кубитта на главных улицах и сворачивали на Терпентайн-лейн, короткий проулок, который приводил нас к широкой, медленно текущей Темзе напротив электростанции Баттерси. Из всех улиц Лондона Терпентайн-лейн с ее почерневшими от копоти кирпичными домами и крошечными палисадами больше всего напоминает закоулки Южного Уэльса.

Мы вместе строили модели лодок — не из специальных наборов, а сами вырезали их из больших кусков дерева, найденных на свалке. Пользуясь маленькими тисками, стальным ножом «Стэнли» и старыми плоскогубцами, мы изготавливали брусья и мачты, прилаживали к ним снасти и шили паруса. Особая гордость отца — подаренный мне отличный рубанок, с помощью которого я смастерил большую модель баржи, подобную тем, что плавали по Темзе.

Роковая случайность стала поворотным моментом в жизни пятнадцатилетнего подростка — он упал с велосипеда и сломал себе тазовую кость. В больнице обнаружилось, что у Мервина редкое заболевание костей. Для лечения таза и хрупкого правого бедра доктора рекомендовали курс вытяжения. Мервина зафиксировали в специальной кровати, ноги загипсовали и прикрепили к ним груз. Целыми часами ему приходилось лежать совершенно неподвижно, и он мог видеть только потолок больничной палаты.

В общей сложности Мервин провел больше года в больнице, где его в основном подвергали изнурительной процедуре вытяжения. Как и его будущей жене Людмиле, в то же самое время находившейся в больнице с пораженной туберкулезом правой ногой, Мервину оставалось только жадно читать и размышлять. Создается впечатление, что отчаянная скука вынужденной неподвижности в возрасте, когда формируется организм, на всю жизнь вселила в обоих кипучую энергию. Их тела оставались неподвижными, но мысленно они уносились в заоблачные дали. Именно тогда, я думаю, и родилась страсть отца к путешествиям и романтическим приключениям, его презрение к авторитетам и тяготение к риску — вместе с

жалостью к себе и особым даром попадать в конфликтные ситуации.

> Мне кажется, что в моем детстве зеркально отражается твое детство, мои университеты были точно такими же, как у тебя, у нас с тобой одинаковые мысли, сомнения и страхи, — писала ему Мила в 1964 году. — Небольшой физический недостаток и нравственное превосходство над сверстниками (помнишь, как ты стремился отличиться в спорте, а вместо этого стал первым учеником в классе?) — все было похожим в нашей с тобой жизни, все было одинаковым, даже наша болезнь.

Вскоре после выхода из больницы у Мервина неожиданно возник интерес к русскому языку. Такое увлечение у подростка из Уэльса, никогда не ездившего дальше Бристоля, просто поразительно. Когда я теперь спрашиваю, почему он решил изучать русский, — а это определило всю его дальнейшую жизнь, — он объясняет свой выбор лишь тем, что для него русский был «самым экзотичным языком» — языком другого мира, совершенно чуждого жизни в Суонси.

Сейчас трудно отбросить все, что ассоциируется с холодной войной, и понять, как в 1948 году воспринимал впечатлительный школьник слово «Россия». В Соединенных Штатах Комитет по антиамериканской деятельности как раз начал расследование о проникновении коммунистов в Голливуд, повсюду отыскивая так называемых «красных» — чуть ли не заглядывая под кровать. Правда, в Британии отношение к России было более сдержанным, особенно в Суонси с его рабочим классом, где профсоюзное движение и социализм шествовали рука об руку. Всего в нескольких километрах от Суонси, в шахтерском районе Ронда-Валли, едва не прошел в парламент Гарри Поллит, генеральный секретарь Коммунистической партии Британии. В Клубе раненых ветеранов, излюбленном месте Уильяма Мэтьюза, было много коммунистов, которым только предстояло узнать, что дядюшка Джо Сталин, всего несколько лет назад бывший союзником Британии, оказался по другую сторону баррикад.

Но, как заметил в своей речи в Фултоне ушедший в отставку премьер-министр Уинстон Черчилль, Европу разделил «железный занавес». Буквально на глазах у бывших союзников Советский Союз стремительно превращался в мрачную страну, откуда исходит угроза. И когда 29 августа 1949 года под Семипалатинском, в далекой казахстанской степи, где в 1938-м

сидела в лагере Марфа, была взорвана первая советская атомная бомба, созданная ученым-ядерщиком Игорем Курчатовым, Советский Союз превратился в очень реального и грозного врага. Страна и культура, которой увлекся юный Мервин, стала ему чужой во всех отношениях.

К тому времени, как я вырос, коммунизм и Россия стали синонимами зла. Против этого категорически возражала только наша соседка по имени Вики, которая была первым человеком не из моей семьи, хорошо говорившим по-русски. Эта толстая неуклюжая старуха жила за углом в муниципальной квартире, у нее росла борода, и она редко мылась (хотя я заметил, что исходящий от нее тяжелый душок сильно отличался от запаха пота и еды русских старушек). Иногда Вики провожала меня в школу, а потом забирала домой и по дороге рассказывала волнующие истории о «бомбах в молочных бутылках» — зажигательных гранатах в форме старомодных бутылок для молока с широким горлышком, — которые сбрасывали на Лондон во время войны. Еще она рассказывала, что ее отец находился на судне союзников, сопровождавших корабль с американскими продуктами, который шел в Мурманск. Так вот это судно было торпедировано немецкой подводной лодкой. Отец ее был кочегаром, и я зачарованно слушал рассказ, как он сначала ошпарился кипятком из взорванного бойлера, а потом замерз, пока дрейфовал в открытом море. Я был убежден, что кипяток и лед соединились, отчего получилась теплая вода, как в ванной.

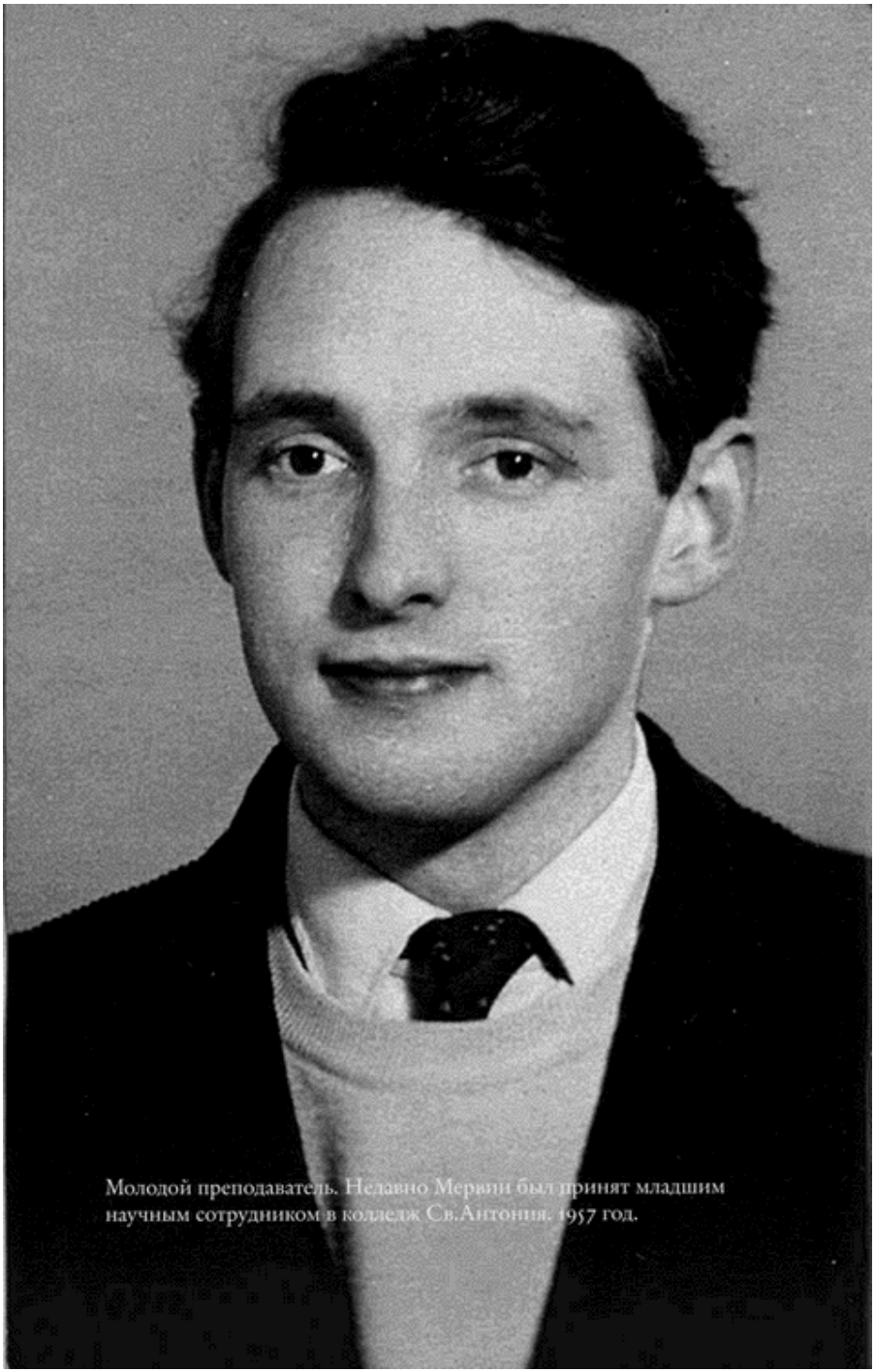
— А потом эти красные, — вещала Вики своим визгливым грубоватым голосом на жаргоне кокни, — очень хорошо отнеслись к моему папе. Я от него не слышала про них ни одного дурного слова.

Однако мои одноклассники придерживались совершенно иного мнения. Представление о том, что русские — это враги, красные, коммунисты, — укрепилось в их сознании и запало в душу, усилив природную детскую жестокость. Когда мне было лет семь, кто-то в школе стал дразнить меня «красным». Естественно, я возразил, что я не красный, едва понимая, что это значит, и тогда меня назвали вруном, и даже хуже — изворотливым вруном, потому что я слишком возмущался этой кличкой. Толпа мальчишек, хитрых, как свора гончих, почувствовала мое отчаянье и заподозрила, будто мне действительно есть что скрывать. Раз я так расстроился, значит, я и в самом деле красный, а это очень плохо. Завязалась драка, и я прибежал домой с огромным синяком под глазом. После этого я почти три года отказывался разговаривать дома по-русски.

В 1950-м, сдав экзамены по русскому языку, Мервин был принят на только что открытый русский факультет в Манчестерском университете. Он безумно радовался возможности наконец-то покинуть Суонси и уехать от матери. В окутанном густым туманом Манчестере, слыша повсюду характерный местный говор с невыразительными гласными, он горячо принялся за углубленное изучение русского и в результате достиг впечатляющих успехов. К концу выпускных экзаменов он одолел в оригинале все 1200 страниц «Войны и мира» — наглядный пример насилия над собой, который он часто упоминал, сравнивая со своим подвигом мои слабые попытки овладеть русским письменным.

Отец с отличием окончил Манчестерский университет, и преподаватели рекомендовали ему продолжить обучение в Оксфорде. Самый новый в университете колледж Св. Екатерины предназначался для обучения молодых людей из Южного Уэльса с блестящими способностями, но, как совершенно справедливо считалось, несколько неотесанными. Колледж Св. Екатерины стремительно рос, хотя тогда еще не имел современных кампусов, которые решительно не нравятся Мервину с его консервативными вкусами. Когда он в первый раз появился на консультации в новом колледже, преподаватель вежливо поинтересовался, является ли английский родным языком молодого валлийца.

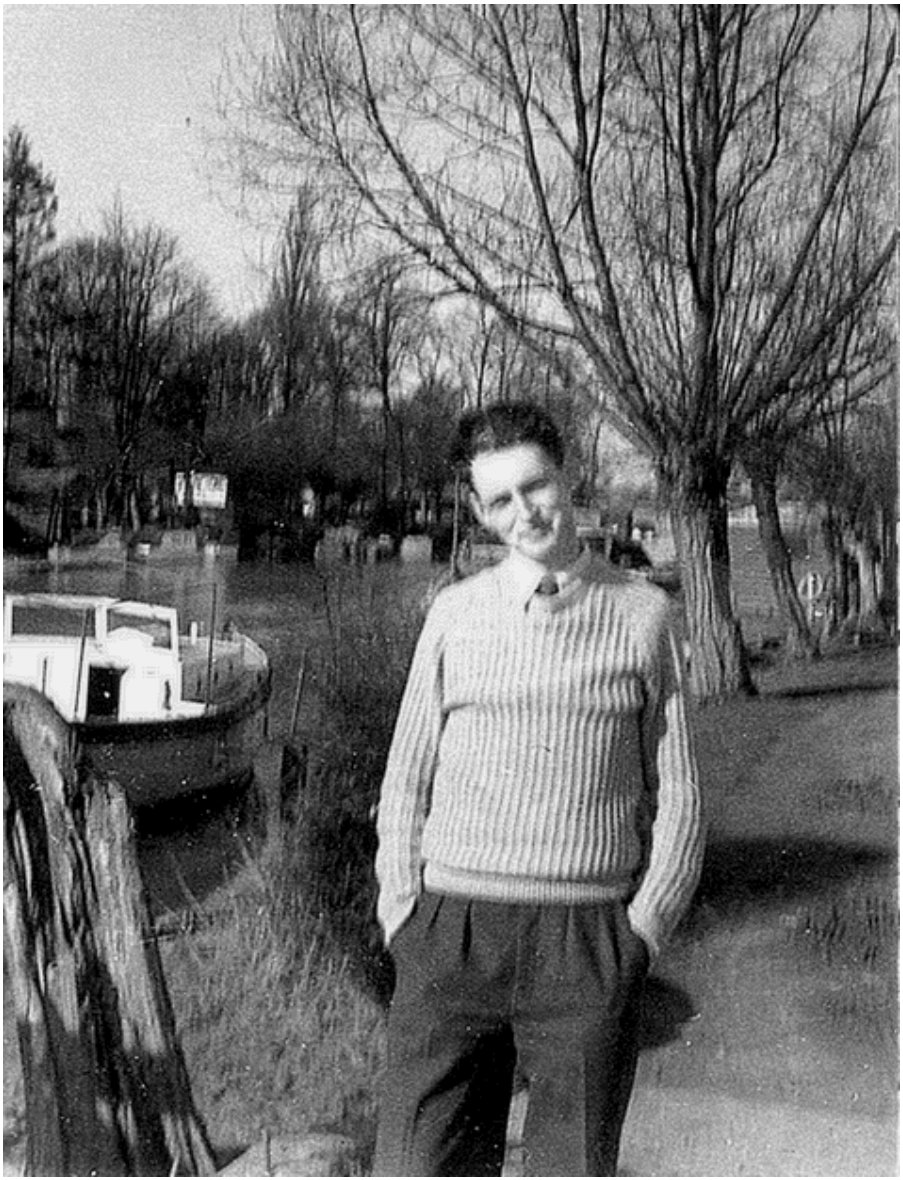
Несмотря на подобные уколы, Мервин преуспевал, очень много занимался и ухитрялся держаться в стороне от однокашников, предпочитавших вместо занятий посидеть за кружкой пива. После двух лет учебы ему была предложена должность младшего научного сотрудника в очень престижном колледже Св. Антония, где преподавали лучшие британские специалисты по Советскому Союзу. Это была первая ступенька на пути к штатной должности преподавателя. Лишь благодаря своему трудолюбию Мервин, один из многих талантливых однокурсников, серьезно интересующихся странными происками красной восточной империи, был близок к тому, чтобы сделаться специалистом в стремительно развивающейся советологии.



Молодой преподаватель. Недавно Мервин был принят младшим научным сотрудником в колледж Св. Антония. 1957 год.

Но недостаточно изучать незнакомую страну издалека. И

вдруг в 1957-м неожиданно появилась надежда посетить Россию, что в предыдущие два десятилетия было немыслимо для всех, кроме аккредитованных дипломатов и немногих журналистов. Хрущев готовил проведение Всемирного фестиваля молодежи в Москве, куда приглашались посланцы стран социалистического лагеря (в том числе Кубы, находившейся пока под властью диктатора Батисты, но которой предстояло присоединиться к этому сообществу), а также, к всеобщему удивлению, представители «прогрессивных элементов» из «загнивающих» капиталистических стран. Мервин подал заявление. Против ожиданий, его удостоили столь редкой государственной привилегии, как виза на въезд в Советский Союз.



На берегу Темзы, в Оксфорде. 1958 год.

Программа фестиваля была расписана буквально по часам и проходила под строгим контролем КГБ и партийных организаций, но для Мервина и еще шестисот западных студентов это стало опьяняющим погружением в мир, который они так давно изучали по учебникам. Мервин испытывал такой подъем, что почти не спал, правда, ему сразу инстинктивно не понравилось коллективное исполнение песен и размахивание флагами на стадионах, до отказа заполненных веселыми комсомольцами. Не меньшее возбуждение охватило и москвичей. Молодые люди с

Запада представлялись им созданиями экзотическими и чуть ли не мифическими, ведь в последние два десятилетия любого контакта с иностранцами было достаточно, чтобы получить «путевку» в ГУЛАГ. Некоторым темпераментным африканским товарищам удалось установить более тесные отношения с советской молодежью, чем хотелось бы властям, в результате чего в Советском Союзе появилось целое поколение детей-метисов, которых так и называли «детьми фестиваля».

Мервин случайно познакомился с двумя юношами, которые смело воспользовались атмосферой вседозволенности, допускавшей общение с иностранцами. Один из них — очень красивый еврей, студент театрального училища Валерий Шейн, носивший лихо заломленную шляпу и полосатую рубашку, второй — более скромный, его двоюродный брат Валерий Головицер, на пару лет моложе, страстный балетоман. Эти трое молодых людей, прогуливаясь по Гоголевскому бульвару, оживленно рассказывали друг другу о своей жизни. Но фестиваль закончился, Мервин должен был уезжать, и они обменялись адресами. Никто из них не надеялся ни на повторение такого чуда, ни на то, что Мервина снова впустят в страну. Перспективы для двух Валериев когда-либо посетить Британию были совсем смехотворными. И они были правы. Москва еще раз открылась для иностранцев только на время Олимпийских игр в 1980-м.

Однако уже в 1958 году Мервин услышал, что в Москве появилась вакансия. Правда, речь шла о работе в Британском посольстве, а это значит, что ему придется вести замкнутый образ жизни дипломата, отрезанного от реальной советской действительности, вкус которой он ощутил во время фестиваля. И все же скромная должность в научном отделе посольства давала ему возможность попасть в Россию.

Сотрудники Британского посольства. Осень 1958 года.
Мервин Мэтьюз — в дальнем ряду (в середине), в серой каракулевой шапке.
На почетном месте — любимый пес посла сэра Патрика Рейли.

Сотрудники Британского посольства. Осень 1958 года.
Мервин Мэтьюз — в дальнем ряду (в середине), в серой каракулевой шапке.
На почетном месте — любимый пес посла сэра Патрика Рэйли.

Запросили разрешение на должность, договорились об отпуске в колледже Св. Антония, и в назначенное время Мервину вручили официальное подтверждение из Министерства иностранных дел. Готовясь к жестоким зимним холодам, он приобрел в Оксфордском филиале сети *«Со-ор»* толстое темно-синее пальто, которое я ношу до сих пор. И однажды, в конце лета, Мервин взял банку с черной масляной краской и, присев на корточки, вывел кисточкой на своем новом дорожном сундуке надпись: W. H. M. Matthews, St Anthony's College, Oxford, АНГЛИА, последнее слово было написано печатными русскими буквами, чтобы о предназначении сундука не оставалось никаких сомнений.

Люди, оторванные от дома и затерявшиеся в мире, дрейфуют, пока не найдут подходящее для себя место. В апреле 1995 года, когда заканчивалась моя первая неделя в Москве, я понял, что нашел свое место в этом бурно развивающемся, шумном и грязном городе. Я подумал: или это и есть настоящая жизнь, или ее вообще не существует.

Россия, которую я узнал, была заражена вирусом хаоса XX

века. Она долго проходила инкубационный период, но вдруг, практически без предупреждения, все прогнившее здание коммунистической идеологии рухнуло под тяжестью собственного лицемерия и в результате сбоя системы. Для русских потрясение от взрыва партийной власти, руководившей их физической, духовной и интеллектуальной деятельностью, оказалось сильнее, чем от любой катастрофы, даже от «чистки», даже от Второй мировой войны. Ибо при всех ужасах все это по крайней мере можно было как-то объяснить. Но сейчас на жителей России обрушилось нечто совершенно необъяснимое — не враждебная сила, а пустота. Им ничего не оставалось, как прибегнуть к страшному опыту русской жизни, который сплачивал их подобно тому, как скученность спасает от мороза солдат в пургу.

Люди реагировали на это потрясение очень по-разному. Придя в себя, будто выжив после землетрясения, кто-то нашел точку опоры в деньгах, сексе, наркотиках, националистических фантазиях, в мистицизме, в соблазнах различных религиозных сект. Кто-то заново открыл для себя старую русскую веру в православного Бога. Кто-то, охваченный тупым помешательством, преуспевал, таская из развалин драгоценные безделушки и железный лом. Другие же, вскоре ставшие новыми хозяевами страны, пренебрегли этой мелочью и ринулись присваивать себе национальные богатства.

Но при всех опасностях, втайне подстерегающих русских, большая часть населения, по крайней мере внешне, по-прежнему продолжала жить, рассчитывая на свое таинственное «авось». В любой другой стране такая огромная катастрофа расколола бы общество и заставила бы его целые десятилетия заниматься переоценкой ценностей. Но в России объединенные силы фатализма и апатии привели к тому, что население отреагировало на катастрофу чуть более заметно: не покорно пожав плечами, а приступив к решению трудной проблемы выживания.

Я рвался в Москву от отчаянья. После окончания Оксфорда я целых два года бесцельно болтался в кругу западной молодежи в Праге и Будапеште, днем пил крепкий кофе, а вечерами выпрашивал кружку пива у американок. Я пытался писать, правда, не очень усердно, что и привело меня в осажденный Сараево в качестве свободного репортера — в бронежилете, взятом напрокат, и с рюкзаком, набитым чистыми блокнотами. Я нашел нервное возбуждение, которое искал, когда вместе с «ооновцами» в голубых касках разъезжал на бронированных

грузовиках между грудами кирпича и нагромождениями бетонных плит, оставшихся от домов, уничтоженных бомбами. Это была моя первая война, и я воспринимал ее с мальчишеским восторгом. Летними ночами я бродил по неосвещенным улицам, заполненным толпами людей, и находил в них сходство с грешниками, изображенными на гравюрах Доре, а во время артобстрела читал «Братьев Карамазовых» и воображал, что общаюсь с самыми темными силами мира. Но потом на моих глазах снайпер выстрелил в ребенка, который перебегал дорогу; ему оторвало ноги и мертвым отшвырнуло в сторону, как выбрасывают грязное белье из корзины, — и я преисполнился отвращения к моему ненормальному любопытству. Возвратившись в Будапешт, я понял, что больше не могу вести эту богемную жизнь с бесконечным сидением в кафе и пустой болтовней, и стал искать что-нибудь более серьезное для приложения своих сил.

Спустя несколько месяцев я стоял в центре Белграда на вымытом тротуаре у «Макдоналдса» и считал мелочь, чтобы взять себе гамбургер и жареную картошку. Судьба столкнула меня с Желько Ражнятовичем, по прозвищу Аркан, одним из самых зловещих командиров в Боснийской войне, вором и вообще крупным преступником, владельцем футбольного клуба и главой наркомафии, который вел разнузданно-роскошный образ жизни. Мне показалось, что его история станет хорошим материалом для журнальной статьи. Я подходил к нему на футбольных матчах «Црвены звезды» в Белграде, пытался застать его дома или в офисе, даже навестил в Белградском зоопарке маленького тигренка — теперь он стал огромным и страшным, — бывшего талисманом его вооруженного отряда «Тигры». Может, статья действительно получилась бы интересной, но деньги у меня подходили к концу, а надежды, что Аркан пожелает со мной побеседовать, не было.

Узнав, что из Белградского пресс-клуба можно бесплатно заказать международный разговор, я позвонил маме в Лондон. Она сказала, что одна лондонская газета, имеющая отделение в Москве, в которую она сама советовала мне обратиться в период моего безработного шатания по Лондону, предложила мне должность штатного корреспондента. Так мне подвернулась работа, а с ней и возможность поехать в Россию.

До этого я уже несколько раз бывал в Москве: ребенком с мамой и позднее, уже подростком, с отцом, когда в середине 80-х ему разрешили вернуться в Советский Союз. И тогда Москва мне не очень понравилась. Меня раздражала теснота двухкомнатной квартиры Ленины, где невозможно было уединиться, и

постоянные самоуверенные советы русских пожилых женщин, которые считают своим долгом учить молодых. Я находил радушие русских чрезмерным и терялся от развязности всех, с кем встречался. Тетка поручила своим пожилым друзьям познакомить меня с музеями и театрами, а их внуки, мои ровесники, таскали меня в запущенные парки развлечений и на Арбат слушать песни доморощенных певцов. Я был застенчивым юношей со старомодными вкусами и находил открытое преклонение моих юных компаньонов перед всем западным неприличным — тем более что я терпеть не мог поп-музыку и диско, которые им казались верхом совершенства. Но главное, в Москве мне становилось неуютно, потому что моя западная манера одеваться делала меня объектом беззастенчивого внимания, куда бы я ни пошел, — или так казалось мне, легко смущающемуся шестнадцатилетнему подростку.

Летом 1990 года, после окончания школы, мне наконец-то разрешили самостоятельно посетить Москву. Один из бывших маминых студентов помог мне устроиться на лето переводчиком в Британское посольство. И вот, подобно моему отцу сорок лет назад, я оказался сотрудником офиса, находившегося в бывшей конюшне позади старого особняка Харитоненко, разбирал груды заявлений на выдачу визы и время от времени исполнял роль вице-консула, когда разгневанная очередь за визами требовала пригласить для объяснений настоящего живого англичанина. Мне было восемнадцать лет, представляете? Сын поверенного в делах научил меня играть в крокет на безупречно ровной лужайке их резиденции, расположенной рядом со Старым Арбатом, и еще я нанял черную служебную «Волгу», чтобы утром она заезжала за мной к дому моей тетки и доставляла на работу.

Со времени моего предыдущего приезда Москва изменилась до неузнаваемости; я кожей ощущал, что старый порядок, казавшийся таким незыблемым и вечным, распался. ГАИ, по-видимому, не могла запретить водителям ни разворачиваться в неположенных местах, ни использовать частные автомобили в качестве такси. Обменный курс валюты на черном рынке в десять раз превышал официальный, в результате чего я разбогател всего за одну ночь. Правда, покупать было почти нечего, но на двадцать фунтов я набрал в «Мелодии», магазине грамзаписей на Новом Арбате, все классические пластинки, какие у них имелись, и едва дотащил до дома кучу художественных альбомов, приобретенных буквально за несколько пенни в книжной лавке Третьяковской галереи. Только что открытое кафе «Макдоналдс» на Пушкинской площади, первое в Советском Союзе, прислало в посольство талоны на бесплатные биг-маки, так что однажды в перерыв мы с

коллегами заказали посольский «роллс-ройс» и отправились на ланч. У входа стояла длиннющая очередь жаждущих впервые отведать вкус западных яств. Выйдя из «роллс-ройса», мы направились прямо к входу, демонстрируя свои талоны и иностранную внешность как право на привилегии. Сейчас я этим вовсе не горжусь, но в Москве я впервые в жизни почувствовал себя крутым парнем, беззаботно просаживающим кучу денег и выгодно отличающимся от обычных людей.

Все в Москве казалось в то время запущенным и бесконечно убогим: одежда и обувь, автомобили и электротовары, автобусные билеты и сами автобусы. Но чувствовалось, что у молодых и умных людей появилась новая надежда. Однажды друзья взяли меня на лекцию по истории Юрия Афанасьева, бывшего однокурсника моей матери, который целых два часа рассказывал огромной аудитории о сталинизме. Уже от того, что он так откровенно говорил на запретную прежде тему, кружилась голова. После лекции слушатели забросали его многочисленными вопросами и записками, и встреча продолжалась бы еще долго, если бы не объявили, что скоро закроется метро. В этих людях чувствовалась неутолимая жажда правды и глубокое убеждение, что каким-то образом эта правда сделает их свободными. В тот вечер публика произвела на меня очень сильное впечатление. Я находил своих новых советских друзей сентиментальными и наивными, но невозможно было ошибиться в их серьезном и твердом решении — выражаясь словами Солженицына — жить не по лжи.

Спустя пять лет я снова входил в зазеркалье России через бесконечно мрачный и полуосвещенный Шереметьевский аэропорт — на этот раз не как турист, а чтобы начать новую жизнь. Прежний запах советских моющих порошков и пыльных батарей отопления, знакомый с детских поездок, еще оставался, но многое изменилось. Вместо пустых коридоров, в которых гулко разносилось эхо твоих шагов, и пограничников с суровыми лицами меня встретила суетливая толпа водителей такси. Яркие плакаты рекламировали импортное пиво и сигареты «More». Мимо меня протискивались толстые женщины-«челноки», которые тащили на себе громадные сумки, набитые одеждой и обувью, приобретенными в шоп-турах в Дубае и Стамбуле. Из этой толпы меня выхватил Виктор, водитель редакции «Москоу таймс», впихнул в свою потрепанную «Ладу» и влился в густой поток машин, ехавших в сторону Ленинградского проспекта.

Просторное небо было серым, как дым, и размытый свет позднего зимнего вечера окрашивал город светло-серым сиянием.

По обе стороны дороги громоздились до самого горизонта и терялись в сумраке высокие многоквартирные дома. Автобусы с низкой посадкой и дребезжащими капотами тряслись по неровному асфальту, выбрасывая в воздух черные выхлопные газы. У светофоров толпились пешеходы, дожидаясь момента, чтобы перейти широкий проспект с движением в двенадцать полос. Даже в центре Москвы, в этих огромных, продуваемых ветром пространствах было нечто напоминающее степь.

Должно быть, здесь все выглядело по-иному, когда мой отец впервые приехал в Россию. Город не сник от изнеможения, а праздновал победу. Москва была чистой и опрятной, являя собой столицу огромной империи. В ней чувствовалась строгая рука власти, все подавляющая и подчиняющая себе; не то что после распада Советского Союза, когда эта рука ослабла и уже не могла сдерживать разгул человеческих страстей. Для Мервина, впервые оказавшегося за пределами Британии, Россия была другой планетой. Но он испытывал невероятную радость. Наконец-то он вырвался из дома и приехал в страну, издавна волновавшую и притягивающую его.

Молодых людей, влюбленных в Россию и, к своему счастью или несчастью, обладающих независимым характером, в те времена в городе подстерегало множество коварных ловушек. Холодная война приближалась к своему пику. Незадолго до приезда Мервина в Москву советские танки подавили восстание в Венгрии, и на Западе никто уже не сомневался, что социализм стремится подчинить себе весь мир. Это было время, когда все четко разделились в соответствии со своими моральными устоями, когда противоборствующие на выборах команды кандидатов носили костюмы разного цвета, а их программы непременно включали пункт о гонке ядерного вооружения.

Сейчас трудно представить, насколько интересно и сложно было жить в изолированной столице параллельного, враждебного мира. Москву моего отца отделяют от той, в которой жил я, не просто срок в полжизни человека, но и сейсмический сдвиг истории. Поколение моего отца выросло на остром идеологическом разломе, расколовшем мир пополам, и он по причинам, которые я только начинал постигать, когда через тридцать лет после него тоже приехал в Россию, всеми силами старался находиться по другую сторону водораздела. С точки зрения бесстрастных сотрудников посольства, если не самого Мервина, Москва была средоточием мирового зла.

Существует фотография моего отца, которую я увидел только

в 1999-м. Дома, в Лондоне, он без объяснений дал мне почитать свои мемуары и, смущенно улыбнувшись, скрылся в кабинете. На этом снимке он, очень красивый молодой человек, в костюме со съехавшим набок галстуком, стоит на балконе своей квартиры, устремив мечтательный взгляд на Садовое кольцо, тогда еще не задыхающееся от километровых пробок, — он производит впечатление серьезного, не вполне уверенного в себе человека, который хотел бы понравиться. Эта фотография сделана ранней весной 1958 года, вскоре после приезда в Москву. Ему было двадцать шесть лет, его ждала многообещающая карьера ученого, и он радовался тому, что оказался в Советском Союзе. Мервин стоял на пороге самого замечательного приключения в своей жизни.

Мервин в дипломатической квартире,
которую он занимал вместе с Мартином Дьюхерстом
на Садовой-Самотечной улице. 1958 год.

Мервин в дипломатической квартире, которую он занимал вместе с Мартином Дьюхерстом на Садово-Самотечной улице. 1958 год.

У Мервина была вполне обеспеченная жизнь, а по российским стандартам и вовсе роскошная. Вместе с еще одним молодым сотрудником посольства, Мартином Дьюхерстом, он занимал трехкомнатную квартиру в дипломатическом квартале на Садовой-Самотечной, который его обитатели и тогда и сейчас сокращенно называют Сад-Сам. Электрические пробки и выключатели были привезены из Англии, а на телефоне

бросалась в глаза наклейка с надписью «Разговаривать по этому телефону небезопасно!». У них была ленивая горничная Лена и пушистая сибирская кошка Шура, домашний уют дополняли бутылки виски и бисквиты, купленные в посольском магазине. По долгу службы Мервину приходилось присутствовать на дипломатических коктейлях, которые он находил невыносимо скучными, и тогда из шкафа извлекался смокинг, приобретенный к поступлению в Оксфорд.

Отец, так же как и его знакомые иностранцы, быстро понял, что им лучше держаться от русских подальше. Их одежда и акцент неизменно вызывали откровенную тревогу и удивление у кассиров в магазинах и у пассажиров общественного транспорта. Поддерживать контакты с друзьями, которых он завел во время фестиваля, было чрезвычайно опасно — не для Мервина, а для его друзей. Каждый его шаг отслеживался сотрудниками КГБ в штатском, прозванными молодыми дипломатами «гунами»[4], — по аналогии с гангстерами из американских фильмов, — которые таскались за ним даже во время его вечерних прогулок по Бульварному кольцу. И Мервин частенько играл со своими преследователями, проделывая один из своих самых любимых трюков: где-нибудь на многолюдной улице внезапно срывался с места и бросался бежать, оглядываясь на ходу, чтобы посмотреть, бежит ли еще кто-нибудь. Как-то в метро Мервин из озорства подошел к такому гуну и воскликнул: «Сколько лет, сколько зим!» Но сотрудник органов госбезопасности невозмутимо промолчал. Постоянный надзор со стороны КГБ лишь придавал остроту приключениям Мервина в этой загадочной стране.

От дальнейших рискованных выходок Мервина удерживал его спаситель, явившийся в образе Вадима Попова, молодого сотрудника Министерства высшего и среднего образования, который стал первым русским другом моего отца. Они познакомились, когда Мервин посетил министерство, приступая к своим служебным обязанностям, — сбору информации о советской системе университетского образования. Вадим был немного старше Мервина, сильный и приземистый, с широким славянским лицом. Он любил выпить, воображал себя покорителем женщин и порой становился несдержанным, даже резким. Но Мервина сразу привлекло грубоватое обаяние нового товарища.

Вадим взял на себя роль гида Мервина и познакомил его с тем, что отец с любовью называл «настоящей Россией», — с ресторанами, полными сигаретного дыма, с оживленными разговорами и объятиями, пахнущими потом. За несколько месяцев Вадим помог Мервину справиться с застенчивостью и

ввел его в яркий мир кокетливых женщин и подогретых водкой сентиментальных признаний.

Мервин доложил, как того требовали правила посольства, о своей первой, официальной встрече с Вадимом для ознакомления с советской системой высшего образования, но рассказать о последовавших обедах с выпивкой не решился. Он опасался, что, если об этом узнает какой-нибудь олух из канцелярии, ему запретят встречаться с единственным русским приятелем, закроют единственное окно в Москву, которой никогда не видели его коллеги по посольству.

Днем Мервин усердно трудился в роскошном помещении посольства с высокими потолками, в бывшем особняке Харитоненко на берегу Москвы-реки, прямо напротив Кремля. Вечерами со своим соседом подолгу засиживался за разговором и за чашкой какао «Оувалтин» или задавал агентам из КГБ основательную пробежку по Цветному бульвару и Петровке. Но когда, к великой его радости, получал приглашение от Вадима, он украдкой покидал территорию дипломатического квартала и отправлялся в опасное, но неудержимо манящее путешествие по прокуренным, шумным ресторанам со скверной кухней, грохочущей музыкой и цыганскими песнями. Это была настоящая, подлинно русская жизнь, и, соприкасаясь с ней, Мервин чувствовал себя необыкновенно счастливым.

Зима обрушивается на Москву внезапно, как молот, заглушая свет и краски, лишая город жизни. Серое унылое небо низко нависает над Москвой, отрезая ее от всего мира. Городской пейзаж становится черно-белым, дезориентируя и вызывая легкую тревогу. По улицам торопливо идут съежившиеся от холода прохожие, возникая на мгновение в тусклом желтом круге уличных фонарей и тут же исчезая в дверях подъездов или в метро. Все становится одноцветным, улицы заполняются черными тенями людей в черных кожаных куртках с черным мехом. В подземных переходах и в магазинах, единственных ярко освещенных местах, лица людей кажутся бледными и унылыми, и повсюду царит этот назойливый запах мокрой псины от намокшего под снегом меха.

Каждую мою зиму в Москве мне казалось, что мир будто съежился, забился за двойные утепленные рамы окон, укрылся от холода в облаке тепла, исходящего от батарей центрального отопления, и что мы бессильны перед этой природной стихией и остается только смириться и терпеть.

В 1958 году, как только начались сильные декабрьские

морозы, Мервин с Вадимом стали встречаться еще чаще. Расставаясь, они договаривались о дне и часе очередной встречи, но во время телефонных разговоров оба, по понятным причинам, не называли друг друга по имени.

Однажды вечером они условились пойти в «Арагви», их любимый ресторан с грузинской кухней, или в «Националь». Мервин на троллейбусе добрался до Манежной площади, но, к своему удивлению и легкой тревоге, увидел, что Вадим ждет его около служебного «ЗИЛа» с работающим мотором. Вадим тепло поздоровался с ним и небрежно объяснил, что это машина его дяди — он прислал ее, чтобы отвезти молодых людей на дачу, где их ждет ужин. Вадим выжидающе открыл дверцу. Мервин постоял, взвешивая в уме последствия: советские законы запрещали иностранцам выезжать за пределы города без специального разрешения, потом сел в машину, и они отправились на дачу, в занесенное снегом Подмосковье, — так он вступил в новый этап своей жизни, неведомый и опасный.

Ужин был великолепным: икра, сельдь, осетрина, водка и дымящийся вареный картофель. После обеда они с Вадимом сидели в солидных креслах старинной работы перед печкой, где в огне потрескивали дрова. С ними был еще один друг Вадима, толстый и очень разговорчивый гинеколог, который отпускал шутки по поводу своих опытов на кроликах. Вадим хвастался успехом у женщин. О политике не говорили. Затем они, слегка покачиваясь, гоняли биллиардные шары. У Мервина голова кружилась от водки, которую он плохо переносил. Когда он похвалил дом с большим собранием картин и просторной лестницей, Вадим небрежно заметил, что его дядя «большая шишка», то есть партийный босс.

В час ночи появился повар и сообщил, что их ждет «ЗИЛ». Они возвращались в Москву молча, сытые, пьяные и довольные. Когда на площади Маяковского лимузин свернул на Садовое кольцо, в затуманенной голове Мервина родилась здравая мысль. Он попросил водителя остановиться, не доезжая ста метров до Садовой-Самотечной, тепло попрощался и пошел домой пешком. Если бы кто-то из его посольских коллег не спал и пил какао, поглядывая в окно, он увидел бы, как молодой дипломат выходит в такой поздний час из советского служебного автомобиля, и мог бы истолковать это неправильно. Так у Мервина появилась маленькая, тщательно скрываемая тайна — русские друзья, о которых никто из его коллег не должен был знать.

Моя первая квартира в Москве была очень маленькой и располагалась в доме сразу за углом Садовой-Самотечной; окна

ее выходили на тот же перекресток, затянутый серой пеленой выхлопных газов. По вечерам я прогуливался по Цветному бульвару, и никто за мной не следил.

Работал я на улице Правды. Каждое утро ловил попутную машину и быстро договаривался о плате в два доллара. Иногда около меня тормозил сверкающий черным лаком «Ауди» с тонированными стеклами и правительственным номером, иногда машина «Скорой помощи», а однажды даже военный грузовик, полный солдат. Так или иначе, но каждое утро я медленно полз или проносился по Садовой-Самотечной и сворачивал на север, к Ленинградскому проспекту. Старое здание издательства «Правда», где редакция «Москоу таймс» снимала половину этажа, представляло собой мрачное сооружение в стиле конструктивизма, бросающееся в глаза среди запутанных переулков, застроенных старыми складами. Я доезжал до работы за четверть часа и взбегал по лестнице в отдел новостей.

Газету выпускали яркие молодые люди, в основном приехавшие из Америки. Принадлежала она маленькому датчанину, бывшему маоисту, который также печатал русские версии «Космополитэн» и «Плейбоя». Большинство моих новых коллег — широко образованные специалисты по России, все очень умные, Дружелюбные и энергичные. Мой личный вклад в газету был весьма незначительным. В то время как мои более солидные коллеги распутывали кремлевские интриги и изучали экономическое положение страны, я отправлялся в городские джунгли на охоту за интересными и скандальными историями. Для двадцатичетырехлетнего юноши, имеющего за плечами всего пару лет скромного журналистского опыта, эта работа оказалась настоящим чудом. Совершенно неожиданно я обнаружил, что у меня появилась собственная Москва, точнее, ее оборотная сторона — крикливая, бурная, неистовая и жутковатая.

Москва середины 90-х годов была вульгарной, продажной и жестокой, словно сошедшей с ума, непристойной, буйной, одержимой идеей наживы. Но главное, я познавал это походя, с шутками и веселым смехом. Абсолютно все было смешно и нелепо, начиная с того, что вороватые новые русские оставляют на солнцезащитных очках фирменную наклейку, и кончая тем, что здесь крадут нефтяные компании, подкладывают под машины взрывчатку и устраивают в общественных местах перестрелку. Как только ты достаточно привыкал к местному цинизму, даже трагические случаи окрашивались черным юмором. Солдаты разбивали молотком боеголовки ракет «земля-воздух», чтобы извлечь из приборных досок крупицы золота, и погибали от взрыва. По ночам машины «Скорой помощи» работали как такси.

Милиция вымогала у проституток деньги и на своих же милицейских машинах доставляла девиц к клиентам.

В Мюнхене президент России пьяным прыгал по сцене и дирижировал оркестром. В перерывах между съемками в роликах, рекламирующих израильское молоко, российские космонавты чинили свой космический корабль при помощи разводных гаечных ключей и скотча, ели бублики и пили водку из банок с этикеткой «продукты психологической поддержки». Девушки, которые после пятнадцатиминутного пьяного общения в ночном клубе с готовностью идут к тебе домой, смертельно обижаются, если на второе свиданье ты являешься без цветов. Лучше всех уловил жалкое безумие русских Гоголь — неискоренимое разгильдяйство, кошмарное нагромождение недоразумений, сумасшедшие интриги маленьких людей, мелкую суету и тщеславие, свинское пьянство, слюнявую лесть, вороватость, некомпетентность, крестьянское упрямство.

Вероятно, как и мой отец, я пришел к выводу, что Россия не просто другая страна, а иная реальность. Внешний облик города был довольно привычным — белые лица, европейские витрины магазинов, неоклассическая архитектура. Но этот европейский налет только усиливал ощущение чуждости. Искаженный облик города вовсе не успокаивал, а, напротив, вселял тревогу. Москва производила сюрреалистическое впечатление, как если бы начальник какой-нибудь колониальной сторожевой заставы на краю света вздумал перенести туда мрачную имперскую архитектуру и европейскую моду. Под всей этой претенциозностью душа города оставалась дикой и азиатской.

Одним из моих первых заданий было освещение Первого московского съезда татуировщиков. Растерянная московская пресса консервативно называла съезд «культурным фестивалем». По существу, это было сборище представителей альтернативного общества столицы, буйная языческая оргия несогласных. Из распахнутых дверей клуба «Эрмитаж» вырывался тяжелый запах потных тел и оглушительный грохот оркестра, исполняющего панк-рок. Два тускло освещенных зала были пропитаны невыносимым зловонием дешевых советских сигарет и заполнены разгоряченными полуобнаженными телами, в основном мужскими. Московские панки, скинхеды, байкеры и несколько смущенных хиппи сбились в одну огромную возбужденную толпу, источающую едкий запах, раскачивающуюся в бешеном ритме перед эстрадой, где четыре панка с прическами «цезарь», обливаясь потом, колотили по пианино и барабанам, исполняя грубую пародию на «Секс пистолз».

На следующий вечер я оказался в «Доллс», вульгарном и

модном стриптиз-баре, где на столах плясали обнаженные акробатки подросткового возраста. У края сцены на высоком стуле в одиночестве сидел со стаканом спиртного известный американский бизнесмен Пол Татум. Татум прославился в Москве своими долгими судебными разбирательствами с группой чеченцев, оспаривавших его право собственности на гостиницу «Рэдисон-Славянская». Я поздоровался с ним, и он показался мне расстроенным и даже похудевшим. Мы поговорили немного об «акциях свободы», которые он выпустил и продал своим друзьям, чтобы собрать денег на ведение дела против чеченцев.

К нам присоединился Иосиф Глоцер, владелец клуба, — он, жалуясь, полушутливо говорил со своим сильным бруклинско-русским акцентом о том, как трудно «честно вести дело в этом городе». Мне показалось, что Татуму не терпелось вернуться к наблюдению «за пташками», поэтому я пожелал ему удачи и вернулся к своим друзьям.

Через месяц Татум погиб. Когда он входил в подземный переход у «Рэдисон-Славянской», неизвестный всадил ему в шею и спину одиннадцать пуль из АК-47. В тот вечер Татум не надел, как обычно, бронежилет, но он все равно не спас бы его от смерти, потому что преступник стрелял сверху, прямо в шею и в верхнюю часть спины. Двое его телохранителей остались невредимыми. Это было классическое московское убийство. Стрелок бросил на месте преступления автомат Калашникова и спокойно удалился, а через два часа милиция огласила стандартное заявление, что «покушение связано с профессиональной деятельностью убитого».

Вскоре из нас троих, встретившихся в «Доллс», в живых остался я один. Через два месяца после смерти Татума пуля снайпера настигла и Глоцера, когда тот выходил из своего клуба. Пуля попала ему в голову. Стрелок настолько был уверен в точном попадании, что даже не позаботился сделать контрольный выстрел.

Вскоре я получил задание описать индустрию похорон в Москве, для чего встретился в морге с гримером, который приводит в достойный вид тела жертв мафии, чтобы их можно было представить для прощания родственникам и друзьям в открытых гробах. Одетый в грязный лабораторный халат поверх яркой гавайской рубашки, он обсуждал заказные убийства с таким же увлечением, с каким поклонник балета мог бы рассказывать о любимых спектаклях. Убийство Глоцера, со знанием дела заявил он, одно из «самых совершенных, самых чистых убийств», какие ему приходилось видеть. Этот тип, с циничным остроумием шутивший по поводу происходящих

вокруг ужасов и не позволявший себе задумываться об этом всерьез, был подлинным героем своего времени. И мне вдруг пришло в голову, что я и мои иностранные друзья — такие же циники в лабораторных халатах поверх гавайских рубашек, с бесстрастным видом рассуждающие о средневековой дикости Москвы.

В конце апреля, через несколько недель после моего приезда в Москву, внезапно, всего за одну ночь наступила весна. Только накануне вечером дул пронзительный ледяной ветер, хотя последние остатки грязного снега растаяли уже на прошлой неделе, обнажив на газонах голую и черствую землю. Но, проснувшись поутру, я увидел над головой сияющее синее небо; набухавшие в последние дни почки на кустах и деревьях вдруг лопнули, и в воздухе определенно запахло жизнью. В тот же день, к вечеру, в городе уже прочно установилась весна.

Подобно появившимся бабочкам, на улицы выпорхнули, сбросив зимние пальто, девушки в мини-юбках и туфельках на высоких каблуках. По воскресеньям я гулял по засыпанным гравием дорожкам Цветного бульвара и доходил до Садового кольца. На Самотечной площади я сворачивал к площади Маяковского и шел в американский гриль-бар. Обычно там собиралась компания сотрудников «Москоу таймс» поболтать под покровом сигаретного дыма, скрываясь за развернутыми газетами и потягивая яичный ликер. Вот, говорил я себе, наконец-то я живу полноценной жизнью иностранного журналиста: блеск богатства, девушки, крепкая выпивка, смелые раскованные коллеги, братство молодых, оторванных от дома людей, встретившихся в этом удивительном и необычном городе. Но, разумеется, в обществе новых коллег я старательно скрывал свое ликование под маской искушенного скептика.

Глава 9
Выпивки с КГБ

Страшен не лед, а то, что под ним.

Алексей Сунцов — Мервину, 1961 год.

Мервину быстро наскучило составление отчетов о советской системе высшего образования. Вадим открыл ему ту Россию, куда он стремился, волнующую, романтическую страну, о которой он мечтал, прилежно овладевая русским языком, и необузданность, ее непредсказуемость и восторженность проникали в его кровь. С ними появилась беспечность и ощущение некоторой свободы.

Один оксфордский друг прислал Мервину письмо с просьбой о небольшой услуге. Он готовил к изданию сборник стихов Бориса Пастернака и просил прислать кое-какие его ранние сочинения, которые можно было найти только в Библиотеке им. Ленина. Но тут возникало одно осложнение. Несколькими месяцами раньше за роман «Доктор Живаго» Пастернаку была присуждена Нобелевская премия. Правда, под давлением Союза писателей, который в полном единении с партией посчитал роман вредным восхвалением дореволюционной России, Пастернак вынужден был отказаться от премии. Фактически его спасла от ГУЛАГа только всемирная известность. Вывоз произведений писателя из Советского Союза был делом опасным, возможно, противозаконным и определенно пагубным для карьеры. Однако Мервин сразу согласился.

Получив в Ленинке фотокопии, он упаковал их в два конверта и незаметно сунул в пакет с дипломатической почтой, чтобы их не конфисковали на советской таможне.

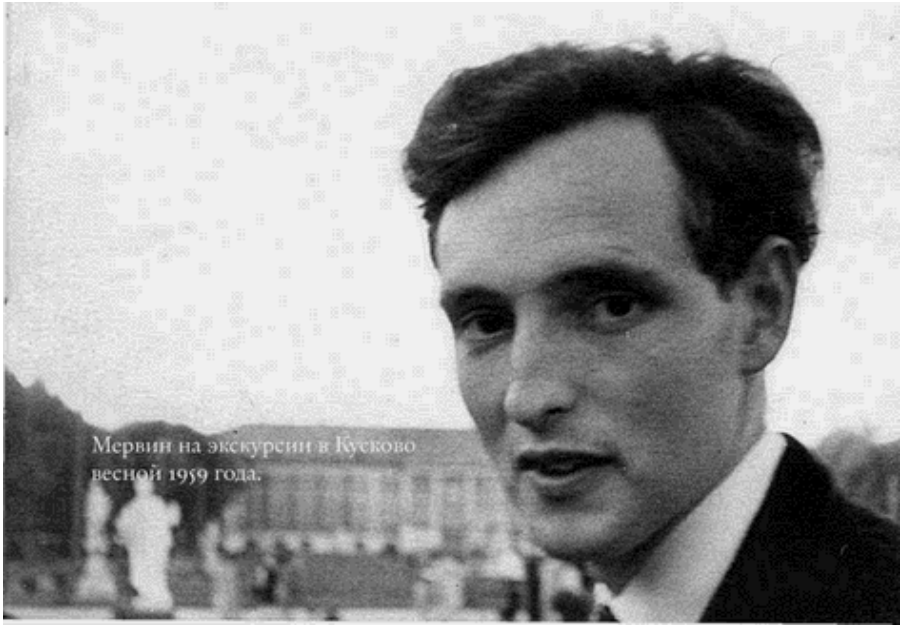
Через неделю Мервина вызвали к начальнику канцелярии, и он направился в великолепно обставленный кабинет Хилари Кинга, не сомневаясь в том, что его ожидает серьезная головомойка. Действительно, тщательно досматривающие дипломатическую почту сотрудники Форин-офиса уже известили начальника, что ими обнаружены незарегистрированные вложения. Посольство очень щепетильно относится к жалобам советской стороны, с убийственной вежливостью заявил Кинг молодому сотруднику посольства.

Могу себе представить выражение лица моего отца, когда он,

возмущенный, вышел из канцелярии. Мне часто приходилось видеть эту подавляемую злость, находящую выход во вспышках гнева, обычно после того, как она тлеет под внешней ледяной вежливостью несколько минут или даже часов. Правда, Мервин благоразумно попросил Кинга извинить его, но в душе продолжал злиться на Форин-офис за потворство мелочным требованиям Советов. Его глубоко оскорбило то, что он получил выговор за поступок, который любому человеку, находившемуся за пределами этого ограниченного мирка дипломатической бюрократии, представлялся совершенно нормальным. Кипя от возмущения, Мервин отправился по застеленному толстым ковром коридору в свой крошечный кабинет.

Вскоре посольство нашло тонкий способ выразить Мервину свое недовольство. В его квартиру подселили молодого работника, а Мартину Дьюхерсту предоставили отдельную квартиру. Затем Мервину перестали выплачивать деньги на содержание прислуги.

Нужно было уходить, но куда? И тут в «Таймс» появилось объявление о программе обмена студентами между Советским Союзом и Британией — впервые в современной истории! Мервину эта программа показалась спасательным тросом, по которому он выберется из посольства с его атмосферой холодной любезности и окажется в обществе беспечных студентов, а заодно — быть может — избавится от вездесущих гунов. Но появилась проблема. Мервин был аккредитованным дипломатом, правда, в списке работающих в Москве дипломатов в 1958 году его имя стояло последним. К тому же вряд ли советское Министерство иностранных дел поверит его внезапному решению изменить столь важный статус на положение скромного студента. Первым делом Мервин подал заявление, чтобы его исключили из узкого круга сотрудников, допущенных к секретным документам, и отказался от проверки своей благонадежности. Похоже, посольство только радо было избавить его и от первого, и от второго, а затем направило его документы в Министерство иностранных дел СССР. И после соответствующего рассмотрения ему было отказано.



Мервин на экскурсии в Кусково весной 1959 года.

Сидя с Вадимом в ресторане «Баку» за кебабом и водкой, Мервин поведал ему о своих проблемах, возмущаясь отказом министерства. Русский друг сочувственно кивал, не забывая наполнять рюмки.

— Не спеши огорчаться, Мервин, — успокоил его Вадим. — Я узнаю, не сможет ли помочь мой дядя.

Мервин воспрял духом. Таинственный родственник Вадима, высокопоставленный босс с «ЗИЛом» и роскошной дачей наверняка сумеет убедить министерство изменить свое решение. Вадим не сказал ни слова о том, чего он ждет от Мервина за эту услугу. И в заключение вечера они выпили за Мервина — будущего аспиранта МГУ и друга советского народа.

— Итак, вы поступаете в МГУ. — Когда Мервин пришел попрощаться, посол сэр Патрик Рейли держался с ним дружелюбно, несмотря на промахи, допущенные молодым человеком за короткий срок дипломатической службы. — Весьма странно и неожиданно. Удивительно, как это министерство дало вам разрешение?

Последовала долгая пауза. Не место и не время было Мервину рассказывать про Вадима и его дядю, о вечерах, проведенных в городе с новыми друзьями, о необъяснимом решении министерства в последнюю минуту сменить отказ на согласие. Он промолчал. Не получив ответа, посол протянул ему руку:

— Что ж, желаю вам удачи.

Несколько дней, оставшихся от отпуска, Мервин решил использовать для поездки в Среднюю Азию. Одна сотрудница канцелярии посольства, чьей обязанностью было сжигать секретные документы, настоятельно порекомендовала ему побывать в Бухаре. Мервин оживленно рассказывал о своих планах Вадиму, которого нисколько не заразил горячий интерес его английского друга к историческим местам. Мервин добирался туда с пересадками, на небольших, но надежных самолетах Аэрофлота. Посетив Ташкент и Самарканд, он прибыл в Бухару.

Расположенный в пустыне город встретил его неожиданным холодом. Вдоль дороги из аэропорта тянулись глинобитные домики, которые ближе к центру уступали место новым, но уже каким-то облезлым домам из бетонных блоков. Водитель такси, бухарский еврей, всю дорогу расхваливал достоинства недавно открытой гостиницы «Интурист» и, доставив клиента, стал жаловаться на слишком тяжелый чемодан, чем и выцыганил у Мервина лишние чаевые, дополнительно к высокой оплате за проезд. Отель действительно был новым, однако, войдя в вестибюль, Мервин обнаружил, что внутри еще холоднее, чем снаружи. Чтобы согреться, регистратор гостиницы даже переставила свою стойку поближе к выходу.

Мервин поинтересовался, скоро ли включат отопление.

— Гостиница только что сдана, — сухо ответила регистратор, задетая придирчивостью иностранца. — И лифты еще не работают. Вам придется подниматься по лестнице.

И дала Мервину номер на верхнем этаже.

Мервин с трудом тащил свой чемодан наверх, когда увидел ноги спускающегося ему навстречу человека в знакомых брюках. Оказалось, что, по чистой случайности, Вадима направили сюда в командировку. Более того, выяснилось, что в этот день Вадим был совершенно свободен и мог поездить с Мервином по Бухаре на служебном автомобиле, а вечером один русский друг Вадима устраивал маленькую вечеринку у себя дома на окраине города. Вадим с гордостью сообщил, что там будут и девушки.

Первый «друг» Мервина из КГБ Вадим Попов ест кебаб на базаре в Бухаре. Узбекистан. 1959 год.

После осмотра города, слишком беглого и поверхностного, как показалось Мервину, они выехали на немощеные улочки городской окраины. Друг Вадима жил в старом русском квартале с традиционными деревянными усадьбами, сильно отличающимися от каменных построек узбеков. Хозяин дома Володя тепло встретил их и стал усиленно угощать водкой и жареной индейкой — такой огромной, каких в России видеть Мервину не приходилось; потом они танцевали под старые американские пластинки. Выяснилось, что одна из девушек, Нина, остановилась в той же гостинице, что и Вадим с Мервином, и они все вместе при лунном свете вернулись туда и распрощались в фойе.

— Заглянете ко мне попозже? — спросил Мервин, когда Вадим уже поднимался по лестнице. Девушка ответила теплым пожатием руки.

Не желая беспокоить постояльцев, Мервин на цыпочках шел к своему номеру. К его удивлению, там горел свет и внутри явно кто-то был. Очевидно услышав шаги Мервина, человек распахнул дверь. Ослепленный падавшим из комнаты светом, Мервин не видел лица человека, но спросил, что он здесь делает.

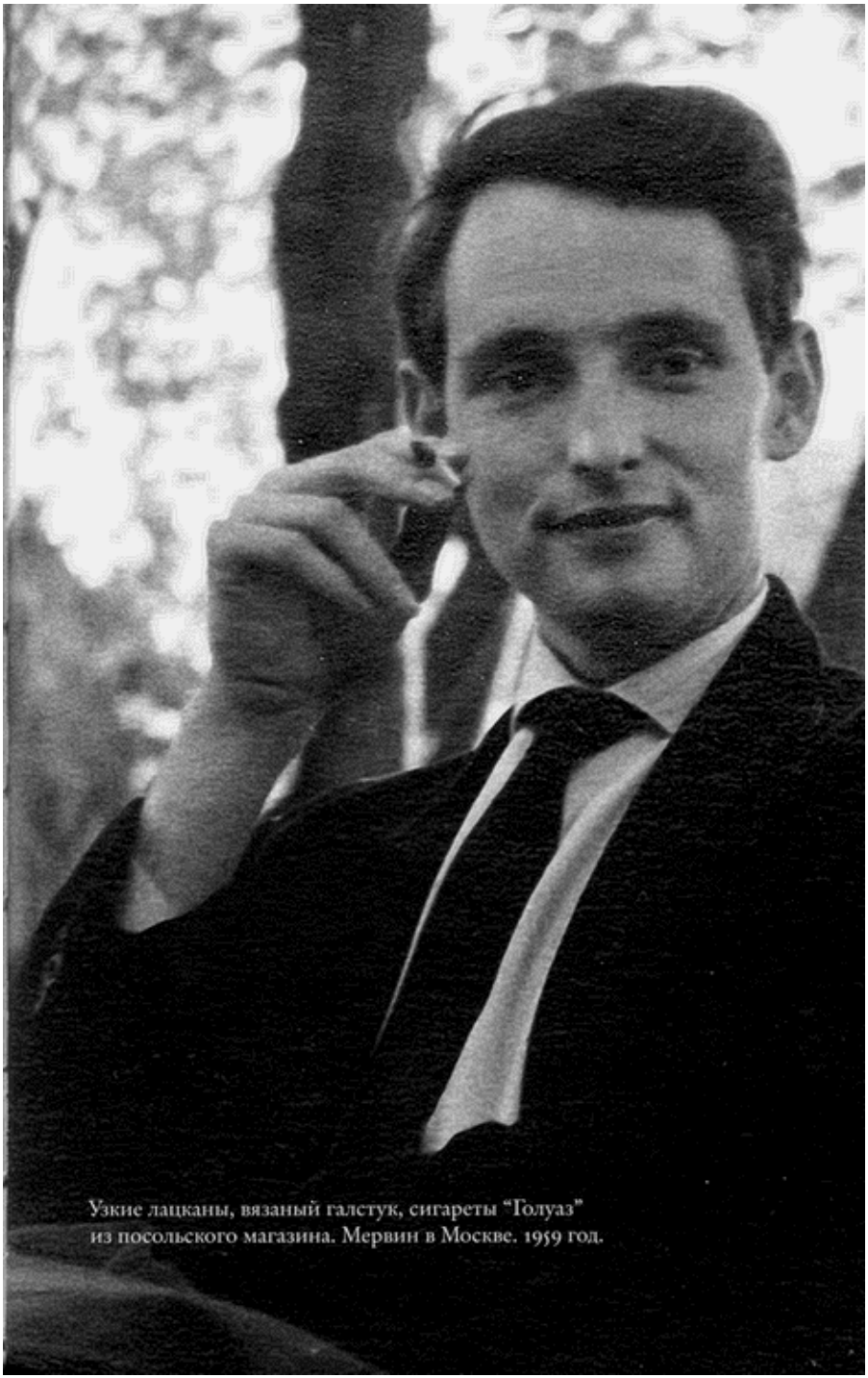
— Чиним электричество, — спокойно объяснил тот. — Но мы уже закончили.

После ухода «электриков» Мервин тяжело опустился на кровать. Даже здесь, в Средней Азии, КГБ не оставлял его в покое. Потом он заметил на столе два пустых стакана. Очевидно, тайные агенты во время работы любили немного выпить.

Дрожа от холода, он разделся и забрался в постель. В дверь тихо постучали. Подумав, что это Вадим, Мервин встал и отпер ее. Но это была Нина. Она игриво втолкнула его в комнату. Он вытеснил ее в коридор. Не хватало ему скандала с изнасилованием! Он мгновенно представил себе, как ее нежные объятия превратятся в железную хватку, а сотрудники КГБ только и ждут в коридоре, когда она станет звать на помощь. В итоге он провел ночь в ледяной постели и в полном одиночестве.

Московский Государственный университет размещается в грандиозном, в тридцать шесть этажей, сталинском небоскребе — в то время самом высоком в Европе. На просторной площади перед зданием установлены гигантские статуи студентов и студенток, которые, подняв взгляд от своих учебников и инженерных инструментов, доверчиво смотрят в светлое будущее. По масштабам это невозможно даже сравнивать с разбросанными по всей территории Оксфорда зданиями колледжей из песчаника.

Руководство университета предоставило Мервину комнату в «гостиничном» крыле, собственно ничем не отличающуюся от остальных пяти тысяч комнат общежития, кроме того, что иностранцам полагалась такая роскошь, как горничная.



Узкие лацканы, вязаный галстук, сигареты «Голуаз» из посольского магазина. Мервин в Москве. 1959 год.

В маленькой комнате умещались лишь диван-кровать,

письменный стол и встроенный шкаф. Огромное окно, соответствующее монументальности фасада, совершенно не отвечало размерам комнаты.

Тем не менее Мервина не оставляло приподнятое настроение. Университетский быт представлял собой полную противоположность его роскошной, но замкнутой жизни дипломата; все здесь было скромным и типично советским. А главное, Мервин чувствовал себя гораздо свободнее, чем в посольстве. Правда, снаружи постоянно дежурили оснащенные радиосвязью автомобили КГБ, готовые в любой момент последовать за выходящими иностранцами, но слежка велась от случая к случаю, и студенты, хотя и соблюдали осторожность, общались с Мервином куда непринужденнее, чем остальные русские.

Еще в посольстве он принял решение питаться непременно в столовой и, по возможности, пользоваться общественным транспортом. Теперь Мервин получал в студенческой столовой тонкие, как бумага, котлеты, жидкий суп и водянистое картофельное пюре. Ему приходилось ездить в битком набитых вагонах метро или автобусах, вдыхать крепкий запах пота и огуречного рассола, но ему это нравилось.

Старый друг и сокурсник Мервина по колледжу Св. Антония и по фестивалю француз Жорж Нива полностью разделял его стремление вживаться в советскую среду. Жорж жил на одном этаже с вьетнамскими студентами. По всему коридору разносился запах еды, которую они готовили: куриные ножки, обильно посыпанные острым перцем, и капустный суп с чесноком, от которого Жоржа постоянно тошнило.

— Это меня убивает! — жестикулируя с истинно галльской горячностью, жаловался он Мервину, когда заходил к нему отдохнуть в тишине и выпить чаю с бисквитами. — Я просто не могу так жить!

Жоржа привела в Москву страстная любовь к русской литературе. Вскоре после поступления в университет он стал завсегдатаем литературных вечеров у Ольги Всеволодовны Ивинской в Потаповском переулке. Ивинская — возлюбленная Бориса Пастернака и прообраз Лары в «Докторе Живаго» познакомилась с поэтом еще в 1946 году. За свою связь с Пастернаком она дорого заплатила. В 1949 году ее посадили на пять лет за отказ признать своего любимого британским шпионом. Тогда она была беременна от Пастернака, но в тюрьме потеряла ребенка. Только после смерти Сталина она смогла вернуться в Потаповский переулок, и ее связь с поэтом возобновилась. Но Пастернак всю жизнь мучил Ивинскую,

отказываясь бросить жену и детей. Он жил на две семьи: завтракал и проводил день с Ольгой, затем вежливо раскланивался с ее гостями и уходил к жене и детям.

Ирина Емельянова, дочь Ольги от первого мужа, который покончил собой в 32 года, была очаровательной жизнерадостной девушкой, страстно увлекающейся литературой и балетом. Жорж влюбился в нее без памяти и спустя несколько месяцев после их знакомства сделал ей предложение. Пастернак поздравил молодую пару на своей даче в Переделкино, куда съехалось множество гостей. Жорж пригласил Мервина, собираясь познакомить его с Пастернаком, но Мервин отказался, объяснив тем, что он слишком застенчив. «Мне нечего было сказать Пастернаку», — как-то признался он мне.

Я часто размышлял об этом странном отказе, потому что он явно противоречил тогдашней склонности моего отца к риску и опасностям. Возможно, причина сего заключалась в том, что он легко и непринужденно чувствовал себя только в кругу друзей или людей, равных ему по социальному положению, и терпеть не мог светских мероприятий — черта, свойственная ему и по сей день. Крайне замкнутый от природы, он всегда поражал меня умением скрываться в своем мирке, не желая допускать в него посторонних. Его кабинет в Лондоне, скромные квартиры, которые он занимал во время своих разъездов с чтением лекций, — все сразу превращалось в маленькое мужское гнездышко, куда он мог уединиться с горами своих бумаг, заварным чайником и любимым Бахом. На общественные мероприятия он обычно надевал поношенные рубашки, приобретенные за два фунта в магазинах благотворительной распродажи, и твидовые пиджаки с отвисшими карманами; там он стоял где-нибудь в уголке, с вымученной улыбкой, выжидая момент, когда можно будет уйти. Из-за той же застенчивости он даже не дождался окончания моего свадебного ужина. Я попрощался с ним на лестнице отеля «Сплендид» на острове Буюкада, недалеко от Стамбула, а он, в своем старом смокинге и в бежевом плаще, тепло поблагодарил меня за хороший вечер под грохот вырывающейся из зала музыки, которую исполняли разгулявшиеся молодые цыгане.

— Вообще-то я не очень люблю большие сборища, — пояснил он и зашагал к нашему дому, одинокий в свете вечерних фонарей.

■

Вскоре после помолвки Жоржа Вадим пригласил Мервина отметить в ресторане «Прага» защиту своей кандидатской диссертации в Институте восточных языков. За столом собрались в основном пожилые ученые, научный руководитель Вадима и

заведующий кафедрой. Напротив Мервина сидел изысканно одетый мужчина, старше его лет на пять, с резко выделяющейся седой прядью в черных волосах. Вадим шепнул Мервину, что это Алексей, «научный референт» его загадочного дядюшки, но не познакомил их. Алексей произнес длинный остроумный тост. Мервин беседовал со своими невозмутимыми соседями и слишком много выпил.

Через несколько дней к нему зашел Вадим и передал приглашение Алексея на балет в Большой театр. Мервин был удивлен и польщен. Он предположил, что Алексей хочет познакомиться с иностранцем, и принял приглашение.

Алексей в элегантном заграничном костюме держался солидно и уверенно, как типичный представитель послевоенной московской номенклатуры. В разговоре выяснилось, что он часто бывает за рубежом. На руке его высокой и стройной жены Инны Вадимовны Мервин заметил красивый золотой браслет с миниатюрными часиками. Алексей гордо заявил, что его жена — «типичная советская женщина». Мервину невольно вспомнилась его горничная Анна Павловна, которая втискивается в полный автобус с авоськой, где лежат пакеты с яйцами, купленными в университетской столовой. Она казалась Мервину более типичной советской женщиной.

Вечер прошел с успехом. Алексей любил балет, и они с Мервином оживленно беседовали во время антракта, тогда как приверженный плотским радостям Вадим кружил в буфете, поглядывая на девушек. Алексей стал регулярно звонить Мервину и приглашать в самые престижные рестораны Москвы — «Арагви», «Баку», «Метрополь», «Националь». У Алексея водились большие деньги, к тому же он состоял в загадочных для Мервина отношениях с метрдотелями ресторанов, которые встречали его с подобострастной улыбкой и в любое время предоставляли ему и его гостям столик или даже отдельный кабинет.

По сравнению с Вадимом Алексей оказался более интересным и живым собеседником и с большей откровенностью высказывался на политические темы. Он никогда не сплетничал о женщинах, да и пил гораздо умереннее Вадима. Алексей расспрашивал Мервина о его детстве и прошлом его семьи, но по реакции собеседника Мервин сразу понял, что тот способен рассуждать о бедности и классовой принадлежности только в свете набивших оскомину положений марксизма-ленинизма. И вот парадокс: советский борец за права международного рабочего класса принадлежит к привилегированной элите, а Мервин, наивный, но искренний британский патриот, убежденный антикоммунист, согласно учению Маркса, являлся настоящим

революционером.

Они стали встречаться все чаще, и однажды у них зашел разговор о строгом визовом режиме в СССР, о слежке и шпионах. Они сидели в ресторане гостиницы «Националь», давным-давно ставшем излюбленным местом отдыха высшего света столицы… Алексей заметил, что Советскому Союзу приходится быть начеку из-за происков иностранных шпионов. Видимо желая доказать, что он вовсе не шпион, и снять с себя невысказанное подозрение, Мервин в шутку рассказал Алексею, что сотрудники посольства нашли для себя постоянный объект шуток. Это будка под Большим Каменным мостом, прямо за углом от посольства, где в ожидании вызова кагэбэшники коротали время за игрой в домино.

Внезапно став серьезным, Алексей осторожно уточнил, где именно находится эта будка. После обеда он настоял на том, чтобы они поехали взглянуть на нее. Возможно, почувствовав замешательство Мервина, Алексей обронил несколько пренебрежительных замечаний о работе МИ-5 и МИ-6, как бы желая сказать, что если бы Мервин работал на британскую разведку, то он обязательно знал бы об этом. Мервин не стал с ним спорить.

Когда через пару дней Мервин проезжал под мостом, уже ни будки, ни агентов он там не увидел.

Как-то Вадим устроил еще один вечер на дядиной даче. Как и прежде, их доставили туда на «ЗИЛе», только на этот раз Вадим пригласил своего друга, инструктора по горным лыжам, и трех полненьких, очень жизнерадостных девушек. Вечером они пошли покататься на лыжах в сосновом бору. К своему смущению, Мервин часто падал, что вызывало у девушек взрывы веселого смеха. Вернувшись в дом, посидели у камина и согрелись водкой, а потом удалились наверх каждый со своей девушкой. Мервину досталась самая полная и, как ему показалось, намного старше его. Но она с такой готовностью согласилась стать его подружкой на одну ночь, что было бы грубо ей отказать.

В другой раз Мервин и Алексей сидели в отдельном номере ресторана «Арагви» и наслаждались грузинским «Цинандали», но не смогли осилить огромных порций кебаба, лобио и хачапури. В тот вечер Алексей был в ударе и разговаривал с Мервином довольно фамильярно, что позволял себе крайне редко. Он заявил, что намерен принять в карьере Мервина более активное участие. Не хочет ли Мервин отправиться в поездку? И если хочет, то куда? Мервин живо ответил, что очень хотел бы посетить Монголию. К сожалению, это невозможно, сказал

Алексей, а если куда-нибудь в Советском Союзе? Мервин предложил Сибирь, и Алексей пришел в восторг. Может, посмотреть знаменитую Братскую ГЭС? Озеро Байкал? Мервин затрепетал от радости и тут же согласился. Они выпили за успех их путешествия.

В какой момент Мервин понял, что слишком глубоко увяз? Может, он и был наивным, но не до такой степени. Связь Алексея с КГБ становилась все более прозрачной — пренебрежительные замечания о британской разведке, мгновенное и загадочное исчезновение будки со агентами, расспросы о политических взглядах молодого англичанина. Мервину стало совершенно ясно, что его вербуют.

Думаю, дело в том, что в действительности они никогда не понимали друг друга. Взгляды Алексея мешали ему видеть глубоко укоренившийся патриотизм того класса и поколения Мервина, для которого считалось высшим признаком дурного тона выйти из кинозала, пока не закончится «Боже, храни короля». И уязвленное самолюбие Мервина заставило его серьезно задуматься, почему Алексей так обхаживает его, скромного аспиранта, тратит на него свои деньги и время. Я совершенно уверен: Мервин понимал, что ведет игру с КГБ. Чего он определенно не понимал, так это насколько опасной могла оказаться эта игра. Даже когда он согласился поехать в Сибирь, он должен был всерьез заподозрить, что рано или поздно его попросят расплатиться по счету. Но в который раз победу над благоразумием одержала его природная страсть к приключениям и риску. Что бы ни случилось, это было необыкновенно интересно и захватывающе. А разве не для того он приехал в Россию?!

Когда летишь в Сибирь, ночью да еще зимой, возникает ощущение, что ты летишь на край света. Кажется, сказочный пейзаж заснеженных девственных лесов тянется не до горизонта, а еще дальше, в бесконечность. В 1995 году я побывал на Байкале по пути в Монголию, которую моему отцу так и не довелось увидеть. Летели мы на маленьком советском самолете «АН-24», вероятно еще в 60-х начавшего свою долгую карьеру. Мы падали в воздушные ямы, наши голоса тонули в вое мотора, самолетик стремительно мчался навстречу рассвету, а за нами, на западе, угасал закат.

Алексей Сунцов, офицер КГБ, путешествовал с Мервином по России, стараясь показать ему чудеса социализма, но не сумел убедить британца предать свою страну. Это фото подарила Мервину в 1997 году вдова Сунцова, Инна Вадимовна.

Солженицын назвал разбросанные по всей территории Советского Союза тюремные лагеря — «архипелаг ГУЛАГ». Но фактически вся Россия является архипелагом, состоящим из отдельных островков тепла и света, окруженных бескрайним морем незаселенных пространств и холода. Именно на просторах России таится ключ к пониманию русской души. Ее неуверенность и фатализм, порожденные условиями жизни в такой громадной стране, что на пересечение ее из конца в конец когда-то уходило полгода; постоянное смирение перед кнутом власти, происходящее от невозможности связаться с отдаленными поселениями необъятной империи. Когда я читал знаменитый указ Петра I, гневно требующий от граждан выполнения всех его предыдущих указов, я сравнивал царя с рехнувшимся радистом, который отправляет в космос возмущенные послания, а в ответ слышит только слабое космическое эхо.

Телефонные кабели, спутниковое телевидение и самолеты

Аэрофлота, казалось бы, связали друг с другом отдаленные регионы России, но в каком-то смысле электронные средства связи только усиливают ощущение непреодолимого расстояния. Россия остается крупнейшей страной в мире; даже теперь, после распада Советского Союза, ее территория охватывает одиннадцать часовых поясов. Бывший советский телеоператор однажды объяснил мне: чтобы телевизионный сигнал программы «Время» дошел от Москвы до Чукотки, крайней восточной оконечности страны, он должен многократно пересылаться. К середине 90-х из столицы уже легко можно было связаться с тихоокеанским побережьем Камчатки или с Магаданом, не забывая при этом, что разница во времени почти такая же, как между Москвой и Нью-Йорком. Последний участок скоростного шоссе, соединяющего европейскую часть России с Дальним Востоком, был закончен только в 2002 году — а прежде многие километры этого пути пролегали по льду замерзшего Амура, и пользовались им только зимой.

Ничего удивительного, что большинство из тех, кого судьба обрекла родиться на этих громадных пространствах, вырастали с инстинктивным чувством беззащитности перед лицом невероятных физических трудностей, которые определяли их дальнейшую жизнь и приучали уступать принуждению. «До Бога высоко, до царя далеко», — говорится в старой русской пословице, и не случайно одним из основных постулатов Православной Церкви является смирение перед ношей, возложенной на верующих Господом. Непрестанная борьба с суровым климатом отнимает у людей все силы, изматывает душу, рождает у них представление о себе как о жалкой песчинке во враждебном мире, выстоять в котором способны лишь очень немногие. Эта тема пронзительно звучит в пьесе Чехова «Три сестры», посвященной судьбам трех молодых женщин в провинциальном уголке России, чьи силы и надежды медленно, но необратимо тают, на почве извечной русской инертности. Даже в Москве, где избалованные горожане избавлены от изолированности и средневековой темноты деревни, на их сознание подспудно влияют огромные размеры страны — так моряки постоянно помнят об окружающем их глубоком и холодном море.

Алексей с Мервином отправились в Сибирь в апреле 1960 года, когда у Мервина заканчивался первый год аспирантуры. Они пересекали заснеженные пространства России отдельными рейсами с пересадками, на небольших самолетах «АН-24». Первая остановка была в Новосибирске, промышленном городе,

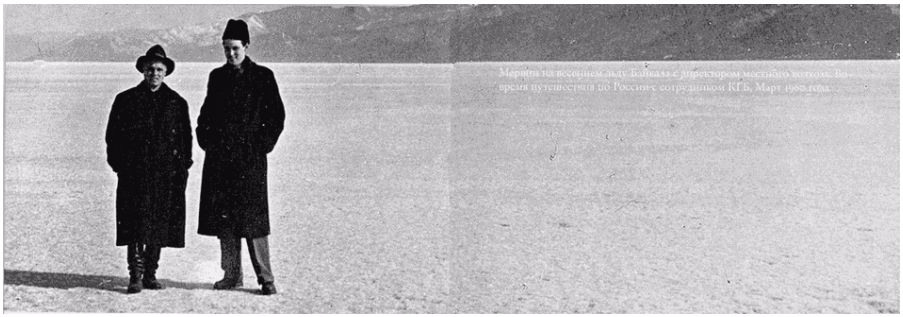
выросшем в давние времена из пограничного поселения царской империи. Если старый город застроен обветшалыми деревянными избами и осевшими купеческими домами, то в новых районах теперь раскинулись широкие бульвары и поднялись современные блочные многоквартирные дома. Мервину город показался серым, унылым и скучным, хотя Алексей, казалось, искренне восторгался им.

Оттуда они направились в Братск — в то время городок с бревенчатыми бараками. За Братском лежала широкая замерзшая Ангара и простиралось громадное водохранилище, лед на котором начал уже подтаивать. Это огромное водохранилище, объяснил Алексей, создано волей, энтузиазмом и самоотверженным трудом тысяч рабочих. Перед ними поднималось высоченное гидроэнергетическое сооружение, плотина из стали и бетона, укротившая природную стихию во имя процветания страны.

Ночь они провели в наскоро возведенной гостинице «Интурист», предназначенной для размещения почетных гостей, пожелавших полюбоваться великим гидротехническим чудом. Утром сразу поехали осматривать плотину. В турбинах бурлило и грохотало, громада бетонной дамбы изящно изгибалась, пересекая водное пространство и теряясь из вида на горизонте. Мервин согласился, что это замечательное, поистине потрясающее зрелище. Алексей молчал и только одобрительно и удовлетворенно кивал: ему нравилась реакция молодого англичанина. «Был ли конец поразительным сюрпризам в этой стране чудес под названием Россия?» — писал позднее в своих мемуарах мой отец, не знаю, то ли иронизируя, то ли вспоминая свой неподдельный юношеский восторг.

Последний пункт в задуманном Алексеем великом путешествии по Сибири, которое планировалось как туристическая поездка, но необъяснимым образом превратилось в официальную демонстрацию достижений социализма, был Иркутск и озеро Байкал. Леса, бесконечные леса, уходящие так далеко, за горизонт, как будто видятся во сне. Поверхность крупнейшего в мире озера, глубиной более полутора километров, представляла собой ослепительно белую гигантскую ледяную равнину, покрытую снегом.

— Б Байкале более трехсот видов рыбы! — с воодушевлением объяснял толстый директор колхоза, таинственным образом узнавший о прибытии Алексея с его уважаемым иностранным гостем.



Мервин на весеннем льду Байкала с директором местного колхоза. Во время путешествия по России с сотрудником Кгб. Март 1960 года.

Они стояли на потрескивающем льду озера, поеживаясь от сильного холодного ветра. Алексей, чья обычная невозмутимость была поколеблена после ночлега в простой деревенской избе, нетерпеливо поглядывал на берег. Мервин с опаской посмотрел на тонкий весенний лед, который ощутимо проседал у них под ногами.

— Страшен не лед, а то, что под ним, — сказал Алексей, заметив беспокойство Мервина.

— Пройдемте немного дальше, — предложил директор.

Наконец, когда перед возвращением в Москву они сидели в ресторане Иркутского аэропорта и под водку вкушали уху и сибирские пельмени, Алексей сделал свое предложение. Мервин почти ожидал этот вопрос, но все равно был шокирован, услышав его. Готов ли Мервин работать «во имя мира во всем мире»?

Перегнувшись через стол, с самым серьезным видом Алексей всеми силами старался убедить своего подопечного в благородстве предлагаемой ему работы, нажимая на то, что Мервин происходит из бедной семьи и собственными глазами увидел преимущества советского социалистического строя. Мервину подвернулся шанс помочь установлению справедливости во всем мире. Хотя Алексей не произнес больше ни слова, было ясно, что речь идет о работе на КГБ.

Опрокинув все представления Алексея о классовых противоречиях, Мервин отказался, заявив, что не может предать свою родину. Обед закончился раздраженными упреками. Впервые Алексею изменило его самообладание, и он обрушил на Мервина обвинения в избалованности, лицемерии и неблагодарности. Мервин только смущенно отмалчивался.

После долгого полета, который прошел в напряженном молчании, они приземлились во Внуково. Пока ждали багаж,

Алексей начал извиняться, сдавая свои позиции:

— Забудем об этом. Я был неправ, выбрал не тот момент. Будем снова встречаться. Останемся просто друзьями, а об этом и вспоминать не будем.

Они неловко распрощались. А Мервина не столь уж неожиданные итоги поездки скорее расстроили, чем испугали.

В университетское общежитие Мервину неожиданно позвонила Нина из Бухары. Она приехала в командировку и хотела бы с ним увидеться. Сейчас она идет в ГУМ, хочет купить себе блузку, а потом свободна. Они назначили встречу на вечер.

Положив трубку, Мервин задумался. Как Нина узнала номер его телефона? Он решил спросить ее при встрече, но так и не спросил.

Мервин затеял с КГБ игру, не подозревая о жестких методах работы этой организации. Он представлял себе КГБ в образе вежливого и обходительного Алексея и «гунов», следовавших за ним на почтительной дистанции, когда он работал в посольстве.

Жорж Нива таких иллюзий не питал. Его идиллическая жизнь с Ириной сразу оборвалась после смерти Пастернака, наступившей 31 мая 1960 года на даче в Переделкино. Теперь, когда не стало Пастернака с его международной известностью, Ивинская с дочерью лишились своего знаменитого защитника. КГБ давно не терпелось засадить их на долгие годы в тюрьму: они поддерживали подозрительные связи с иностранцами, принимали от них подарки, а главное, владели авторскими правами на публикацию антисоветской книги Пастернака и получали за нее гонорары. Настало время разобраться с Ольгой и ее дочерью, помолвленной с иностранцем.

Вскоре после смерти Пастернака студентам курса, где учились Мервин и Жорж, делали в университетской поликлинике обычную прививку против оспы. У Мервина все прошло без осложнений, а у Жоржа появилась какая-то загадочная кожная болезнь. Болезнь настолько обострилась, что его пришлось срочно госпитализировать — как раз в тот день, на который было назначено бракосочетание. Свадьбу перенесли на июль, но сиделка, дежурившая у его кровати по утрам, расстроила их планы, тайком выпустив Жоржа из больницы на свидание с невестой. В результате Ирина тоже заболела.

Сначала ни Жорж, ни Ирина, ни даже ее мать, ветеран пыточных камер КГБ, не заподозрили, что молодых людей заразили намеренно, чтобы помешать их свадьбе. Но вскоре это стало очевидно, и Жорж и его будущая теща были просто

потрясены таким открытием. В конце июля истекал срок студенческой визы Жоржа, и, несмотря на его отчаянные просьбы, власти отказались ее продлить. Жоржа провожали в Париж только Мервин и мать Ирины. Сама Ирина была еще больна. Когда Ольга прощалась с Жоржем, она выглядела неважно: от ее прежней живости не осталось и следа, вся она будто усохла. И он, и Ирина вскоре выздоровели, но им суждено было увидеться снова только через много лет.

Мервин решил взять короткий отпуск и пригласил с собой Вадима. Они полетели в Гагры, тот самый курорт на побережье Черного моря, где двадцать пять лет назад был арестован Борис Бибиков. Мервин с огромной радостью сбежал из Москвы с ее коротким, но жарким и душным летом, тем более после всех переживаний из-за казавшейся неизлечимой болезни Жоржа и Ирины и их вынужденного расставания. На юге воздух был теплым и ароматным, здесь не ощущалось серого уныния советской жизни, местные жители были гостеприимны и словоохотливы, а не защищались от посторонних грубостью.

Мервин почувствовал себя спокойнее. Вся эта затея КГБ лопнула, надеялся он, и Алексей оставил свою надежду завербовать его. Из осторожности он ничего не рассказывал Вадиму — по-прежнему уверенный, что Вадим не имеет отношения к вербовке. Они лежали на пляже под жарким южным солнцем, где Мервин едва не обгорел, или гуляли по набережной. Как-то раз Мервин пригласил к себе в номер симпатичную общительную студентку, и та без колебаний согласилась. И вдруг через несколько дней Мервина позвали к телефону. Это был приехавший в Гагры Алексей. Он пригласил Мервина выпить по бокалу шампанского в парке недалеко от гостиницы. Их встреча под покровом сумерек и оглушительное кваканье лягушек была короткой, но деловой. Алексей, как всегда элегантный и степенный, сердечно поздоровался с Мервином. Свободен ли Мервин вечером? Отлично. Они договорились встретиться позже, в девять часов в гостинице, Алексей тут же попрощался и уверенно зашагал по хрустящему гравию.

Мервин не рассчитывал, что их встреча будет приятной, и не ошибся. Алексей представил Мервина своему «боссу», Александру Федоровичу Соколову. Это оказался пожилой грузный человек в мешковатом отечественном костюме и дешевых сандалиях. Соколов был явно профессионалом старой школы КГБ и с нескрываемым презрением относился к своему младшему фатоватому помощнику и к пришедшему с ним избалованному иностранному юноше.

Алексей приступил к делу с полной серьезностью. Он говорил о «карьере» Мервина, о его «намерениях», о том, что Советский Союз является «единственным в мире свободным и справедливым обществом». Наверняка знакомый с досье, составленным в КГБ, Соколов угрюмо заметил, что отец Мервина был настолько беден, что даже не знал вкуса вина. Неужели Мервин не хочет воспользоваться возможностью отомстить системе, которая так угнетала его отца? Очевидно, подумал Мервин, в записи КГБ не попали сведения о выпитых его отцом галлонах пива и ящиках виски.

Через два часа посыпались угрозы.

— Нам известно, — строго предупредил Алексей, — о твоих аморальных связях. — Если об этом станет известно комсомольской организации, — проворчал Соколов, — в газетах поднимется большая шумиха, и вас с позором исключат из университета и выгонят из страны.

«Ну, это уж полная ерунда», — подумал Мервин. Этих так называемых «аморальных связей» было всего несколько — единственное посещение публичного дома в обществе Вадима, Нина из Бухары, девушка на даче дядюшки Вадима, и еще одна девушка, которая жила в странном круглом доме около Министерства внешней торговли в Москве, да студентка в Гаграх. Все это были весьма скромные шалости, особенно по сравнению с выходками Валерия Шейна и даже Вадима.

— Пора вам сказать окончательно: да или нет? — Алексей и Соколов выжидающе смотрели на Мервина.

— Тогда мой ответ будет — нет, — сказал он. — Ничто не убедит меня работать против моей страны.

В ту ночь, сидя на кровати и обдумывая возможные последствия своего отказа, Мервин понял, что медлить нельзя. Скандала он не боялся, но КГБ мог добраться до его друзей. Ему приходилось слышать о сфабрикованных обвинениях, подстроенных несчастных случаях, арестах за хулиганство, лишение прописки. Он решил упаковать вещи, первым же рейсом вернуться в Москву и покинуть Советский Союз, возможно — навсегда.

Но это было не так просто. Несколько дней после возвращения Мервина в Москву ему звонил Алексей с попытками помириться. Он уверял моего отца, что на самом верху было принято решение больше не предлагать ему известной работы. Под предлогом, что у него есть новости для Мервина, Алексей даже уговорил его еще раз пообедать в ресторане.

— Помнишь, ты говорил мне об Ольге Всеволодовне

Ивинской? — небрежно заговорил Алексей, когда они приступили к обеду, возможно их последнему. — Так вот, ее только что арестовали по обвинению в контрабанде. Она занималась торговлей свободной валютой и другими сомнительными делишками. Она полностью испорченный человек.

Алексей продолжал есть, а Мервин ошеломленно уставился в свою тарелку.

— Я же говорил тебе, что это плохая семья, — продолжал Алексей. — На твоем месте я держался бы от них подальше.

Потрясенный Мервин смотрел, как Алексей снова спокойно наполнил свой бокал. Его лицо было безучастным. Через две недели после ареста Ольги забрали и Ирину, прямо с больничной койки, и отвезли для допроса на Лубянку. Вскоре Ирина, страстная поклонница балета и тонкая ценительница искусства, была осуждена на три года и хлебнула лагерного лиха вместе с матерью. Больше Мервин никогда о них не слышал. Это была не игра — наконец-то дошло до сознания Мервина. Совсем не игра, и он стал поспешно готовиться к возвращению в Оксфорд.

Глава 10
Любовь

Приключения — поистине замечательная вещь.

Мервин Мэтьюз — Вадиму Попову, весна 1964 года

Особенно когда они позади.

Вадим Попов

В Москве времен моего отца жизнь подчинялась строгим государственным законам и установленным нормам поведения, таким же неизменным, как цены на продукты в муниципальных магазинах. Большинство советских людей его поколения всю жизнь проживали в одной и той же квартире, работали на одной и той же работе, покупали бутылку водки за 2 рубля 87 копеек и десятилетиями ждали своей очереди на приобретение машины. Время измерялось от отпуска до отпуска, от одного театрального сезона до другого, от выхода в свет одного тома сочинений Диккенса до следующего.

Когда я сам приехал в Москву через сорок лет, она будто наверстывала упущенное время. Город стремительно принимал современный облик, который менялся, казалось, за одну ночь — притом каждую ночь. Сегодня вы вдруг видели молодых людей с прической «цезарь» и в свитерах DKNY — вместо вчерашних короткостриженных, в малиновых пиджаках. На месте прежних бакалейных магазинов появлялись интернет-кафе, где можно было приобрести модную одежду. С пугающей быстротой возникали сияющие новеньким никелем и мраморными полами торговые центры с эскалаторами и автоматами для обмена валюты. Через некоторое время я настолько привык к постоянным переменам, что они стали казаться нормальными: там поднялась восстановленная из руин церковь, здесь появилось новое здание крупной коммерческой компании, и все это росло как грибы после дождя. По сравнению с Москвой Лондон казался старомодным и консервативным. Может, остальная Россия тихо рушилась, но Москва жирела одновременно с разграблением страны.

Куда бы я ни отправлялся в поисках сенсаций для газетной статьи, я любой ценой стремился попасть на какую-нибудь

вечеринку. Мой отец любил отдыхать и развлекаться в шумных цыганских ресторанах. Спустя поколение, благодаря свободе и внезапно появившимся деньгам, московские вечеринки приобрели характер неслыханного разгула и несусветной дикости. В клубе «13», расположившемся в обветшалом дворце прямо за Лубянкой, пока вы поднимаетесь по лестнице, вас хлещут плеткой карлики, одетые в костюмы Санта-Клауса. Перед входом в «Титаник», излюбленное место сборищ воротил преступного мира, выстраиваются десятки черных «мерседесов», а за столиками, похожими на иллюминаторы, стайки девушек ждут, когда с ними заговорят красавцы с бычьей шеей. В «Шансе», в гигантских аквариумах со стеклянной передней стенкой, плавают обнаженные мужчины. Однажды я провел вечер в казино «Жар-птица» в обществе самого Чака Норриса, правда, уже постаревшего, и его гостя Владимира Жириновского.

Иногда я осмеливался заходить в бар под названием «Голодная утка». В так называемые «вечера для дам», от шести до девяти вечера, сюда допускались только женщины и несколько друзей хозяина. Секрет заключался в том, что в это время посетителям предлагали неограниченное количество алкогольных напитков, и в результате туда битком набивались потные девушки-подростки, которые с жадностью осушали свои бокалы. В зале стоял тяжелый запах пота, а вид визгливых женщин, осаждающих круглую стойку бара, производил такое же жуткое впечатление, как толпа разъяренных зулусов в погоне за Рурком. Затем в бар вплывали мужчины-стриптизеры, которые выдергивали из толпы девиц и раздевали их догола прямо на полу, усеянном пробками от пивных бутылок. Владелец бара, канадец Дуг Стил, который при зеленоватом освещении становился похожим на Мефистофеля, наблюдал за этим безумием с довольной усмешкой, как капитан Куртц в своем частном «Иннер-стейшн». К девяти вечера, когда начинали пускать мужчин, охранники убирали пьяных, обнаженных по пояс девушек, заснувших на залитой пивом стойке или распластавшихся на полу, и рядами укладывали их на полу в фойе. Вскоре начинались знаменитые русские драки, ожесточенные, с вытаращенными глазами, с битьем бутылок, швырянием пивных кружек и переломом костей, — побежденных, потерявших сознание, относили вниз к пьяным.

Однажды я пошел на вечер, устроенный знаменитым исполнителем рэпа Богданом Титомиром в его собственной квартире, одновременно служившей диско-клубом, где стекла дребезжали от оглушительной музыки, несущейся из мощных динамиков, и парочки выбегали целоваться на заднем сиденье его

«хаммера». Там я впервые увидел Яну, когда она, освещенная строб-вспышками, пробиралась сквозь стелющийся сигаретный дым, мимо блондинок, тесно усевшихся на ярко-синем диване Титомира, мимо сплетенных тел в алькове с полузадернутой шторой к столику с пакетиками кокаина. На ней была крохотная мини-юбка с рисунком из сверкающих глазок Форнасетти, которые соответствовали странному блеску ее глаз при свете люминисцентной лампы, что висела над столиком. Она ловко насыпала себе на руку полоску порошка толщиной с веревку палача и втянула его ноздрями. Потом отбросила назад свои светлые волосы и посмотрела мне прямо в глаза. И вдруг подмигнула.

— Вкусно и полезно, — улыбнувшись, сказала она, цитируя слоган ролика, рекламирующего кашу, и протянула свернутый в рулончик счет.

Позже я нашел ее на пороге квартиры Богдана. Она сидела, свесив руки между колен, и курила. Я опустился рядом. Бросив на меня взгляд, она затянулась сигаретой, зажатой в уголке рта. Мы разговорились.

Яна была типичной представительницей золотой молодежи Москвы — богатая, умная, из привилегированной семьи и — совершенно потерянная. Отец ее раньше служил дипломатом в Швейцарии, мать — из старинной интеллигентной петербургской семьи. В Яну была влюблена половина московских мужчин, и чем презрительнее она их отвергала, тем больше им нравилась. Она обладала поразительной способностью создавать ситуации, которые очень помогали в ее рассянной и прихотливой жизни, уместившейся в двадцать лет. Легкость, с какой она перелетала из одной среды в другую, меняла квартиры, поклонников, места и даты свиданий, просто изумляла, а ее ветреность и непостоянство были положительно невыносимы. Она отличалась невероятно бурным, каким-то стихийным темпераментом, временами становилась капризной и эгоистичной, как ребенок. Яна постоянно подвергала испытаниям свое окружение, появляясь перед ним в самых диких карикатурных образах на самое себя, надевая маску то одной, то другой социальной группы. И, как многие одинокие — в глубине души — люди, она жаждала быть любимой и знаменитой, но предпочитала, чтобы ее любили издалека. И в этом заключался главный парадокс: чем более известной она становилась, тем труднее было любить в ней именно ее.

Мы встречались в «Траме», месте сборищ нуворишей рядом с Пушкинской площадью, со стульями из стальных трубок и матовыми черными столиками, и после легкого, но безумно

дорогого обеда она тащила меня куда-нибудь на вечеринку. Одна из них проходила в декорациях, построенных для съемок фильма «Мушкетеры двадцать лет спустя» на студии «Мосфильм», — это был запутанный лабиринт фанерных фасадов восемнадцатого века с балкончиками, переходами и винтовыми лестницами. На крыше кареты, запряженной лошадьми, танцевали девушки в украшенных перьями курточках и в коротких штанишках под восхищенными взглядами красивых парней с прилизанными волосами и в джинсах «босс». Другая вечеринка была в Театре Советской Армии, в нелепом здании сталинской эпохи в форме звезды и с неоклассическими колоннами. Вместо балалаечной феерии, которая устраивается на День Победы, проводилось празднование Дня ярких цветов, вакханальный бред с участием множества длинноногих девиц в стальных бюстгальтерах и обритых наголо мужчин в меховых зеленых шубах. Раза два я мельком видел Яну в больших очках от солнца — видно, у кого-то одолжила — бешено скачущей в танце на краю вращающейся сцены. Стремительно проносясь мимо меня, она выкинула вверх руку со стиснутым кулаком и пронзительно крикнула: «Давай! Давай!»

При всей аморальности московской жизни, мне нравился жар этого костра тщеславия. Я решил, что столкнулся с чем-то темным, трепетным и совершенно неотразимым. Деньги, грех, красивые люди — все это было роковым, обреченным на гибель, эта красота была мимолетной, как Яванские огненные скульптуры. Распаленная энергия красивых обманутых молодых людей и девушек могла бы освещать эту деградирующую страну в течение века, если направить ее в иное русло, не ведущее к саморазрушению и беспамятству.

Мы с Яной встречались почти полгода. Ее яркая личность изменила меня, сделала в чем-то лучше и смелее. Мне не верилось, что это изящное экзотическое существо живет рядом со мною. Не может этого быть, твердил я себе. Я даже не ревновал, когда она по-своему флиртовала и целовалась с другими. Я просто дожидался, когда на меня упадет луч ее очарования, и этого было достаточно. Каждый раз, когда она отказывала всем богатым парням и мы вместе возвращались домой, мне это казалось настоящим чудом.

В редкие моменты она сбрасывала с себя все наносное и становилась кроткой и беззащитной, более юной и простой. Вот эта Яна, которая терпела мое общество, а не эффектная девушка с вечеринки у Богдана, Яна без косметики, в подаренном мною русском морском бушлате и шелковых военных брюках, шагает по

Москве в высоких сапогах, к счастью, инкогнито.

Потом случилось то, чего я все время опасался и ждал, — она потеряла ко мне интерес, и я не стал ее удерживать, успокаивая себя тем, что лучше сохранить свою сексуальную энергию для земных существ, чем для этого небесного создания.

Но когда наши встречи прекратились совсем, я затосковал и погрузился в такую тяжелую депрессию, что мне не хотелось вылезать из кресла. «Она могла бы стать отличной первой женой», — с принужденной шутливостью говорил я своему самому близкому другу из «Москоу таймс», репортеру Мэтту Тайби. Я нашел, что моя квартира слишком напоминает о моей неискушенной юности до Яны. Поэтому переехал в квартиру одного своего приятеля на время, пока тот был в отъезде, и целыми днями валялся на его старом продавленном диване и курил. Мне показалось, что необходимо отметить этот трагический момент моей жизни каким-нибудь актом мазохизма, и я попросил Мэтта принести электрическую машинку для стрижки волос. И вот я уселся перед широким окном на десятом этаже, откуда открывался великолепный вид на Кремль, а он сбривал мои школьные локоны, которые густыми прядями падали на разложенные на полу газеты.

Боль от моего решения отпустить Яну без борьбы — по принципу «лучше сейчас, чем потом» — оказалась глубже и сильнее, чем я думал. Меня терзала мысль, что я не откликнулся на зов Яны с ее эксцентричными причудами, потому что не смог вырваться из объятий здравого смысла. Эта разлука помогла мне повзрослеть. Ничего, думал я, со временем рана заживет, почти не оставив следа, и я буду жить дальше, как и прежде. Мне было горько, потому что моя подростковая тяга к богемной жизни оказалась не чем иным, как притворством, и я чувствовал себя униженным, так как ясно сознавал: Яна ушла потому, что я не смог ее удержать. Все это заставляло меня жестоко страдать, и я спасался тем, что с мстительным чувством возвращался к своей прежней, постыдной жизни, пытаясь заглушить боль сексом, а унижение — бравадой. Какое-то время это помогало.

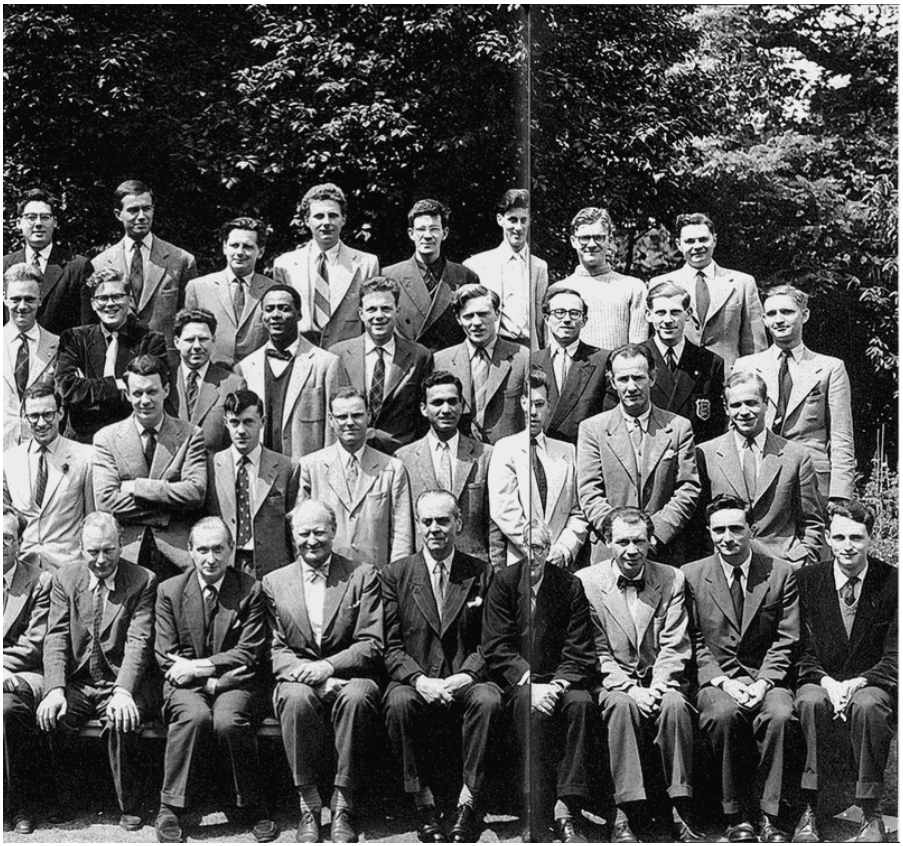
Примерно через полгода моя страсть к Яне утихла, и я ощущал лишь слабый укол в сердце, когда натыкался на ее фото в «Птюче» или в других глянцевых журналах, описывающих дикие фокусы столичной молодежи в элитных клубах. Я был ее новым другом, которому не суждено было стать старым — слишком мало времени, слишком много знакомств. Но мне нравилось думать, что среди тысяч отвергнутых мужчин, забытых впечатлений и вечеринок, где-то в невероятном калейдоскопе ее памяти мелькает порхающей бабочкой и мой образ. Яна была

слишком прекрасна, слишком совершенна для того, чтобы жить, поэтому я почти не удивился, когда осенью 1996 года как-то поздно вечером мне позвонил наш общий знакомый и сообщил, что Яну нашли изнасилованной и убитой недалеко от станции метро в одном из спальных районов столицы. Ни у кого — а тем более у милиции — не было ни малейшего представления о мотивах убийства.

Еще до ее смерти я всегда воспринимал Яну как дитя своего времени, чутко отзывающееся на глубинные, роковые ритмы. Я не представлял ее в каком-то ином городе, кроме Москвы, и не мог представить ее старой, скучающей, циничной, толстой, замужней. Вот почему мне кажется неизбежным, что в конце концов она стала жертвой новой России.

Она была удивительно светлой, чистой и жизнерадостной, когда вокруг все было проникнуто обманом и смертью. Но жестокая действительность сбросила ее с небес, как Икара, и швырнула вниз, на самое дно. Она умерла у станции метро в отдаленном районе, избитая, изнасилованная и задушенная каким-то человеком — незнакомцем, любовником? Кто знает? Если бы она была героиней моего рассказа, ей тоже суждено было бы погибнуть.

Мервин возвратился в Советский Союз в конце лета 1963 года, через три года после того, как покинул его. Руководство колледжа Св. Антония включило его в списки для очередного обмена студентами с МГУ. Он с облегчением решил, что раз советские власти позволили ему вернуться, следовательно, и для КГБ прошлое остается прошлым. Оказавшись в Москве, Мервин быстро восстановил прежние знакомства, разумеется, исключив Алексея и Вадима.



Мервин (сидит крайний справа) среди студентов колледжа Св. Антония. 1964 год.

Вскоре начнутся его приключения в России, оказавшиеся роковыми для академической карьеры в Оксфорде.

К тому времени Мервин уже устал от беспечной холостяцкой жизни. Ему шел тридцать второй год, и он готов был остепениться. Валерий Головицер сказал, что знает одну замечательную девушку, просто созданную для него. Кажется, Головицер был значительно умнее своих сокурсников и своего друга и двоюродного брата Валерия Шейна, который стремился втянуть Мервина в свой постоянный круг, куда входили красивые, модные и простоватые девушки.

Нет, девушка, про которую говорил Головицер, была такой же интеллигентной и романтичной, как сам Мервин, но при этом смелой и очень энергичной. Мервин заинтересовался, но идея назначить свидание не глядя показалась ему глупой. Он спросил, может ли он увидеть подругу Валерия Людмилу, прежде чем их познакомят официально.

Валерий предложил Мервину ждать у портика Большого

театра, когда они с Людмилой выйдут после спектакля, — там он ее и увидит. Подобная мысль могла зародиться только у человека совершенно не искушенного, она больше напоминала проказы из мольеровских пьес, чем завязку реального романа. Тем не менее в один из октябрьских вечеров Мервин терпеливо стоял под мокрым снегом на условленном месте и действительно увидел выходящую из театра слегка прихрамывающую молоденькую женщину, оживленно беседующую с Валерием.

Головицер пригласил молодых людей на чай в свою маленькую комнату. Мервин был представлен как эстонец, чтобы не смущать Людмилу знакомством с иностранцем. Миле больше всего в застенчивом «эстонце» понравилась его высокая гибкая фигура. А Мервин обратил внимание на ее серо-голубые глаза и необыкновенно добрый взгляд. В дневнике, который Мервин вел на редком, валлийском языке специально, чтобы посторонние не смогли его прочесть, он записал, что 28 октября 1963 года познакомился с девушкой «совершенно очаровательной и интеллигентной, и с очень сильным характером». Они договорились встретиться вновь, потом их свидания стали более частыми и долгими — они гуляли и говорили сразу обо всем. Вскоре мой отец уже постоянно наведывался к ней, в ее крошечную комнату в Староконюшенном переулке.

Во время одного из ежегодных приездов мамы в Москву мы с ней как-то отправились посмотреть ее жилище, которое она покинула тридцать лет назад. Дом стоял в глубине — с улицы нужно было пройти через две арки с разбросанным мусором. Ее комнатка находилась в доходном доме начала XX века, девятиэтажном, с толстыми стенами и решетками на окнах первого этажа. В подъезде пахло влажным картоном и плесенью, на грубо окрашенной мрачной коричневой краской двери остались те же звонки, отдельно на каждую комнату коммуналки. Я нажал на ту самую кнопку, на которую в 1963-м робко нажимал мой отец, держа в руке букетик гвоздик, и потом в 1969 году, когда он приехал за Милой, чтобы увезти ее с собой в Англию. Нам открыла молодая беженка с Кавказа, и мы объяснили, что здесь когда-то жила моя мама. Она со смущенной улыбкой впустила нас и сказала, что ее семья и пожилая соседка скоро получат новую жилплощадь, а здесь снесут все перекрытия, оставив только добротные кирпичные стены, и правительство Москвы продаст дом под квартиры класса «люкс». Коммуналка мало чем напоминала обычную квартиру. В ней был широкий коридор, застеленный истертым до дыр линолеумом, со стен свисали оборванные обои, и в двери каждой комнаты врезан

замок. В конце коридора — запущенная кухня с закопченной и облезшей побелкой, из стены торчали газовые трубы, но плита была уже отключена.

Комната мамы, размером не больше кладовки, теперь служила детской для двухлетнего малыша. Моя мама спокойно оглядела комнату, как будто искала что-то оставшееся от нее. Ничего не найдя, она повернулась, и мы ушли. Она не выглядела ни растроганной, ни расстроенной, и мы отправились за покупками.

В то время я тоже жил в Староконюшенном переулке, в доме конструктивистской постройки 30-х годов, где в длинных узких комнатах внутренние и наружные стены сходились под острым углом. Дом находился совсем близко от старой маминой квартиры, рядом с Арбатом. Вечерами я гулял по опустевшим переулкам, доходил до улицы Рылеева, где когда-то жил Валерий Головицер. Я спускался к Гоголевскому бульвару, где, держась за руки, гуляли мои родители, шел к метро «Кропоткинская», а потом обратно, к Сивцеву Вражку, по которому мама иногда ходила в Смоленский гастроном за продуктами. Эти улицы были полны воспоминаний для моих родителей, но пока не для меня. Я еще не читал их писем, не очень интересовался их прошлым и не замечал никакой связи между их Москвой и городом моего времени. «Мервин, представляешь, как ночной Москвой я иду по лужам к нашему дому?» — писала мама отцу в 1964 году. Он представлял. А теперь и я представляю.

В маленькой темноватой комнате с узким окном Мила занималась тем, чего ей не приходилось делать раньше, — она обустраивала свой дом. Потом, когда в ее жизни появился Мервин, она создавала семью.

> Осенью 1963 года я увидела тебя в первый раз, — писала она спустя год. — Я испытала что-то вроде внутреннего толчка, мгновенную, обжигающую уверенность, что ты именно тот человек, кого я смогу полюбить. Как будто частица моего сердца отделилась и стала самостоятельно и независимо от меня жить в тебе. Я не ошиблась. За короткое время я поняла тебя, и ты стал для меня таким близким, как будто я была с тобой с первых твоих шагов. Рухнули все барьеры — политические, географические, национальные, сексуальные. Весь мир разделился для меня на две половины: одна — это мы (ты и я), а другая — всё

остальное.

Сохранились все подробности тех девяти месяцев, когда мои родители были вместе в Москве, ведь почти шесть лет вынужденной разлуки они их вспоминали и заново переживали в своих письмах, словно перебирали драгоценности из ларца. Мила проигрывала в воображении каждую их легкую размолвку, каждый разговор, любовную сцену или прогулку как живое доказательство того, что все это им не приснилось, что у них действительно был свой дом, где они были вместе. «В моей памяти всплывает буквально каждая мелочь из нашей совместной жизни, — писала Мила. — Я живу воспоминаниями о том времени».

Возвращаясь из Ленинки зимними вечерами, Мервин сначала забегал к Валерию Головицеру поболтать и забрать новые пластинки, потом нырял в арку, чтобы оторваться от возможной слежки, и оказывался у квартиры Милы. Там он устраивался на диване с книгой, пока она на кухне жарила осетрину, его любимое блюдо. После ужина они долго гуляли по бульварам и переулкам, а потом разговаривали до поздней ночи. Ему нравилось ее варенье, которое она подавала в дореволюционных фарфоровых розетках фирмы «Гарднер», купленных в антикварном магазине и позднее привезенных с собою в Лондон. Тогда комната Милы с диван-кроватью, маленьким столиком и гардеробом становилась для влюбленных целым миром, и они забывали про соседей за стенкой, которые орут друг на друга или во весь голос распевают под аккордеон.

И Мервину, и Людмиле их любовь помогла обрести дом — два одиноких, недолюбленных в детстве человека, они нашли друг в друге то, чего им недоставало всю их вывихнутую жизнь. Большинство подруг Милы и ее старшая сестра вышли замуж совсем молодыми, а воспитанная на романтической русской литературе Мила, которая, несмотря на хромоту, пользовалась у мужчин успехом, до двадцати девяти лет не находила человека, отвечающего ее идеалу.

И вдруг перед ней, будто посланный Богом, возник высокий, стройный иностранец, мечтательный, застенчивый русофил с длинными тонкими пальцами, старательно выговаривающий гласные, удивительно порядочный и невинный (несмотря на свои греховные похождения в обществе Вадима и Шейна), безумно влюбленный в Россию, но не нашедший в ней дома. Мила воплощала в себе все, что Мервин любил в России, — ее огонь и страстность.

В свою очередь Мервин заполнил пустоту в жизни Милы,

придал смысл ее существованию, стал тем, кого ей недоставало, помог ей забыть сиротское детство и одиночество взрослой женщины. Она стала Мервину умной понимающей матерью, какой у него никогда не было. Он стал ее сыном, ребенком, о котором она заботилась так, как никто и никогда не заботился о ней самой, как будто, залечивая раны, оставшиеся у него с детства, она залечивала и свои. После тяжелой жизни Мервин появился как награда за все ее страдания.

> Жизнь не так уж жестока и несправедлива, раз она подарила мне тебя, — писала ему Мила, когда они жили по разные стороны железного занавеса. — Почему-то я вросла в тебя, и ничто не выманит меня из этого теплого и уютного уголка. В мире так мало любви и тепла, и если уж тебе повезло их найти, ты не позволишь себе потерять ни одной капли.

С Мервином Мила переживала свою первую настоящую любовь со свойственной этому чувству нравственной чистотой, глубиной и самоотверженностью. Свой эмоциональный опыт она черпала скорее из литературы, чем из жизни. Для нее язык любви был мелодраматичным, наивным и немного детским, но подкрепленным бурной страстью, в которой сказывалась вся она. Но не эротической, а подогреваемой ужасным страхом оказаться брошенной, страхом потерять эту единственную возможность вознаградить себя за несчастливую жизнь и забыть обо всех своих страданиях.

Для Мервина все обстояло немного иначе. Русских женщин привлекала его красота, они кокетничали с ним и охотно становились его любовницами. Но сам он никогда не испытывал особенного влечения к женщинам. Напротив, в их обществе его сковывала застенчивость, он не умел, подобно своим русским друзьям, вести себя с ними развязно и самоуверенно. Но вот появилась Мила, женщина с поврежденной ногой, но с прекрасной душой, преданная, совершенно чуждая женского коварства, с независимым мышлением, прежде всего друг и единомышленник, а уже потом — женщина, обладающая сердцем, полным любви, которую она щедро ему дарила.

> Мне хочется создать тебе все условия для хорошей, здоровой жизни, чтобы у тебя был уютный дом и вкусная еда, — писала Мила о том, как она представляет себе их будущее. — Мне будет так приятно помогать тебе в работе! Я уверена, что мы с тобой можем создать

> настоящую семью, связанную любовью и дружбой, взаимопониманием, желанием помогать друг другу. Все, что у нас есть, мы создали своими собственными руками и головой. Вместе мы всего сможем добиться!

Возможно, главную роль в их сближении сыграло то, что Мила поняла Мервина, как никто другой. «Я понимаю твое стремление избавиться от бедности и вырваться в большой мир, — писала она. — Я вижу, как ты, совершенно один, без покровителей и ясной дороги, пробиваешься в жизни и поднимаешься на ее вершины; я понимаю твои вкусы, интересы, твои слабости».

Однажды слякотным февральским вечером Мила и Мервин вышли из ее квартиры и направились к Гоголевскому бульвару. Там они расстались: Мервин повернул направо, к станции метро «Кропоткинская», а Мила налево, собираясь навестить кого-то из друзей. На прощанье они обнялись, и тогда, в сгущающихся сумерках Мервин вдруг осознал, пишет он в своих воспоминаниях, «как сильно любит эту прихрамывающую фигурку и не представляет без нее свою дальнейшую жизнь».

Он не знал, — да и откуда ему было знать! — как тяжело им придется бороться за эту любовь, как сильно она изменит их жизнь. Его любовь к Миле, как и любовь к России, началась с романтического увлечения. До сих пор он переживал лишь интригующие, но легкомысленные приключения. Однако то, что ожидало его впереди, заставит его измениться и призвать на помощь всю свою смелость и решительность.

Настал день, когда Мила отправилась с Мервином к своей сестре Ленине на Фрунзенскую набережную, что было верным признаком возросшей серьезности их отношений. За все годы, проведенные Мервином в России, он впервые должен был прийти в гости в семейный дом. Прежде ему приходилось бывать у друзей лишь в их холостяцких комнатах в университетском общежитии, как у Вадима, или в коммуналке, где жил Валерий Головицер.

Со стороны сестер приглашение иностранца домой — очень смелый шаг. Обе отлично понимали, что за Мервином могут следить кагэбэшники, но они с презрением проигнорировали возможные последствия. Однако для мужа Ленины Александра, который уже стал начальником финансового отдела Министерства юстиции, этот визит мог грозить серьезными неприятностями. Тем не менее Мервина радушно встретили, накормили традиционным домашним обедом: щи и котлеты, а

потом чай с тортом. Отбросив все опасения, его пригласили прийти еще раз — все семейство Васиных, включая двух дочерей-подростков, сразу полюбило Мервина, несмотря на непривычную сдержанность его манер.

Наступило лето, и Мила отправилась с Мервином на их дачу во Внуково — поселок всего в часе езды от Москвы, с характерным для России высоким небом, бесконечными полями, дачными участками и колодцами, откуда воду носили домой в ведрах. Мервин помогал Саше копать огород, сажать картошку и огуречную рассаду. Днем они наготовили сухих веток и березовых чурочек для самовара и с наступлением сумерек пили пахнущий дымком чай с черносмородиновым вареньем. Мила и Мервин подолгу гуляли в березовой роще, он в рубашке с коротким рукавом, она в сшитом по выкройке из журнала мод длинном платье с рисунком из куколок, с пояском на талии.

Когда мне было восемь лет, мама привезла меня и мою грудную сестру в Москву, и мы поехали на ту дачу. Мне страшно понравилось жить в маленьком деревянном доме со скрипучими половицами. В нем приятно пахло землей и солеными огурцами, в лучах солнца плясали золотые пылинки. Дни северного лета казались бесконечными, небо было сияющим и огромным. Хотя стояла жара, на пшеничных полях земля оставалась влажной, и там было полно лягушек и улиток. В небольшом пруду водились окуньки, и я однажды поймал одного и принес домой в банке с водой. А ночью моя рыбка умерла, и меня охватило такое горе и чувство вины, что я побежал в сад, вырыл голыми руками ямку и торжественно ее похоронил.

Несмотря на отчаянную борьбу дяди Саши с сорняками, на огороде буйно разрослась высокая трава. Ленина посмеивалась: он посадил три мешка картофеля, а собрал два. Впрочем, возможно, виной тому были мы, мальчишки, — как ни странно, я очень быстро подружился с деревенскими ребятами, и мы бегали одной ватагой. Так вот, днем, когда взрослые шли вздремнуть, мы тайком подкапывали картошку, старательно втыкали на прежнее место ботву и убегали с нашей добычей в лес, где пекли картошку на костре.

Мы часто ходили в лес по грибы и ягоды. Этот извечный обычай, кажется, стал частью жизненного уклада русских — все деревенские жители с увлечением собирали дары природы. В лесу — после жары в поле и пыли на улице — было сумрачно и прохладно. Здесь был типичный для России березовый лес, такой огромный, что в нем и заблудиться недолго. После того как однажды мне на руку вползла огромная сороконожка, я стал

бояться искать грибы под опавшими листьями. Там, в лесу, действительно был русский дух, там Русью пахло. Стоило сойти с тропинки, как лес сразу казался первобытным и дремучим, полным таинственных теней и шепота, совсем иным, чем лес в Англии.

Древний самовар существовал на даче еще с отцовской юности, и я собирал для него сосновые шишки, хотя, чтобы развести настоящий огонь, их всегда оказывалось маловато. За чаем с домашним вареньем я расспрашивал дядю Сашу о войне и о его танке, и он терпеливо отвечал на все мои вопросы. Старая родственница, помогавшая моей тете по хозяйству, которую все звали бабка Симка, выговаривала мне за то, что я совершенно ничего не знаю про Великую Отечественную войну, и я упорно продолжал свои расспросы. Вечерами мы с ребятами играли в Гражданскую войну, разделившись на белых и красных. Высшей честью для каждого мальчишки было тащить за собой на маленькой платформе деревянную модель пулемета «Виккерс», вырезанную дедом одного из ребят. Когда мы, бывало, тянули ее за веревочку по ухабистой деревенской улице и проходили мимо дачи, Саша подбадривал нас возгласом: «Мир Стране Советов!»

Вечером 27 марта 1964 года Мервин ужинал у Милы в ее комнатушке. Как человек очень ответственный и серьезный, он решил некоторое время выждать, прежде чем сделать ей предложение. Но когда они пошли в кухню, чтобы отнести грязную посуду, он неожиданно для себя вдруг выпалил:

— Давай зарегистрируемся!

— Мервуся! — воскликнула Мила, назвав его придуманным ею уменьшительно-ласкательным именем.

Они пылко обнялись прямо в кухне. Но она не сказала «да», а предложила Мервину как следует поразмыслить: вдруг он передумает? В коридоре они расцеловались на прощанье, и Мервин зашагал к метро.

На следующий день Мервин снова пришел к Миле, и она дала согласие. Молодые люди сразу отправились на улицу Грибоедова, где находился Дворец бракосочетаний — единственное место, где регистрировались браки с иностранцами. В атеистическом Советском Союзе людей сочетали браком не именем Господа, а от имени Государства; зал бракосочетаний украшал бюст Ленина, а с пластинки, которую ставила хмурая старая женщина, неслись звуки музыки Прокофьева. Мервин с Милой дождались своей очереди в кабинет директора. Там им сказали, что самое раннее, на что они могут рассчитывать, это 9 июня, почти через три месяца. Они согласились и получили приглашения, на которых

стояла назначенная дата их бракосочетания, и талоны в специальный магазин для новобрачных. На улице они расстались — отец на троллейбусе поехал в Ленинскую библиотеку, а мама вернулась на работу.

Долгая московская зима подходила к концу. По вечерам Мервин сидел за маленьким столиком Милы и при свете настольной лампы делал выписки из своих книг, а она вязала, уютно устроившись на диване. По дороге домой они часто заходили в магазин, где покупали для Мервина книги и грампластинки, а молоденькие продавщицы с любопытством и завистью посматривали на ее высокого застенчивого жениха. Обычно последним поездом метро он возвращался в свое общежитие, но иногда оставался, и тогда они по очереди, на цыпочках, как подростки, пробирались в ванную, а рано утром, пока соседи не проснулись, Мервин потихоньку выскальзывал из квартиры. Наконец-то оба были счастливы.

■

Но их идиллия продолжалась очень недолго. В мае, после встречи в университете со своим научным руководителем, Мервин заметил за собой слежку необычно большой группы кагэбэшников. Днем у него была назначена еще одна встреча с университетским приятелем Игорем Вайлем, но из-за «хвоста» он позвонил ему и предложил перенести ее, выразительно намекнув, что «не хотел бы к нему заходить из-за некоторых обстоятельств».

Мервин нервничал, поскольку несколько недель назад продал Игорю красный джемпер и должен был забрать у него деньги, которые тот не смог отдать ему прежде. Еще Мервин принес свой старый коричневый костюм и попросил отнести его в комиссионный магазин — это разрешалось только москвичам. Теоретически оба поступка были незаконными, как и вся частная коммерция в Советском Союзе. Забрав костюм, Игорь сказал, что продаст его по более выгодной цене, чем предложат в комиссионке, одному африканцу, студенту университета. Когда Мервин позвонил, голос Игоря показался ему необычно напряженным, но тот все-таки уговорил его зайти.

Вайль с матерью занимал комнату в коммунальной квартире на Кропоткинской улице. Он с преувеличенной сердечностью встретил Мервина в дверях. Матери дома не было, но на диване сидели двое мужчин среднего возраста.

— Это мои друзья, — буркнул Игорь, — хотят купить тот коричневый костюм, помнишь, который ты принес мне для продажи.

— Да, нас интересует все, что вы хотите продать, — сдержанно сказал один из мужчин.

Наступила долгая пауза, затем Мервин повернулся, собираясь уйти. Это была поразительно неловко подстроенная ловушка, и с вспыхнувшим страхом Мервин сообразил, кто и зачем должен был ее подстроить. Игорь продолжал отчаянно улыбаться. Тот человек, который говорил, поднялся с дивана и, предъявив красное удостоверение, заявил, что Мервин задерживается за спекуляцию.

В полном молчании милиционеры отвели Мервина и Игоря в ближайший милицейский участок, 60-е отделение в Малом Могильцевском переулке, недалеко от Смоленской площади. После короткого ожидания Мервина ввели в кабинет дежурного следователя, капитана Мирзуева, тот томительно долго составлял длинный протокол о задержании, в котором поступок Мервина расценивался как развращение советской молодежи и спекуляцию. Но Мервин отказался подписывать протокол и попросил милиционера проводить его к телефону. Он отлично знал, кто стоит за всей этой историей, и чувствовал легкое превосходство при одной только мысли, что его преследователи выше по положению, чем обыкновенный капитан милиции.

— Мне нужно позвонить в КГБ, — сказал Мервин, и капитан тут же провел его к телефону дежурного.

Мервин набрал сохранившийся в записной книжке номер Алексея, который тот дал ему несколько лет назад. Ответил незнакомый женский голос. Ничуть не удивившись, что звонят из отделения милиции, женщина выслушала его рассказ и предложила спокойно ждать Алексея.

Через полчаса в кабинет следователя явился Алексей, как всегда одетый модно и элегантно. Они не виделись почти три года. Окинув Мервина неодобрительным взглядом, он с недоуменным видом спросил, что случилось. Мервин решил не портить ему игру и подробно рассказал о происшествии.

— Ты понимаешь, Мервин, что это очень серьезное обвинение, — холодно сказал Алексей. — Очень серьезное.

Быстро переговорив с капитаном, Алексей без всяких формальностей увел Мервина из отделения и предложил сесть в ожидавший их «ЗИЛ». Видно, Алексей поднялся выше по служебной лестнице в КГБ, думал Мервин по дороге к Ленинским горам. Алексей пытался завести с ним разговор, вежливо расспрашивал его о матери. Мервин сказал, что она больна и что ее состояние ухудшится, если она узнает, в какую передрягу попал ее сын.

— Да, Мервин, — сказал Алексей. — У тебя начались проблемы.

Больше им нечего было сказать друг другу, пока они ехали в

университет, сидя рядом на просторном заднем сиденье «ЗИЛа».

■

Вечером, глядя из окна своей комнаты на огни Москвы, Мервин напряженно размышлял, что делать. Он был уверен, что скоро Алексей снова предложит ему работать «на благо народа Советского Союза». До назначенного бракосочетания оставалось полтора месяца, и если он неправильно разыграет свои карты, Советы могут выслать его из страны или на пару лет засадить в тюрьму. Необходимо было продержаться эти полтора месяца.

На следующий день Мервин сообщил Миле о «провокации, устроенной против него КГБ». Мила, которая порой при обычных обстоятельствах проявляла поразительное безрассудство, в критические моменты ухитрялась сохранять полное спокойствие. Она невозмутимо налила Мервину чаю.

— Что ж, надо бороться, — сказала она и придвинула ему блюдечко со своим вареньем.

С исключительной наивностью Мервин надеялся, что сумеет морочить КГБ достаточно долго, чтобы успеть жениться на Людмиле и навсегда увезти ее в Англию.

К сожалению, у КГБ были совсем другие планы. Последовало несколько напряженных встреч в гостинице «Метрополь» со старыми противниками Мервина — Алексеем и его начальником Александром Федоровичем Соколовым. Мервин пытался уклониться от ответа, убеждая их в своем сочувствии делу мира и взаимопонимания. Сотрудники КГБ настойчиво добивались прямого ответа. Соколов вырос в то время, когда подобные капризы подавлялись простым применением грубой силы. Он резко обрывал разглагольствования Мервина — так он будет работать на КГБ или нет? Взбешенный отчаянными попытками моего отца вывернуться, он становился агрессивным, стучал кулаком по столу. В конце одной из встреч, которая оказалась последней, Мервин ясно понял, что терпение КГБ скоро истощится, если уже не истощилось.

С тех пор как мне стала известна эта история, отказ моего отца всегда казался мне поступком благородным и принципиальным. Но с другой стороны, я находил его необъяснимым. Сейчас, когда я об этом пишу, мне вдруг пришла в голову мысль, что, если бы я сам оказался перед выбором расстаться с любимой женщиной или согласиться работать на КГБ, я без колебаний подписался бы там, где мне укажут. Что бы я ни думал о КГБ, свое личное счастье я поставил бы выше всего остального. И сам не знаю, кроется ли различие в наших с отцом взглядах на эту проблему в принадлежности к разным

поколениям или в наших характерах.

Мой отец принадлежит к тому поколению, чьи отцы добровольно шли под пулеметный огонь и погибали за Короля и Отечество. Он рос в эру конформизма, и хотя в жизни часто поступал как индивидуалист, ему и в голову не приходило поддаться на уговоры КГБ и предать свою страну. При этом вопрос выбора перед ним даже не возникал: свойственное ему чувство порядочности и чести не допускало ничего подобного. Несмотря на свой давно укоренившийся цинизм в отношении политики, он всегда любил свою страну. Ему пришлось дорого заплатить за свои принципы.

Вскоре Мервин получил официальное извещение о том, что назначенное на определенный день бракосочетание аннулируется, поскольку против него «возбуждено уголовное дело» — что не соответствовало действительности, ибо этот вопрос только рассматривался. В КГБ неоднократно вызывали Валерия Головицера, с которого взяли подписку строго хранить все в тайне, но через общих знакомых он сумел сообщить Мервину, что попал в переплет. Отец, который к этому моменту уже серьезно опасался дальнейших шагов КГБ, понял, что его упорство вредит его друзьям.

Он решил, что единственный способ остановить эту разворачивающуюся спираль мести — попытаться переговорить с лидером лейбористов Гарольдом Вильсоном, который тогда был еще и лидером оппозиции. Вильсон находился в Москве на переговорах с Советами, которые живо интересовались шансами лейбористов на очередных выборах. Вечером в день прибытия Вильсона Мервин подъехал на троллейбусе к гостинице «Националь» и, поскольку он был иностранцем, благополучно миновал охрану и нашел апартаменты Вильсона. Дверь открыл сам Вильсон, но когда Мервин стал рассказывать о своих проблемах и попросил его лично поговорить с Хрущевым, Вильсон, улыбаясь, вежливо, но твердо отказался. Через два дня Мервин встретился с министром иностранных дел теневого кабинета Вильсона, Патриком Гордоном Уолкером и получил еще более решительный отказ. Уолкер дал моему отцу нелепый совет — обратиться в посольство.

Несмотря ни на что, Мервин с Людмилой решили в назначенный день явиться во Дворец бракосочетаний. Мила надела белое льняное платье, вышитое жемчугом, у Мервина в кармане пиджака лежали купленные им массивные обручальные кольца красного золота.

В свидетели отец пригласил нескольких иностранных

журналистов, что в итоге только ускорило завершение его игры с КГБ. Помимо дюжины агентов, присутствовал глава иностранной прессы в Москве Виктор Луи из «Ивнинг ньюс», таинственный человек российского происхождения. Директор Дворца бракосочетаний сочла за лучшее вообще не появляться в этот день на работе. Ссылаясь на указание «руководства» исключить из списка назначенную на сегодня регистрацию брака Мервина и Милы, замдиректора категорически отказалась ими заниматься. Виктор Луи от имени молодых людей решительно потребовал назвать «действительные юридические основания» для отказа поженить пару. Бюрократы прибегли к испытанной советской практике «тянуть время», то есть ничего не делать и только отмалчиваться, и к вечеру боевой настрой тех, кто пришел на церемонию бракосочетания, уступил место отчаянию, и все они разошлись по домам.

Мой отец предчувствовал скорую высылку за его провалившуюся публичную акцию и решил окопаться в квартире Людмилы. Не найдя Мервина в общежитии, иностранная пресса заявила о его исчезновении. Два дня Мервин и Мила надеялись, что совершится какое-нибудь чудо и все закончится благополучно. Мила позвонила на работу и сказалась больной, и они заперлись в ее комнате, лишь по вечерам украдкой выходя на прогулку по арбатским переулкам. Но их безнадежную попытку оттянуть конец нарушил телефонный звонок в коммуналке. Мервина пригласили срочно явиться в Британское посольство.

У входа в канцелярию его встретили двое служащих посольства и повели вниз, в «пузырь», в специально оборудованную будку, где они могли поговорить, не опасаясь, что их подслушают люди из КГБ. Для столь секретного разговора имелась серьезная причина: Мервину сообщили, что у Форин-офиса «есть основания считать, что Мила подослана КГБ», но они не смогли привести ни единого доказательства. Позднее Мервин вспоминал о своей реакции на это обвинение как о самом достойном поступке за всю свою жизнь, еще более достойном, чем отказ сотрудничать с Алексеем: он с отвращением встал, вышел без единого слова и покинул посольство.

Но хотя эта сцена вызвала в нем совершенно искреннее возмущение, бравада его была напускной. Охваченный полным отчаянием и ощущением надвигающейся катастрофы, он вернулся в свое маленькое убежище в Староконюшенном переулке, ожидая теперь уже неминуемого конца. На следующий день, 20 июня, в квартиру позвонили двое служащих Британского посольства и вручили ему письмо. Появление иностранцев вызвало шок у соседей по коммуналке.

В письме сообщалось, что посольство получило официальное заявление Министерства иностранных дел СССР о том, что некий Уильям Хейдн Мервин Мэтьюз, аспирант МГУ, отныне считается в Советском Союзе *persona non grata* и должен немедленно покинуть страну. Через несколько минут в дверь квартиры позвонил милиционер, явившийся в сопровождении дворника, и заявил, что Мервин проживает в этой квартире без прописки, а потому должен пройти с ним в отделение милиции. Ему пришлось подчиниться.

Его усадили в милицейскую машину, которая быстро промчалась через центр, тогда еще не перегруженный движением, и свернула на Лубянку — тут Мервин с ужасом подумал, что его везут в КГБ, — но машина проследовала дальше и доставила его в ОВИР на улице Чернышевского. Там Мервину заявили, что его виза просрочена, поэтому он должен немедленно покинуть Советский Союз. Присутствовавший при этом служащий Британского посольства вызвался помочь Мервину приобрести билет на уже укомплектованный рейс на Лондон, который вылетал завтра, 21 июня 1964 года. Мервина настолько возмутила угодливость британца перед советскими властями, что он отказался говорить по-английски, и служащему посольства пришлось вызвать переводчика.

Последнюю ночь Мерлин провел у Милы. Он даже не стал возвращаться за своими вещами в университетское общежитие. Оба были просто раздавлены горем. Утром осунувшаяся, потрясенная Мила поехала с Мервином на такси в аэропорт Внуково. Они обнялись на прощанье. Когда Мервин прошел паспортный контроль и пропал из виду, — возможно, навсегда! — ее охватило такое же горькое отчаяние, какое она испытала, когда у нее отняли родителей.

> Господи, какие жуткие минуты я провела в аэропорту! Я стояла одна, в уголке и, захлебываясь слезами, смотрела вслед твоему самолету, — писала Мила Мервину через несколько дней. — Таксисты сочувственно спрашивали, что случилось, сказали, что отвезут меня бесплатно, если у меня нет денег. Я долго не решалась уехать и все бродила там, надеясь на чудо, на то, что ты вернешься.

Глава 11
Мила и Мервуся

Моя любовь сильнее их ненависти!

Из письма Милы Мервину

Солнечным летним утром Мервина разбудило пение птиц в ухоженном английском саду. Снизу, из кухни, доносилось звяканье посуды и бормотание радио Би-би-си. В голове теснились воспоминания о последних днях, скорее похожих на какой-то кошмарный сон.

«Он упрямый дурак, и ему следовало быть осторожнее», — заявила накануне его мать корреспондентам «Дейли экспресс» и, конечно, относительно его упрямства не ошибалась. Но дело было не только в упрямстве. Всю жизнь Мервин восставал против навязываемых ему обывательских взглядов на жизнь. Теперь настало время бороться за право жениться на Миле.

В то утро он все тщательно обдумал и решил, что приложит все силы, чтобы вызволить Милу из России. Прагматик по натуре, он дал себе на это пять лет. Если за этот срок он не добьется успеха, что ж, придется признать свое поражение и как-то жить дальше.

Мервин превратил в кабинет одну из спален в небольшом доме своего сводного брата Джека в Барнесе. Отсюда он стал звонить по телефону, возобновляя старые знакомства. Первым делом он обратился в колледж Св. Антония. Директор колледжа Билл Дикин с тревогой следил за прессой, где описывались студенческие приключения Мервина в Москве. Дикин предложил Мервину встретиться уже на следующий день в шотландском рыбном ресторане в Мейфере. Это был величественного вида человек, патриций до кончиков ногтей. Во время войны он был тесно связан с Черчиллем и проник в Югославию, спрыгнув с парашютом, для переговоров с партизанами Тито совместно с сэром Фицроем Маклином. Хотя Мервин любил и уважал Дикина, тот принадлежал к тому кругу влиятельных лиц, от которых ему впоследствии пришлось защищаться.

До отъезда Мервина в Москву Дикин едва его замечал, но теперь, когда по вине этого застенчивого валлийца название их колледжа стало появляться на первых полосах газет, он счел, что настало время для серьезного разговора. Обед был дорогим, но

посредственным — мой отец даже подумал, что Алексей угощал его куда лучше, — правда, потягивающий виски с содовой Дикин был с ним очень любезен. Расспрашивая Мервина, он прежде всего хотел выяснить, не замешан ли его бывший студент в каких-либо преступных действиях в Москве, что могло бы повредить репутации колледжа. За кофе Дикин предложил отцу рассказать о своих злоключениях с «людьми из разведки». Выйдя из ресторана — Мервин заметил, что Дикин дал швейцару десять шиллингов, весьма щедрые чаевые, — он остановил такси и величественно отбыл, предоставив отцу пешком добираться до метро.

Еще на борту самолета Мервин составил план, по смелости вполне отвечавший его деятельной натуре. На следующей неделе ожидался визит в Швецию Хрущева с супругой, и Мервин собирался вручить им лично свое письмо с просьбой помочь молодым людям создать семью.

Каким-то образом — быть может, он сказал что-то журналистам или брату Джеку, — но о его планах узнала мать. «Ради меня, Мервин, откажись от мысли лететь в Скандинавию и встречаться там с Хрущевым, — написала она ему из Суонси. — Его сопровождают могучие телохранители, тебя могут застрелить». Мервин проигнорировал предостережение матери, что потом делал неоднократно.

What about our Russian fiancées Mr. Ambassador

by BRIAN PARK

TWO ENGLISHMEN who have waited four years to marry R
women had a face-to-face confrontation with the Russian Ambas
Mr. Mikhail Smirnovsky, in a London street.

Five days ago university lecturer Mr. Mervyn Matthews, 36, and car
Mr. Derek Deason, 38, who have become close friends because of the
problem, were walking down South Audley Street, Mayfair, London, talkin
their fiancées

Swansea man's reply from Ru

By EVENING POST REPOR

CATIVE and surly was the description give
Matthews, a Swansea man and lecturer in Ru
rey, to a communication he has received from
London.

Mr. Matthews visited
ago and left a letter plea
to intercede in Moscow o
marry Ljudmila Bibikova
when doing research worl

It was shortly after their
attempt to marry in 1964 that
Mr. Matthews, whose mother

"Как с нашими русскими невестами, г-н посол?", *Sunday Express*.

"Человек из Суонси получает "резкий" ответ от русских", *South Wales Evening Post*.

«Как с нашими русскими невестами, г-н посол?», Sunday Express.

«Человек из Суонси получает „резкий“ ответ от русских», South Wales Evening Post.

Он отправился в Гётеборг, где его самолет приземлился как раз в тот момент, когда самолет Хрущева был уже в воздухе. Узнав из газет о намерениях Мервина, шведская полиция с напряжением ожидала его в аэропорту и испытала огромное облегчение, когда оказалось, что он опоздал. «Хрущев уже улетел», — сообщил ему полицейский в штатском, указывая в небо, где горел закат.

Мервина тут же пригласил пообедать редактор газеты «Гётеборге хандельс-ок шёфартс-тиднинг» и взял у него интервью. Упустив Хрущева в Гётеборге, Мервин последовал за ним ночным поездом в Стокгольм. Прибыв в город, он снял дешевый номер в отеле «Хеллман» и извлек из чемодана свой любимый чайный набор: кипятильник, специальную ложечку с дырочками для заварки чая и кружку. Я как сейчас помню этот чайный набор, вечно украшавший закапанные столики в дешевых номерах, где бы мы с ним ни останавливались: в Провансе, Стамбуле, Каире, Флоренции или Риме. Еще он привез с собой тарелку и столовые приборы, поскольку не мог позволить себе обедать в шведских ресторанах и покупал еду в магазинах — различные закуски, салаты и сэндвичи.

Утром Мервин посетил редакции двух крупных стокгольмских газет — «Афтонбладет» и «Стокгольмстиднинген», где репортеры предупредили его, что у Хрущева очень надежная охрана и чтобы он даже не пытался к нему приближаться. Они пообещали на следующий день опубликовать в главных чертах его историю.

Вечером Мервин побрел в парк развлечений, расположенный на одном из островков, и с тоской наблюдал за танцующими парами, заметив, что платят здесь за каждый танец отдельно. Он представил себе, как они с Милой проходят вместе через турникет.

В три часа утра его разбудил стук в дверь. Это был Дэс Звар, репортер из «Дейли мейл». Мервин попытался избавиться от него, но тот оказался очень настойчивым — в поисках Мервина он обошел все отели города. «Редакция считает, что из вашей истории может получиться хорошая статья, поэтому меня сюда и направили».

Они уселись на кровати и поговорили. Мервин поведал ему о своих приключениях, в ответ Звар сообщил, что лично у него есть две страсти: гольф и женщины, «именно в такой последовательности». На следующий день в газете появилась броская заметка бульварного толка за подписью Звара. Мервин поместил ее в папку, куда решил собирать вырезки из газет по

своему делу.

> Доктор Мервин Мэтьюз, тридцати одного года, аспирант, которому запретили жениться на русской девушке, прибыл ночью в Стокгольм в надежде увидеть мистера Хрущева. Сегодня утром он бродил по деловому центру столицы с письмом Хрущеву в кармане. Он заявил: «Я не отступлюсь»… Если доктор Мэтьюз попытается прорваться через полицейский кордон, он рискует быть убитым. Охранники, взбудораженные информацией об угрозе похищения мистера Хрущева, разместились на деревьях и вдоль дорог — некоторые ехали верхом, и все получили приказ стрелять, если вблизи русского лидера возникнет подозрительная суета.

Мервину так и не удалось приблизиться к Хрущеву. Деньги заканчивались, и ему пришлось возвращаться в Оксфорд ни с чем.

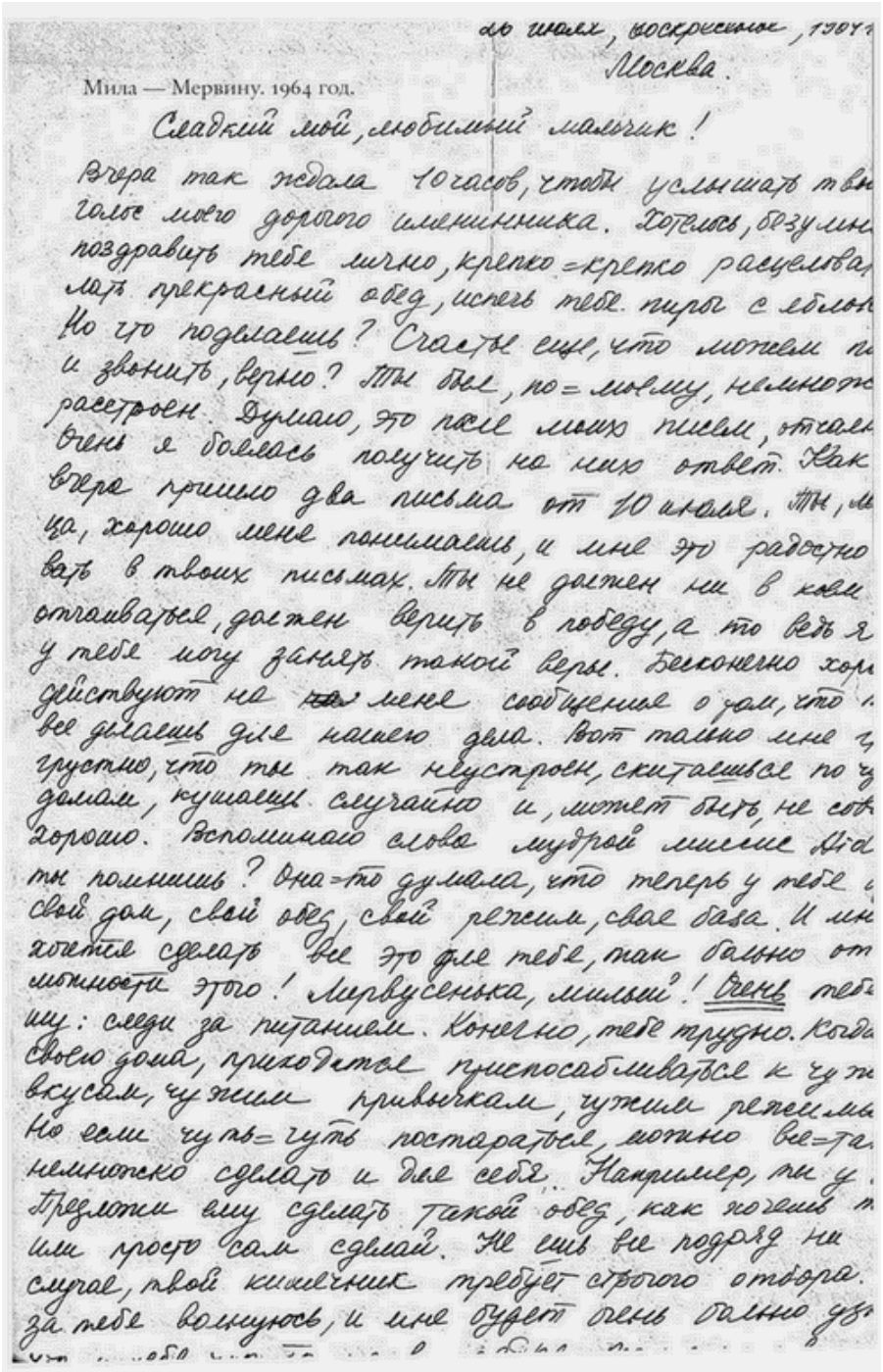
> Я сижу в колледже у окна и думаю о тебе, — писал Мервин по-русски своим четким, красивым почерком. — Проклятая забастовка (почтовых работников) продолжается и, говорят, продлится еще несколько дней, поэтому я попросил моего друга отправить это письмо из Парижа. Уже прошла неделя, а от тебя нет вестей. С нетерпением жду твоего звонка.

В своих первых письмах он соблюдал осторожность, был очень сдержан. Как будто проверял, ждет ли она его.

> Я позвонил бы и сам, но не хочу тебе докучать… Я по-прежнему прилагаю все усилия, чтобы найти решение наших проблем. Можешь полностью на меня положиться. Я ни на минуту не забываю свою Милу. У меня есть твои фотографии, но я боюсь даже взглянуть на них. Они лежат в конверте, и я знаю: стоит только увидеть твое лицо, как на меня накатывает такая тоска, что становится просто невыносимо. Без тебя мне страшно одиноко… Погода стоит жаркая и душная, типичное оксфордское лето. В колледже все по-прежнему, но сам я изменился. Напиши, какое сейчас у тебя настроение, мне будет легче, если я узнаю, что ты не отчаиваешься. Когда я думаю о нашей разлуке, у меня разрывается сердце. Не волнуйся — я не оставлю все как есть. Помни, я предпринимаю все возможное, чтобы мы были счастливы. Береги свои нервы, здоровье. Твой М.

Через несколько дней в маленькую комнату Мервина, под самой крышей колледжа, принесли первое письмо от Милы.

> Сегодня мы начинаем новую жизнь, жизнь в переписке и в борьбе, — писала Мила 24 июня. — Мне без тебя очень плохо, будто все остановилось… За три дня после твоего отъезда я растратила много сил, нервов и здоровья. Я знаю, ты рассердишься, но я ничего не могу с собой поделать. Очень плохо сплю, все время думаю о том, что ты должен вернуться и что мне нужно ждать тебя, подскакиваю при каждом звуке. Мои друзья стараются меня поддержать… Здесь все, кто честен и разумен, считают, что это (наше разлучение) глупо, негуманно, злобно и постыдно.


Мила — Мервину. 1964 год.

до июля, воскресенье, 1964 г.
Москва.

Сладкий мой, любимый мальчик!

Вчера так ждала 10 часов, чтоб услышать твой голос моего дорогого именинника. Хотелось, безумно поздравить тебя лично, крепко-крепко расцеловать, мать прекрасный обед, испечь тебе пирог с яблок... Но что поделаешь? Счастье еще, что можем по... и звонить, верно? Ты был, по-моему, немного рассеян. Думаю, это после моих писем, отсюда... очень я боялась получить на них ответ. Как... вчера пришло два письма от 10 июля. Ты, ма... ка, хорошо меня понимаешь, и мне это радостно... вать в твоих письмах. Ты не должен ни в ком... отчаиваться, должен верить в победу, а то ведь я... у тебя могу занять такой веры. Бесконечно хоро... действуют на меня сообщения о том, что ... все делаешь для нашего дела. Вот только мне г... грустно, что ты так неустроен, скитаешься по ч... домам, кушаешь случайно и, может быть, не со... хорошо. Вспоминаю слова мудрой мисс Ди... ты помнишь? Она-то думала, что теперь у тебя ... свой дом, свой обед, свой режим, своя баба. И мн... хочется сделать все это для тебя, так больно от... любимого этого! Мервусенька, милый! Очень тебя... шу: следи за питанием. Конечно, тебе трудно. Когда... своего дома, приходится приспосабливаться к чу... вкусам, чужим привычкам, чужим режимам. Но если чуть-чуть постараться, можно все-та... немножко сделать и для себя. Например, ты у... предложи ему сделать такой обед, как хочешь т... или просто сам сделай. Не ешь все подряд ни... случая, твой кишечник требует строгого отбора. ... за тебя волнуюсь, и мне будет очень больно уз...

Мила — Мервину 1964 год.

Друзья приходили к Миле утешить ее, старались развлечь, вытащить на прогулку в парк, но, по ее словам, она стала

«молчаливой и поглупевшей, не в состоянии сказать что-нибудь интересное». Она даже не захотела менять простыни на постели, потому что они еще хранят «твой запах». В субботу, после отъезда Мервина, она дала себе слово собраться с силами и пойти в театр. В «Современнике», на премьере «Сирано де Бержерака», Мила впервые в жизни не смогла досидеть до конца и ушла после первого акта. У нее было ощущение, что она бегает по кругу, «как белка в колесе».

> Я живу только моим горем, мир вокруг меня перестал существовать, — писала она Мервину на следующий день — Я так жалею, что отпустила тебя. Нам нужно было подождать подольше. Теперь все стало в тысячу раз труднее, одиночество невыносимо. В институте все женщины сочувствуют мне, но, наверное, думают, что ты меня обманул. Они говорят: «Неужели он преодолеет все эти трудности?» Я говорю, что ты все преодолеешь, что мы очень любим друг друга. Все бегали в библиотеку читать «Нью-Йорк таймс». Многим твоя фотография очень понравилась… После работы я стараюсь как можно скорее добраться домой, чтобы никого не видеть. Моя мама отреагировала (на твой отъезд) очень плохо. Говорит, была уверена, что так и случится! Ты же иностранец!

Если я что-то и осознал, работая над этой книгой, так это то, что мой отец очень благородный человек. Он обещал Миле жениться на ней и сдержал слово. Более того, он многим пожертвовал, чтобы опровергнуть ужасное обвинение Марфы, будто бы он, иностранец, бросил Милу на произвол судьбы, вторично сделав ее сиротой.

> И мое детство, и твое, и наше настоящее — все слилось в одну картину боли — я так хочу начать новую жизнь, полную радости! — писала измученная Мила. — После твоего отъезда мне так плохо, так холодно и сиротливо!

Мервин мог не сомневаться: Людмила ответила на его не высказанный в первых же письмах вопрос — она тяжело переживает боль разлуки и вместе с тем решительно настроена бороться.

> Мервуся! Я верю в тебя, ты же не подведешь меня, правда? — писала Мила. — Лично я пройду это

> испытание до конца. И я прошу тебя, заклинаю: если ты не хочешь бороться до конца, напиши мне и пришли письмо с кем-нибудь, так мне будет легче. Не надо лукавить — это самое ужасное, хуже смерти.

По совету Билла Дикина Мервин написал для МИ-5 подробный отчет о своих контактах с КГБ. Он часто виделся с Дэвидом Футменом, своим наставником из колледжа Св. Антония, высоким серьезным человеком, который жил в большой квартире на первом этаже дома в Челси. Футмен, как и Дикин, — любезный, с холеным лицом, интеллектуал с непринужденными манерами. Во время Первой мировой войны он был награжден Военным крестом и — тогда мой отец этого не знал — во время Второй мировой войны возглавлял в Службе внешней разведки советский отдел.

Я очень ясно помню Футмена, когда еще маленьким мальчиком приходил с отцом в его квартиру в Челси. Он был очень худым, безукоризненно одетым и нарочито растягивал слова, как свойственно людям из высшего света, с тех пор такой выговор я слышал только по телевидению. В его квартире было множество книг и фотографий самолетов времен Первой мировой войны: и тех, которые он пилотировал сам, и тех, которые сбивал. Я с восторгом слушал его рассказы о воздушных боях. Помню, как на прощанье он всегда серьезно пожимал мою руку, хотя мне было всего лет пять-шесть. Футмен был единственный, кто оказывал такую честь ребенку.

За жидким чаем, который они пили из треснувших чашек, Футмен сочувственно выслушал рассказ моего отца, методично набивая табак в свою трубку. Молодым людям свойственно попадать в неприятные ситуации, сказал он, в юности я и сам не избежал этого. Футмен признался, что всегда предпочитал иметь своим секретарем молодого человека, которому приходилось спотыкаться в жизни, — с такими легче найти общий язык, чем с благонравными и неискушенными юнцами. Когда Мервин закончил свой рассказ, Футмен предложил ему поговорить с Баттерсби из группы разведки Форин-офиса — они заинтересуются. Он снова набил трубку и провел рукой по своему великолепному лбу.

— А вы не думаете оставить ее? Это было бы недурно. В таких вещах нужно быть реалистом.

Но Мервин не мог быть реалистом, это шло вразрез с его характером. К тому же, подозреваю, в России он успел заразиться русским иррационализмом и максимализмом. Не столько склонностью к внешней драматизации, что, несомненно, очень

русская привычка, сколько истинным парением духа, загорающимся лишь тогда, когда с реальностью невозможно смириться. В понимании русских быть реалистичным подразумевало капитуляцию. Для Милы это означало в пятнадцать лет устроиться на швейную фабрику. Для Мервина — стать клерком в местном кооперативе. Оба никогда бы не мирились с тем, что другим представлялось благоразумным и практичным.

Вскоре после разговора с Футменом он получил письмо из Москвы, пришедшее через Италию, где его опустил в ящик один итальянский коммунист, друг моей матери. Это был манифест Милы, одновременно и вызов и крик души. Чего в нем определенно не было, так это именно реалистичности, оттого оно производит такое сильное впечатление, что даже спустя много лет читать его очень тяжело.

«Ты получишь это письмо накануне своего дня рождения, — писала Мила. — Я отправляю его через Италию. Это крик моей любви и предназначен только для тебя». Остальные их письма наверняка перлюстрировались КГБ; и Людмила решила, что это письмо не должен читать никто, кроме Мервина.

> Такие письма я никому никогда не писала — здесь каждое слово искреннее и честное. Моя любовь к тебе может показаться патологической. В наше время люди научились довольствоваться малым, полумерами и суррогатами. Они легко забывают свои чувства и легко расстаются друг с другом, изменяют друг другу, легко соглашаются на суррогат вместо любви. Всю мою жизнь я плыла против течения; отчаянно сопротивлялась попыткам навязать мне образ жизни и мысли, которые представлялись мне совершенно неприемлемыми. Я боролась за то, чтобы получить образование и стать культурным человеком, я боролась за свою независимость и теперь борюсь — за любовь.
>
> С раннего детства я вела с жизнью ожесточенный спор. Жизнь говорила мне: «Не учись! Не люби красивые вещи! Люби дешевые! Не верь в любовь! Предавай своих друзей! Не думай! Подчиняйся!» Но я упрямо твердила «Нет!» и прокладывала свой нелегкий путь сквозь глухие дебри. Жизнь была жестокой и мстительной. Она лишила меня любви, доброты, тепла. Но я только сильнее к этому стремилась. Жизнь пыталась убедить меня в том, что счастье недостижимо, но я все равно в

него верила, продолжала его ждать и искать, готовая бороться за него, когда найду, и никогда не сдаваться.

Говорят, человека любят только за его достоинства — но я одинаково люблю в тебе и все хорошее, и все плохое. Я не стыжусь твоих недостатков, я лелею их внутри себя как нечто сокровенное, что нельзя показывать другим. Когда кто-то дурно отзывается о тебе, я этого не слышу и не слушаю. Думаю, одна я вижу тебя всего, отсюда мое убеждение, что на всем свете нет человека лучше тебя. Я люблю тебя, как своего ребенка, как часть моего тела; у меня часто появляется ощущение, что это я тебя родила. Мне так хочется баюкать тебя, защищать от опасностей, оберегать от болезней.

Веришь ли ты, мой мальчик, что я готова жизнь за тебя отдать? Я пытаюсь, со своей слабой женской отвагой, помочь тебе не бояться тех людей, хотя они и всемогущие. Действительно, эти черные дни показали мне, как я люблю моего мышонка, как я росла с ним вместе душой и сердцем и какая страшная хирургическая операция произведена надо мной — операция на моем сердце. Теперь моя цель — показать этому мстительному орлу, этому алчному хищнику, что моя любовь сильнее их ненависти!

Мог ли Мервин отказаться от борьбы после такого душераздирающего письма? Как мог человек, став предметом такой огромной любви, веры и надежды, предать свою любимую? «Люби меня, — писала она. — Или я умру».

Для меня все стало иным, чем прежде, — отвечал он. — Но ты возложила на меня тяжелую моральную ответственность, и я не уверен, хватит ли у меня сил. Я не говорю о проблемах с нашей женитьбой — можешь быть уверена, что этот план будет выполнен на 150 %. Нет, я говорю о высоком нравственном примере, который ты подаешь мне, о необходимости моего самосовершенствования. Твои похвалы меня обескураживают. Ты подразумеваешь, что я лучше тебя. На самом же деле как раз мне гораздо чаще приходится учиться у тебя. Именно в тот момент, когда мне было нужно, ты внушила мне абсолютно новый взгляд на жизнь.

Все годы их переписки его русский язык был столь же сдержанным и корректным, насколько ее — неистовым и

страстным. Как будто он, вопреки полученному воспитанию, подыскивал слова для выражения слишком высоких и пылких чувств, чтобы втиснуть их в узкие рамки вежливости. Только что приведенное письмо он подписал особенно пышным росчерком — может, это мало что значило, но то была самая экстравагантная подпись из всех, которыми он подписывался прежде.

Мервину удалось позвонить Ленине и передать для Милы, чтобы та в определенный день и час пришла на Центральный телеграф на улице Горького. Мила была чрезвычайно взволнована первым после разлуки разговором с любимым. «Как только я услышала твой голос, во мне вся кровь забурлила, — писала она. — Мне хотелось целовать твой голос!» Из своей коммуналки с любопытными соседями Людмила не могла говорить с Мервином. Поэтому они решили заказывать разговор один раз в две недели, правда, такая связь стоила дорого, и говорить приходилось коротко. Но эти несколько минут разговора в душной будке на Центральном телеграфе стали для Милы спасительным тросом.

> Малыш Мервин! Я так о тебе скучаю, мне так хочется целовать твою милую голову, шею, носик, но что мне делать, а, малыш? — писала она вскоре после телефонного разговора. — Как нам преодолеть это препятствие, так незаслуженно нас разлучившее? Так тяжело не видеть любимого, не быть с ним рядом! Иногда во мне расцветают вера и надежда, я хочу быть сильной и смелой, но чаще испытываю такое отчаянье и разочарование, такую ужасную боль в сердце, такую горечь, что силы меня оставляют и сдают нервы, мне хочется кричать во весь голос. Мне до сих пор не верится, что тебя нет рядом. Это так жестоко, так несправедливо! Но кому это доказывать, кто захочет понять нашу боль и совершенную в отношении нас несправедливость? Эта машина, неумолимый джаггернаут[5] истории, не умеет чувствовать и думать, а лишь подминает людей под себя.

Мервин только начинал узнавать, как работает джаггернаут истории. Вопреки всему и невзирая на мудрые советы своего наставника и матери, он еще лелеял безумную надежду одолеть эту злобную силу. Перед Мервином встала дилемма: бороться за нечто высокое и прекрасное и, вероятно, недостижимое — или смириться с банальной серостью. Он выбрал первое. Это решение было моментальной вспышкой огромного мужества, такой яркой,

что ее света хватило на всю жизнь.

Ленина тоже продемонстрировала свой нрав скромными, но жизнеутверждающе смелыми поступками. Она написала Мервину, что будет поддерживать их в борьбе за право пожениться.

> Мила — мое первое дитя, и я очень люблю ее, особенно теперь, — писала Ленина. — Где бы я ни была, я думаю только о вашем деле. Все мы любим тебя. Ты полноправный член нашей семьи. Конечно, другой на моем месте не любил бы тебя — ведь ты среди бела дня украл частицу моего сердца. Но я хочу, чтобы Мила была счастлива и любима, а поэтому люблю и тебя, как бы трудно иногда ни было с тобой.

Дочь Ленины Надя написала, что ждет Мервина к началу грибного сезона.

В середине августа Мервин сделал очередную попытку передать свою просьбу еще одному советскому деятелю — зятю Хрущева Алексею Аджубею, редактору «Известий», и прилетел в Бонн во время его официального визита. Поскольку поднявшаяся в стокгольмских газетах шумиха помешала Мервину добиться встречи с Хрущевым, он решил приблизиться к Аджубею, не привлекая к себе внимания. Через своего коллегу он связался с Карлой Штерн, известной западногерманской издательницей, которая сообщила ему о передвижениях Аджубея и достала приглашение на частный прием, где ожидается советский гость.

Облачившись в свой лучший костюм, Мервин пробирался сквозь густую толпу гостей, пока не увидел Аджубея в группе германских бизнесменов, обсуждавших проблемы проникновения немецких товаров на советский рынок. Охраны практически не было. Мервин поздоровался с Аджубеем и передал ему письмо. Аджубей слегка смутился, коротко кивнул Мервину и, ничего не сказав, отдал письмо своему помощнику, после чего продолжал разговор с бизнесменами. Мой отец немедленно покинул прием и в тот же вечер вернулся в Лондон, не очень рассчитывая на благоприятные последствия своей встречи.

> Единственное, что меня утешает — надеюсь, и тебя тоже, — это понимание и сочувствие всех, кто в курсе нашей грустной истории, — писал он Миле по возвращении, скрыв от нее свою неудачную поездку. — Я уверен, что допущенная в отношении нас несправедливость в конце концов будет устранена. Я предпринимаю всевозможные шаги, чтобы приблизить

наше счастье.

Как посоветовал ему Билл Дикин, Мервин позвонил мистеру Баттерсби из МИ-5. Разговор состоялся, но не принес никаких результатов. Правда, Баттерсби сказал, что у его московского коллеги Сьюэлла не нашлось никаких доказательств сотрудничества невесты Мервина с КГБ; было лишь «предположение». На этом британские спецслужбы сочли вопрос закрытым.

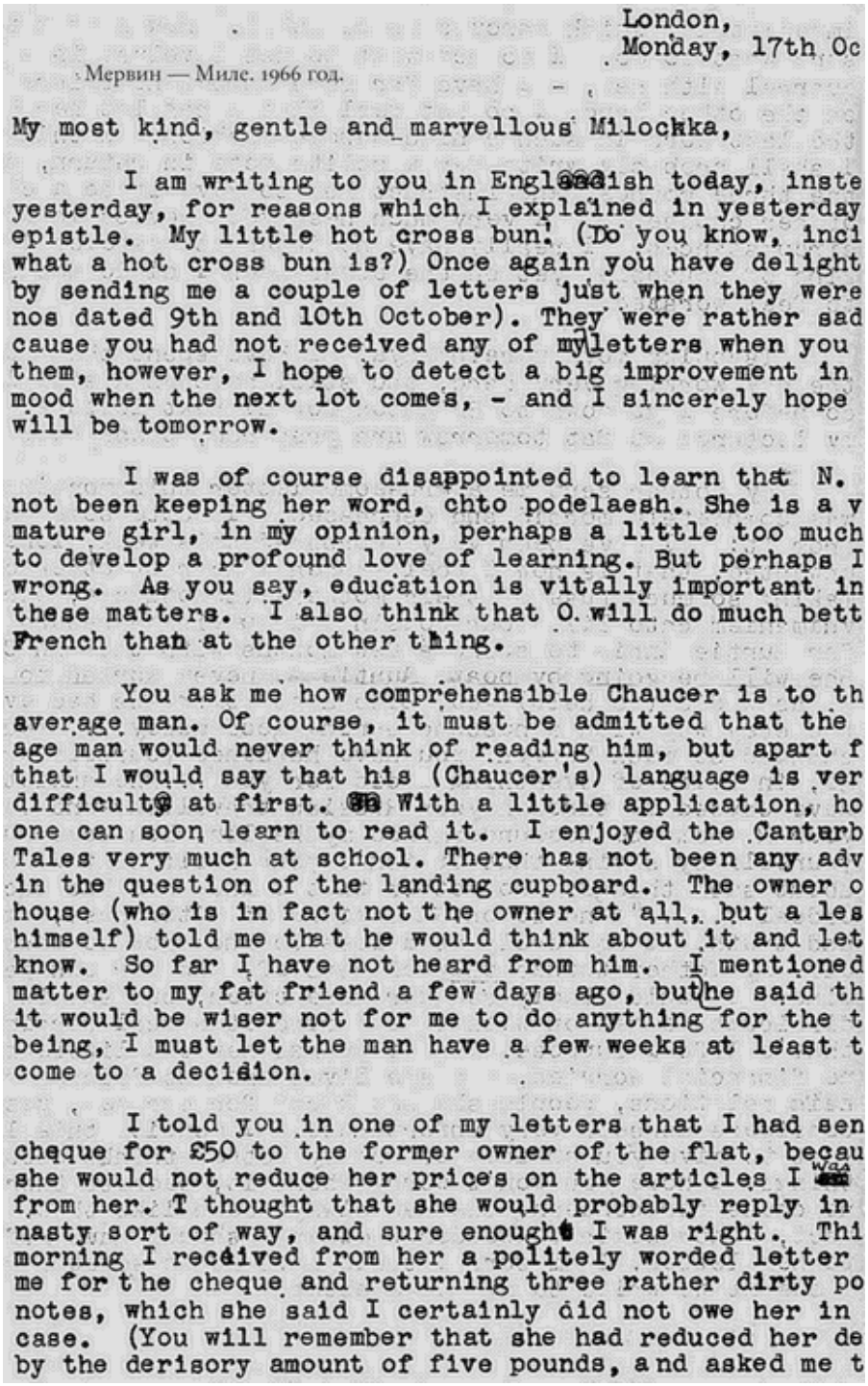
Через несколько недель, в начале сентября, МИ-5 направила своего офицера в Оксфорд для личной беседы с Мервином. Маккол был плотным человеком средних лет, очень осмотрительным, с простоватыми манерами военного служаки. Он пригласил Мервина пообедать в «Медведе» в Вудстоке и просил повторить его рассказ, чтобы убедиться, что не было упущено ничего важного. Маккол называл Алексея и Александра Соколова «ваши друзья» и «эта парочка».

— Нам понравилась одна фраза в вашем отчете: «используя для вербовки обстановку дружбы», — сказал Маккол моему отцу. — Мы даже вставили ее в один из наших докладов.

Он не стал пояснять, в какое именно из творений МИ-5 Мервин, сам того не подозревая, внес свой вклад. Через несколько дней Маккол прислал Мервину две фотографии, чтобы тот сказал, знакомы ли ему эти люди. На одном снимке был русский аспирант, который два года назад учился в колледже Св. Антония и не имел никакого отношения к делу Мервина. На другом — человек, которого Мервин вообще никогда не видел. Он вспомнил саркастическое замечание Алексея о некомпетентности МИ-5 и против собственной воли полностью с ним согласился.

К удивлению Мервина, МИ-5 в конце концов добилась успеха. 2 марта 1966 года на станции метро Чарринг-Кросс к нему подошел незнакомец и показал фотографию элегантного молодого человека с красивым скуластым лицом и седой прядью в темной шевелюре. Это был Алексей. Человек из разведки назвал его Сунцовым. Так Мервин узнал фамилию Алексея. В Москве он не решался спросить.

А Миле повсюду виделся Мервин, он возникал перед нею, как призрачная шинель в повести Гоголя. «В театре, — пишет Мила, — увидела твоего земляка с длинной шеей и длинными пальцами, и мне стало так тяжело и грустно, что я ушла со спектакля. Мальчик мой! Где найти силы для столь долгого ожидания!»


Мервин — Миле. 1966 год.

London,
Monday, 17th Oc

My most kind, gentle and marvellous Milochka,

I am writing to you in English today, inste
yesterday, for reasons which I explained in yesterday
epistle. My little hot cross bun! (Do you know, inci
what a hot cross bun is?) Once again you have delight
by sending me a couple of letters just when they were
nos dated 9th and 10th October). They were rather sad
cause you had not received any of my letters when you
them, however, I hope to detect a big improvement in
mood when the next lot comes, - and I sincerely hope
will be tomorrow.

I was of course disappointed to learn that N.
not been keeping her word, chto podelaesh. She is a v
mature girl, in my opinion, perhaps a little too much
to develop a profound love of learning. But perhaps I
wrong. As you say, education is vitally important in
these matters. I also think that O. will do much bett
French than at the other thing.

You ask me how comprehensible Chaucer is to th
average man. Of course, it must be admitted that the
age man would never think of reading him, but apart f
that I would say that his (Chaucer's) language is ver
difficult at first. With a little application, ho
one can soon learn to read it. I enjoyed the Canterb
Tales very much at school. There has not been any adv
in the question of the landing cupboard. The owner o
house (who is in fact not the owner at all, but a les
himself) told me that he would think about it and let
know. So far I have not heard from him. I mentioned
matter to my fat friend a few days ago, but he said th
it would be wiser not for me to do anything for the t
being, I must let the man have a few weeks at least t
come to a decision.

I told you in one of my letters that I had sen
cheque for £50 to the former owner of the flat, becau
she would not reduce her prices on the articles I was
from her. I thought that she would probably reply in
nasty sort of way, and sure enough I was right. Thi
morning I received from her a politely worded letter
me for the cheque and returning three rather dirty po
notes, which she said I certainly did not owe her in
case. (You will remember that she had reduced her de
by the derisory amount of five pounds, and asked me t

Мервин — Миле. 1966 год.

Постепенно Мила наполняла свою жизнь воображаемым

присутствием Мервина. Она украсила одну стену своей маленькой комнаты фотографиями жениха, вечерами отправлялась по Гоголевскому бульвару к метро «Кропоткинская» и подолгу стояла там и смотрела, не появится ли он в потоке выходящих из метро людей.

> Если бы я встретила тебя сейчас у метро, мы бы вместе возвращались домой, наслаждаясь теплым летним воздухом. Арбатские переулки казались бы прекрасными, люди добрыми, вечер мягким. А сейчас мне кажется, что люди смотрят на меня с осуждением. Листья на деревьях выглядят сухими и пожелтевшими — при тебе они были молодыми и зелеными. Я с завистью смотрю на женщин, у которых на плече лежит рука мужчины, — писала она.

Она останавливалась у газетной витрины и читала о драках стиляг и рокеров на пляжах в Гастингсе. Потом возвращалась домой, писала очередное письмо и поздно вечером выходила к почтовому ящику на углу Староконюшенного и Арбата, чтобы письмо ушло с утренней почтой. Этот ритуал, которому подчинялась ее жизнь до отъезда из России, успокаивал и отчасти смягчал ее отчаянное состояние.

> Утром, как только проснусь, я сразу сажусь писать тебе, мой любимый мальчик… Я представляю, как ты спишь, потом встаешь, принимаешь душ… Давно нет писем… самое тяжкое — это ожидание. Даже если почтальон приносит три письма в день, мне этого мало, а сейчас у нас получился такой перерыв… Никаких известий, и моя жизнь словно замерла, — жаловалась она.

В конце лета Мервин работал с Александром Керенским, блестящим адвокатом, который с июля по октябрь 1917 года занимал в России высокий пост главы Временного правительства, свергнутого большевиками. Теперь Керенский был очень старым хрупким маленьким человеком с копной седых волос, в очках с толстыми линзами. Мервин помогал ему распутать клубок событий, в которых Керенский играл руководящую роль. Мервин рассказал Керенскому о себе. Старик от души ему посочувствовал, но для него Россия была далекой и враждебной страной, которую он навсегда покинул полвека назад. Они разговаривали о Революции и о безжалостных людях, которых она привела к власти.

«Распутин? О да, он был очень, очень сильным! — вспоминал Керенский. — Ленин! Мне следовало арестовать его, когда я еще мог это сделать». Мервин кивал, искренне с ним соглашаясь.

Отец решил обратиться к сочувствующим членам парламента и сановникам, которые могли бы помочь в его борьбе. Профессор Леонард Шапиро из Лондонской школы экономики дал ему список имен и адресов, и Мервин затеял активную переписку, которая постепенно заполнила собой три ящика его письменного стола. Он писал Бертрану Расселу, философу, которого русские уважали за его антиядерные выступления; Селвину Ллойду, бывшему министру иностранных дел от партии консерваторов, который «ладил» со своим советским партнером Андреем Громыко; сэру Исайе Берлину родом из Риги, философу из колледжа Всех Святых; Джорджу Вудкоку, секретарю конгресса тред-юнионов и известному путешественнику. Все они выразили ему свое сочувствие, но помощи не предложили.

Теперь большую часть времени Мервин писал и рассылал письма, вел переговоры по телефону, наносил визиты и совсем забросил свою научную работу. Он посетил личного секретаря советского посла Александра Солдатова, но, к своему разочарованию, кроме любезных банальностей, не услышал ничего дельного. Отец упрямо заполнял заявления о выдаче визы, и Советы столь же упорно отказывали ему.

В глубине души Мервин не очень рассчитывал на получение визы. Но Мила почему-то твердо верила, что ее обращения за выездной визой, которая обычно предоставлялась только самым политически благонадежным советским гражданам, увенчаются успехом. 18 августа ей сообщили, что в визе отказано на «высшем уровне», и она очень расстроилась. Она писала:

> Последние два месяца благодаря поддержке друзей и родственников я жила надеждой, что мои страдания закончатся, но вчера поняла, что она тщетна, — писала она, заливая письмо слезами. — Всю ночь я бродила по душной комнате, не в силах уснуть, и сегодня все еще рыдаю, как будто у меня перед глазами лежит вырванный кусок моего сердца. Я опять впала в глубокое отчаянье. Прошу тебя, милый, не оставляй меня, — я на грани гибели.
>
> Я сижу взаперти дома, как птица в клетке, плохо сплю от любви и боли, но я обязана жить, все выносить и ждать. Мне кажется, еще минута ожидания, и у меня разорвется сердце, кровь хлынет из горла. С тобой я

готова вынести любые муки, но одной невероятно тяжело… Кто-то веселится: для них нет ничего приятнее, чем видеть истекающую кровью душу, которую они разорвали своими когтями. Они считают, что спасли меня от геенны огненной. Они думают, что ты воплощение дьявола, а сами они святые. Продолжай стучаться в двери рая, прислушайся, и ты услышишь мой зовущий тебя голос. И хотя страж не пропускает тебя, не давай ему покоя.

Через несколько дней настроение немного улучшилось. Мила извинялась за свои предыдущие отчаянные письма.

Если бы ты знал, что твои письма для меня — глоток воздуха. Пожалуйста, Мервуся, никогда не говори мне, что ты отказываешься биться головой о стену. Не отступай! Стена поддается не сразу. Я не хочу слышать, что ты потерял надежду; верь в свои силы — это зависит только от тебя самого.

Лето в Москве закончилось. Мила собрала картошку и огурцы, которые сажала вместе с Мервином. Наступил сезон ягод, и Мила с племянницами целыми днями пропадали в лесу, возвращаясь с полными корзинками черники и малины. Саша собирал фрукты, а Мила с Лениной наварили из них варенья, и Мила несколько банок забрала с собой в Москву, мечтая угостить Мервина, когда он возвратится.

Пожалуйста, расскажи мне подробно о своей жизни, о маленькой конюшне в центре города, — писала Мила Мервину, немного придя в себя после жизни на даче. — Все эти подробности очень важны для меня. Я вижу в них жизнь моего дорогого мальчика. — В конце письма Мила нарисовала рубашку, которую шила. — Вот тебе маленький забавный стишок, — писала она через день. — Мервуся — счастье, Мервуся — радость, для Милы — сладость… Тепло ли в твоей комнате, теплое ли у тебя одеяло? Приходят ли демоны искушать тебя?

Почтовые работники требуют 7,5 % прибавки к зарплате, а государство предлагает 4,5 %, и пока они не договорятся, мы с тобой будем страдать от тоски, — отвечал Мервин. — Думаю, правительство занимает

неправильную позицию, но не могу об этом говорить. Последние пару ночей очень плохо спал, часто вижу тебя во сне. Стараюсь здесь не переедать. Купил себе новые шлепанцы, венгерские, начал играть в сквош. Не грусти, дорогая Милочка, в конце концов все закончится хорошо. Обнимаю тебя. М.

Рано или поздно скандальная любовная связь Милы с иностранцем, изгнанным из Советского Союза, должна была отразиться на ее положении в Институте марксизма-ленинизма. Она знала, что за ее спиной не умолкают сплетни. Некоторые из коллег ей явно сочувствовали; но большинство, проходя мимо, поглядывало на нее с неодобрением. Мила старалась реже выходить в коридор, с головой ушла в работу, но обнаружила, — как она пишет, — «что от переживаний сильно поглупела, и это ужасно беспокоит».

Удар был нанесен после внеочередного заседания парткома, состоящего из непреклонных фанатиков.

На этой неделе был сплошной кошмар, нервотрепка и слезы, — сообщала Мила. — На работе настоящий скандал. Несколько дней назад провели партийное собрание. У меня потребовали отчета о «моем деле». Все жаждали крови и возмущались. Почему мы раньше ничего не знали? Почему вы не рассказали нам обо всем? (Все это в стиле секретаря парткома.) Нужно узнать все подробно в органах (государственной безопасности). Если правительство приняло решение выслать его, значит, он того заслужил. Она должна быть наказана! Она поставила личные интересы выше общественных! Она стала жертвой антисоветской пропаганды!

Несколько отважных коллег Милы пытались защитить ее, просили для нее снисхождения, убеждали, что любовь к иностранцу вовсе не означает, что она враг народа. Но большинство не решилось выступить в ее защиту, «умные отмалчивались, подлецы орали во все горло». Это лицемерное судилище было худшим способом подавления личности, превосходным орудием воспитания покорного властям советского общества. И не только общества: одно дело бросить вызов властям, но мало кто способен выстоять, когда тебя осуждают те, кого знаешь и кому доверяешь.

На собрании Мила удержалась от слез, чтобы ее «судьи» не чувствовали себя триумфаторами, но все это сильно ее потрясло. При всей своей независимости, она была членом советского

общества, и ее — дочь коммуниста — вырастило государство. До сих пор она никогда не вступала в открытую конфронтацию с коллективом. Кроме того, она отлично понимала, что клеймо мятежницы будет преследовать ее всю жизнь.

> Думаю, если даже я уйду с этой работы, они сразу позвонят моему новому руководству, или кто-то донесет на меня, как это бывало прежде, и меня уволят и оттуда, — писала Мила. — Но все равно нужно уходить. Обстановка здесь ужасная, все сплетничают, заводят со мной «воспитательные» разговоры, такие, что доведут до сердечного приступа.

Несмотря на публичное осуждение, директор института сочувствовал Миле и устроил перевод в Фундаментальную библиотеку общественных наук (ФБОН) на такую же должность и с таким же окладом, — там ей предстояло переводить статьи из французских научных журналов. К радости Милы, ее новые коллеги оказались людьми молодыми и независимыми. Библиотека, по существу, была «логовом инакомыслия… а я оказалась той щукой, что бросили в реку», — вспоминала Мила. С молчаливого разрешения директора стены комнаты, где она работала, какой-то остряк изрисовал карикатурами на различных исторических деятелей. Сотрудники развлекались еще и тем, что делали комические фотографии: на одной она и Эрик Жук пародируют знаменитую скульптуру Мухиной — рабочий с молотом и колхозница с серпом, — олицетворяющую советскую молодежь 30-х годов. На другой, встав в ряд и псевдотрагически опустив головы, подражают роденовской скульптуре «Граждане города Кале». Либеральная атмосфера библиотеки допускала жаркие споры, например о том, рухнет ли советская власть еще при их жизни. Мила доказывала, что рухнет; профессор Фейгина, специалист по эпохе Петра I, утверждала, что она продержится еще очень и очень долго. «Русская свинья на одном боку триста лет лежала, — весело шутила Софья Ароновна. — Сейчас она перевернулась на другой бок и пролежит еще триста».

Людмила за рабочим столом в Библиотеке общественных наук после увольнения из Института марксизма-ленинизма.

Девятнадцатого октября 1964 года Мила с тремя новыми подругами ходила встречать космонавтов Владимира Комарова, Константина Феоктистова и Бориса Егорова. Они отправились в космос при Никите Хрущеве, а когда вернулись на Землю, он уже был тихо смещен со своего поста — в результате заговора членов Политбюро на его месте оказался Леонид Брежнев. Для советского народа смена высшего руководителя прошла почти незаметно, но для моих родителей более жесткая политическая

линия Брежнева не сулила ничего хорошего. Мила с подругами восторженно махали космонавтам, которые под легким морозцем проезжали в открытой машине по улице Горького. Потом девушки зашли в многолюдное кафе, где проговорили до самого вечера. Однако ни новая работа, ни поддержка друзей не смягчали горечь разлуки с любимым.

> Я отчаянно надеюсь, что наша любовь не умрет; я так хочу быть с тобой, что, кажется, если бы мне пришлось выбирать, я бы предпочла умереть, чем никогда тебя не увидеть. Честное слово! — писала Мила в один из осенних вечеров. — Я тоскую по тебе, ужасно страдаю. Никого и ничего не хочу ни видеть, ни слышать. Мне хочется кричать на весь мир от любви, от отчаянья, от такой жестокой и несправедливой судьбы!

Когда я читал письма моих родителей, сидя у огня на даче вместе с моей будущей женой, я испытал удивительное чувство. Ксения устроилась на диване и читала их вслух, с трудом разбирая беглый почерк, а я расположился на полу и делал заметки, не в силах избавиться от жуткого ощущения, словно оба они умерли и я их потерял. Их голоса, повествующие о событиях личной жизни и страданиях каждого, звучали из такой дали, будто я извлекал на свет давно пережитые факты. Во всем, что они говорили и чего недоговаривали, чувствовалась огромная сила, и я никак не мог стряхнуть с себя это наваждение, даже когда звонил маме и слышал ее голос. Мы с ней говорили о будничных делах, но я не мог заставить себя признаться, что я чувствую и как переполнен восхищением и любовью. И глубокой грустью, ведь я знал — родители мои воссоединились, но их тайная надежда на то, что огромным самопожертвованием и борьбой во имя любви они смогут компенсировать свое несчастливое детство, в конце концов не осуществилась.

> Мне хочется говорить тебе о своих чувствах, о своей глубокой, теплой, безграничной и бесконечно грустной любви к тебе, — писала моя мать. — Мои письма кажутся сухими, потому что невозможно выразить словами то, что со мной происходит, — одновременно что-то прекрасное и ужасное. Это чувство светлое и чудесное, но обжигающее болью.

Зима обрушилась на Москву, а чуть позднее и не так резко — на Оксфорд. Мервин продолжал писать всем, кто мог бы ему помочь. Однако становилось ясно, что быстрого решения

проблемы ожидать нельзя. Они с Милой по-прежнему каждые две недели по 10 минут говорили по телефону, что было довольно разорительно, хотя и условились оплачивать разговоры по очереди. За каждый международный звонок Мила выкладывала 15 рублей 70 копеек при стоимости минуты 1 рубль 40 копеек — весьма солидный расход при ее зарплате восемьдесят рублей в месяц. Но для нее эти телефонные «свидания» с Мервином стали жизненно необходимыми. Она готовилась к ним так тщательно, как будто он действительно ждал ее на Центральном телеграфе, а до нее доносился лишь его далекий голос и потрескивания телефонной линии. Мила никогда не надевала туфли, которые не нравились Мервину, просила Надю завить ей волосы, надевала новый плащ и брала новую сумочку. Когда я размышляю об их переписке, именно этот образ мамы ярче всего встает передо мной: невысокая прихрамывающая женщина в своем самом красивом наряде, с тщательно уложенными волосами идет к остановке троллейбуса на Гоголевском бульваре, радуясь предстоящему свиданию с самым красивым и любимым человеком на свете.

Не переставая хлопотать о разрешении на брак с Милой, Мервин заканчивал работу над своей первой книгой, посвященной социологии советской молодежи. Писал он с 1958 года с перерывами, и теперь перед ним лежала верстка, оставалось внести последние исправления. Мервин надеялся, что благодаря этой публикации сделает академическую карьеру и станет постоянным членом ученого совета колледжа, к чему он стремился всю свою взрослую жизнь. Но теперь, когда борьба за Милу превратилась в войну на изнурение, он забеспокоился. А что, если эта книга, при всей безобидности материала, оскорбит Советы и помешает его усилиям вызволить Милу?

После нескольких недель тяжких раздумий он решил не рисковать, позвонил издателю «Оксфорд Юниверсити Пресс» и попросил исключить книгу из плана. Это вызвало в прессе и в колледже Св. Антония настоящий шок, все сочли его поступок невероятной жертвой. Да и сам Мервин не мог не сознавать, что наносит своей научной карьере непоправимый вред. «С одной стороны, это хорошо, — писал он Миле о своем решении. — Но потрачено столько сил, столько нервной энергии, и все напрасно…» Теперь, когда я заканчиваю свою собственную книгу, над которой работал целых пять лет, жертвенный поступок отца кажется мне невообразимо тяжелым. Ему долго еще не верилось, что он сделал это сам.

Двадцать шестого апреля 1965 года КГБ арестовал Джералда Брука, молодого лектора, которого Мервин знал еще по МГУ, когда они оба приехали туда по студенческому обмену. Его забрали на московской квартире агента Народно-трудового союза, или НТС, злополучной антисоветской организации, которую финансировало ЦРУ. Как выяснилось позже, работа этой организации фактически была сорвана, так как в нее проникло почти столько же советских информаторов, сколько было собственных агентов. Брука взяли с поличным на конспиративной квартире, куда он явился с пропагандистскими листовками для передачи агитаторам, но тех арестовали несколько дней назад, и Брук буквально оказался в руках у поджидавших его сотрудников КГБ.

Когда-то, еще в Оксфорде, НТС пытался завербовать и Мервина. Старый русский эмигрант Георгий Миллер уговаривал Мервина перевезти пачку листовок связному в Москве. Отец благоразумно отказался; и тогда Миллеру удалось договориться с Бруком. Вот от чего уберег меня Господь, подумал Мервин, прочитав об аресте Брука.

Брука судили за антисоветскую деятельность и приговорили к пяти годам лишения свободы. Советская пресса воспользовалась этим случаем и развернула антизападную кампанию. Во время суда над Бруком в антисоветской деятельности был обвинен и Мартин Дьюхерст, бывший посольский коллега Мервина, а также Питер Редуэй, еще один знакомый Мервина, также выдворенный из Советского Союза. К счастью, имя Мервина не упоминалось ни на суде, ни в газетах по причинам, оставшимся ему неизвестными.

Вскоре появились слухи, что советское руководство хочет предложить обмен арестованного в Москве Брука на супругов Крогер, Питера и Хелен, американских коммунистов, которые были советскими шпионами. В 1940-х годах они в качестве курьеров обслуживали шпионскую сеть вокруг Манхэттенского проекта в США, а позднее выполняли в Соединенном королевстве менее значительные задания советской разведки. В Англии Крогеров осудили на двадцать лет за шпионаж, когда было установлено, что они руководили шпионской сетью в Портленде, где проходили испытания британских ядерных подлодок. Скромное курьерское задание аспиранта Брука никак не соответствовало тому вреду, который нанесли британской военной науке Крогеры, и Мервин, как и многие другие, заподозрил, что тот оказался пешкой в крупной игре. В интервью, которое в 1990-м Крогеры дали Би-би-си, они сами это подтвердили. Брука арестовали специально, как разменную

карту, чтобы использовать для возвращения Крогеров, на чем настаивал их лондонский шеф от КГБ Конон Моло́дый, известный также под именем Гордон Лонсдейл, — он избежал ареста и скрылся на родине, когда шпионская сеть была свернута, после чего посвятил себя освобождению своих прежних агентов.

Мервину пришла в голову мысль включить Милу в какой-нибудь из шпионских обменов.

> Повсюду говорят об обмене Брука на Крогеров, — писал Мервин Фредерику Камберу, бизнесмену, имеющему хорошие деловые отношения с Советским посольством, — то есть двоих К. на одного Б. Лично я могу привести множество доводов для того, чтобы включить в этот обмен и Милу. Советы воспримут это как незначительную уступку, так как любой ценой хотят вызволить Крогеров. Долгие месяцы разлуки тяжело сказываются на нас обоих, и дня не проходит, чтобы я часами не обдумывал эту сложную проблему. Вся наша жизнь заключается в переписке. У меня уже 430 писем от Милы, и сам я отправил ей около того, не говоря уже о почтовых открытках.

Проблеск надежды угас после того, как британское правительство заявило, что не одобряет идею подобного обмена: кабинет министров решительно отказался идти на уступки советскому шантажу.

Тем временем Мила приступила к изучению английского языка по грампластинкам. Она по многу раз повторяла простенькие короткие рассказы про Нору и Гарри и их пропавшую собаку, которую мясник возвратил им вместе со счетом за съеденные ею сосиски. Несколько писем Мервина по ошибке бросили в почтовый ящик ее соседки Евдокии, и Миле пришлось извлекать их с помощью ножниц и вязальной спицы. Испугавшись, что соседка скрывала от нее письма Мервина, Мила попросила его прислать список своих писем. «Они точат на меня зуб», — тревожилась Мила. Она плохо спала, видела во сне кошмары, ее преследовали тяжелые детские воспоминания.

> Вчера мне приснился страшный сон. Я кричала и плакала, так что сестра решила, что я заболела. Сон был настолько реальным, что я не могу поверить, что все это только приснилось. Так что сейчас все заснули, а я продолжаю плакать. Сестра говорит, что сны очень дурной знак. Мне кажется, я родилась для этого несчастья… такая сильная боль, такая изощренная

пытка. Все мои мысли и чувства отданы нашей любви. Для меня нет отступления.

Форин-офис уже не старался скрыть свое недовольство, вызванное назойливыми обращениями Мервина. Говард Смит, глава Северного департамента, который занимался Россией, рассматривал Мервина в лучшем случае как надоедливого бездельника и отвечал на его звонки раздраженно, а порой даже грубо.

> Дело доктора Мэтьюза — одно из тех… которое мы очень хорошо знаем, — писал Майкл Стюарт, министр иностранных дел, члену парламента Лори Павитту, обратившемуся к нему по просьбе Мервина. — Ему неоднократно приводились и письменно и в личных беседах с сотрудниками Форин-офиса одни и те же объяснения, почему мы не считаем себя вправе принять его дело к официальному рассмотрению. Имея в виду прошлую историю дела, мы действительно не можем рассчитывать на благоприятный результат в случае вмешательства государственных органов.

Отношения Мервина с Форин-офисом окончательно расстроились после обеда в колледже Св. Антония, на который был приглашен Говард Смит. Мервин через Фреда, стюарда колледжа, попросил его о встрече. Когда Смит появился в дверях, Мервин потерял над собой контроль и, как он позже вспоминал, «весьма резко высказал ему все, что он думает».

«Смит вернулся в общую гостиную просто потрясенный, — позднее сказал Мервину его друг Гарри Уиллетс. — Смит во всеуслышание рассказал, что когда он появился у тебя в комнате, ты, развалившись в кресле, назвал его дерьмом. Он даже сигару изо рта выронил». Мервин говорит, что назвал его просто пердуном. Возможно, он оскорбил его дважды.

Этим поступком Мервин забил последний гвоздь в крышку гроба своей оксфордской карьеры. Его исследования были приостановлены, книга изъята из публикации, имя его появлялось на первых страницах «Дейли мейл», а теперь еще и этот скандал. Декан вызвал Мервина к себе домой для серьезного разговора за бокалом шерри. «Это грубый и совершенно неприемлемый поступок, — сухо выговаривал ему декан. — К тому же он был гостем колледжа. Мы не можем оставить эту историю без последствий. Что вы думаете о работе в Глазго? Возможно, для вас было бы лучше уехать на север и таким образом выбраться сухим из воды».

Итак, с Оксфордом, самой дорогой после Людмилы мечтой Мервина, было покончено. Гарри Уиллетс подтвердил за кружкой пива в пабе «Лэмб энд флэг» на Сент-Джайлс-стрит, что членство Мервина в ученом обществе Оксфорда прекращено. Исключение Мервина из Оксфорда стало одним из самых сильных потрясений в его жизни.

Глава 12
На разных планетах

Я сошла с ума от любви.

Мила — Мервину, 14 декабря 1964 года.

Москва, понял я, обладает особой привлекательностью для людей очень умных, но зачастую надломленных, убегающих от жизненных неудач или стремящихся что-то доказать этому миру. Как и неудачная любовь, она может навсегда изменить человека. И подобно любви и наркотикам, сначала дарит человеку неописуемый восторг, но затем, когда острота чувств утихает, заставляет с лихвой расплатиться за полученное наслаждение. «А ты что, думал, все это бесплатно?» — спрашивал мой коллега по «Москоу таймс» Йонас Бернштейн, когда я появлялся в редакции, жалуясь на похмелье или потирая подозрительные синяки. Наверное, все мы именно так и думали.

Москва достигла апогея своего величия в конце лета 1997 года, когда отмечалось 850-летие основания города. Мэр столицы Юрий Лужков решил провести этот праздник с необычайным размахом, чтобы продемонстрировать расцвет и достижения Москвы, и объявил о проведении массовых гуляний. В этот день в центре столицы собралось пять миллионов человек, и мэр Лужков триумфально проехал мимо Центрального телеграфа в стилизованном под греческий сосуд для вина автоприцепе. На Красной площади пел Лучано Паваротти, на Ленинских горах Жан-Мишель Жарр представлял свое знаменитое световое шоу *son-et-lumiére,* проецируя лазерные лучи на громадное здание МГУ. Помню, как недалеко от Парка культуры я брел среди груд мусора за рядами киосков с водкой и искал, где бы пописать, и наткнулся на парочку, совокупляющуюся на тротуаре среди разбросанных пивных бутылок и рваных пакетов. Это была ночь невероятного разгула; над городом расцветали лазерные лучи Жарра, а молодые парни и девушки разъезжали по улицам на крышах троллейбусов и швыряли в прохожих яркие фейерверки.

В то же самое время в Москве существовали и такие места, которые наверняка раздражали городское начальство с мэром во главе. Два дня я провел на Курском вокзале, под бетонными платформами, где нашли себе убежище бездомные бродяги, оказавшиеся на самом дне. Как только стихла вечерняя сутолока,

эти таинственные обитатели повылезали из своих укрытий в подземных переходах и завладели вокзалом. Спустившись на пути, я увидел несколько семейств, устроивших себе под платформой жилище из картонных коробок. Потом угостил пивом банду молодых карманников, которые половину своей добычи отдавали милиции, чтобы та их не трогала. Со мной заговорила тринадцатилетняя проститутка с грубо размалеванным лицом и сальными волосами, скрепленными блестящей пластмассовой заколкой. Я купил ей банку джина с тоником, и она рассказала, что сбежала из далекой деревни от родителей-алкоголиков, потому что они ее избивали. «Зато теперь я в большом городе, — сказала она, с довольным видом обозревая свое бетонное жилище, заваленное мусором и освещенное уличными неоновыми фонарями. — Я всегда мечтала здесь жить».

Я находил еще много подобных беглецов, обосновавшихся в лабиринтах подземных коммуникаций на окраинах города. Эти ребята, все, как один, пристрастившиеся нюхать клей «Момент», добывали средства к существованию, обчищая карманы, автомобили и квартиры или работая носильщиками у торговцев на рынках. Грязные и худые, они поражали своим неистощимым юмором и дружелюбием, хотя и жили под страхом, опасаясь обнаглевших гомосексуалистов, милицейских облав и американских миссионеров, приносивших им еду, за что заставляли молиться Иисусу. Эти маленькие изгои были хитрыми и циничными, как крысы, но держались одной семьей и заботились о младших ребятишках лет восьми-девяти, которых обучали сложному искусству выживания в их маленьком мирке. Они с огромной гордостью пригласили меня в свое логово и, смущаясь, попросили купить им хот-доги — самое роскошное угощение, какое только могли себе представить.

В августе того же года я переехал в другую квартиру, на Петровке. Моя бывшая хозяйка со Староконюшенного, охваченная лихорадкой наживы, всего за два дня до очередного платежа сообщила, что теперь мне придется платить за жилье в полтора раза больше. Я пообещал, а сам поздно вечером попросту сбежал.

Моей соседкой по квартире оказалась восхитительная, похожая на цветок, девушка из Канады по имени Патти — она была биржевым маклером. Как и многих иностранцев, хлынувших тогда в Москву, Патти прибило приливной волной экономического бума — сразу после избрания президентом страны Бориса Ельцина. Для тех, кто сумел воспользоваться этой распродажей века, наступили золотые времена.

Разбогатевшие в Москве иностранцы являли собой передовой

отряд капиталистических хищников. Они жили в просторных квартирах, где когда-то обитали сталинские министры, устраивали великолепные приемы на огромных дачах бывших членов Политбюро, на уик-энд летали на Ибицу, захватывали женщин покоренной ими страны и, в целом, собирали урожай в сотни миллионов долларов, сравнимый с военными расходами НАТО во время холодной войны, что позволяло им жить с невероятной роскошью. Днем они торговали акциями, приобретали компании и наживали состояние продажей товаров повседневного спроса вроде «Тампакса», сигарет «Мальборо» и дезодорантов, а вечером, нанюхавшись кокаина, разъезжали по Москве в сверкающих черным лаком джипах с девушками поразительной красоты.

Один из моих знакомых нажил миллион благодаря теплым отношениям с русской Православной Церковью. Кремль разрешил ей вести беспошлинную торговлю алкоголем и сигаретами, прибыль от которой должна была направляться на восстановление церквей. Другой мой приятель, работавший в крупной американской консалтинговой фирме, разбогател, проводя аудиторские проверки бывших советских предприятий. Схема была довольно простой. Каким бы обреченным предприятие ни было, аудитор советовал уволить половину рабочих, сочинял привлекательную легенду, чтобы продать его доверчивым западноевропейским инвесторам, а полученный доход делился между советчиком и руководством предприятия.

Россия определенно притягивала к себе людей, начисто лишенных совести и склонных к саморазрушению, здесь ничто не мешало разгулу страстей. Это был странный, безбожный мир, где представления о моральных ценностях полностью отсутствовали, и у человека, обезумевшего от чудовищной свободы, проявлялись самые темные свойства его натуры.

Но за весь этот разгул и обогащение Москва взимала со своих новых хозяев тяжелую дань, коварно отыгрываясь на их психике. Вы видели только что прибывших сюда молодых ребят, веселых, добродушных и простоватых, и всего за год они приобретали тот бесстрастно-жесткий замкнутый облик, который обычно ассоциируется с людьми опасных профессий, например, циркачами. Эгоистичные молодые гедонисты быстро превращались в эгоистичных психопатов — слишком много сексуальных побед, денег, водки, наркотиков и цинизма за слишком короткое время.

Однако Патти каким-то образом удавалось сохранять беспечную жизнерадостность. У меня сохранились самые живые воспоминания о том времени. Как-то ранним летним утром,

проснувшись, я обнаружил в своей комнате обнаженную Патти, которая рылась в моем столе в поисках амфетаминов. Ей нужно было успеть на ранний рейс, чтобы слетать по очередному делу в Сибирь, где она скупала промышленные предприятия. Я сонно проковылял в ванную, взглянул в зеркало и увидел, что на меня смотрит вампир носферату. Придя в себя после дозы химии, Патти весело прошлепала по коридору в своих сандалиях от «Прада» и сумкой от Ральфа Лорена, крикнув мне «до свиданья».

— Патти, дорогая, когда ты купишь мне завод? — крикнул я из ванной.

— Скоро, милый, очень скоро, когда все мы станем очень, очень богатыми! Бай!

Осенью 1965-го Мервин готовился навсегда покинуть свою обитель в колледже Св. Антония. Он получил должность преподавателя в Ноттингемском университете, который, по его же словам, в рейтинге университетов «находился почти у самого дна второго дивизиона». Четырнадцать месяцев усилий не принесли успехов в деле с Милой, и его снедало одиночество. В последние недели он отправлялся в Уитхем и бесцельно бродил там среди деревьев.

> Сегодня вечером мне очень грустно, поэтому я пишу тебе, это помогает, — писал Мервин. — Меня поразили твои рассказы об одиноких прогулках. Ты действительно разговариваешь со мной и зовешь меня? Весь вечер я думал, что услышу твой голос, тихий, нежный и такой мелодичный, только жаль, что не смог бы тебе ответить. Я часто думаю о тебе, ты всегда со мной… Я мечтал о том, чтобы ты была рядом, — мы гуляли бы в солнечном саду или вместе занимались бы чем-нибудь. Печаль моя почти непереносима, но иногда немного утихает, тогда я в состоянии собраться с мыслями и начинаю работать.

С концом своей оксфордской карьеры он впал в отчаяние. Испытанные приемы спастись от него не помогали, так что Мервин стал подумывать о чем-нибудь неординарном. И тут руководство колледжа в прощальном жесте великодушия предложило за свой счет отправить Мервина на конференцию в Вену, хотя он не проводил никаких научных исследований и не мог представить доклад. Единственное условие, предупредил его один из сотрудников колледжа, Теодор Зельдин, чтобы он «не вздумал затевать что-нибудь сомнительное».

Конференция была пышным мероприятием с банкетами и речами. Мервин сбегал с банкетов и обедал в одиночестве в

русском ресторане «Жар-птица», принадлежавшем толстому русскому, который всегда сам встречал гостей и потчевал водкой, даже если ее не заказывали. Гитарист-болгарин исполнял грустные песни и лениво переругивался с хозяином. Мервин действительно замыслил одно «сомнительное» дело: он решил в день закрытия конференции тайно проникнуть в Чехословакию и отправить оттуда конфиденциальное письмо, которое, как он надеялся, изменит его судьбу. Хотя в то время визы не требовалось и поезд шел от Вены до Праги всего три часа, Мервин не спал, опасаясь, как бы его не схватили, как Джералда Брука. Но поездка прошла благополучно; пограничник внимательно изучал его паспорт, однако штамп свой поставил.

Мервин прибыл в Прагу 6 сентября 1965 года и остановился в захудалом отеле «Слован». Он нашел Прагу более оживленной, чем Москва, и даже наткнулся на маленький ночной клуб, где в одиночестве выпил стакан вина. В ту ночь он засел за длинное откровенное письмо Алексею. Мервин расписывал ему выгоды пропагандистской кампании, которую можно будет развернуть в советской прессе, если Миле разрешат выезд из страны, и предлагал за это «существенную» сумму денег. Он указывал на известные случаи с поляками и немцами из Восточной Германии, которые неофициально, но без нарушения закона заплатили за свой выезд. Мервин тоже может помочь России, и хотя сам он не богат, но обязательно найдет спонсоров. Эти деньги могут пойти на «благотворительные цели» в Советском Союзе. «Мы с вами почти ровесники, Алексей, и можем говорить открыто и честно. Прошу вас, помогите!» — умолял Мервин.

В противоположность Миле, Мервин все еще питал наивную веру в порядочность КГБ или хотя бы лично Алексея. Он не обещал свое сотрудничество, но даже если бы и обещал, теперь его предложение вряд ли было бы принято. Он отправил письмо заказной почтой с Центрального почтамта у Венцеславской площади. Ответа он так и не дождался.

Возможно, мои родители нашли в своей разлуке нечто, напоминающее им ту эмоциональную пустоту, которую каждый из них испытал в детстве. Не знаю, но с какого-то момента в самом начале их эпистолярного романа они стали настолько подробно сообщать друг другу о каждом прожитом дне, что постепенно эти письма взяли верх над действительной жизнью, превращаясь в историю и отнимая у них настоящее.

Мила свято соблюдала установленный ею ритуал любви на расстоянии. Уходя на работу, она целовала фотографию Мервина. По дороге домой покупала для Мервина грампластинки, чтобы он

мог слушать русскую музыку со своими друзьями. О малейших недомоганиях Мервина советовалась со своим доктором. Почти в каждом письме она спрашивает о том, как Мервин питается; эта озабоченность едой была привита ей голодным детством.

«Ты слушаешься свою Милу? Прошу тебя, Мервин, не употребляй слишком много перца, уксуса и других специй. Пьешь ли ты молоко? Я каждый вечер выпиваю пол-литра молока. Ешь как следует, как я тебя учила, и следи, чтобы продукты были свежими». Если Мервин отвечал, что время от времени его тянет к блюдам с карри, Мила категорически выговаривала ему: «Я уважаю твои вкусы, но, боюсь, некоторые блюда вредят твоему здоровью, — я говорю о том, на что указывала тебе в Москве — о твоем пристрастии к восточной, кавказской и индийской кухне. Эта кухня для тебя слишком острая, ведь ты живешь в стране с морским климатом. Такая пища подходит людям с крепким желудком, а ты деликатный северный цветок, тебе и есть нужно деликатную пищу».

Иногда Мила просила купить ей что-нибудь из одежды, что Мервин и делал (шутливо ворча на расходы) и отправлял из Лондона в Москву через фирму «Динерман», единственную, имевшую лицензию на доставку посылок из-за границы в СССР. В свою очередь, Мила покупала книги и посылала их, обернутых коричневой бумагой и обвязанных бечевкой, бандеролями. Вскоре у него на полках собралась целая библиотека из ее книг.

Виртуальные отношения Милы с Мервином становились все глубже; она целиком погрузилась в свой воображаемый мир. «Как будто я живу в сложном механизме по имени Мервин и вижу вокруг себя все его болтики и колесики, — писала она. — Ты смысл и цель моей жизни… Вскоре я начну практиковать новую веру, мервинизм, и заставлю всех и каждого верить в моего Бога тепла и радости».

Во многих отношениях жизнь в потоке писем казалась ей более реальной, нежели жизнь окружавших ее людей. «У меня нет настоящего, только прошлое и будущее — когда я в него верю, — писала она. — Вокруг меня все мертво, я ступаю по руинам, направляясь к цели, то есть к тебе». Она жила ради писем Мервина; «остальные дела придумываю только для того, чтобы заполнить время».

Мила описывает, как под теплым моросящим дождиком сидит во дворе у дома на Староконюшенном и, читая последнее письмо Мервина, смеется вслух, а из полуподвального окна на нее с любопытством смотрит какая-то морщинистая старуха. «У меня будто выросли крылья. В письмах ты открываешь свою душу, и она, как чистый, свежий поток, изливается на меня и придает

силы моей душе и телу. Для меня это лучшее лекарство. Твои письма становятся все нежнее и теплее, скоро я буду плакать не от печали, а от радости».

Людмила на отдыхе.
Север России. 1965 год.

Выходные дни она провела на даче; по железной крыше барабанил уже почти осенний дождь, Мила вязала и слушала, как Ольга читает Чехова. Когда дождь кончился, Мила долго гуляла в поле и звала Мервина. Грусть овладевала ею. «Мервин, она сохнет от тоски… Неужели она мало настрадалась за свою жизнь! Я так за нее беспокоюсь! — писала Ленина. — Может быть, оттого, что она никогда не знала родительской любви, она страдает вдвое острее. Наш дом буквально погружен в скорбь… Она перестала улыбаться, смеяться, на глазах у нее постоянно слезы. Прошу тебя, пиши ей чаще, она живет тобою».

От волнений у Милы начались перебои с месячными, но доктор сказала, чтобы она не беспокоилась: «Во время войны у женщин годами не было месячных». Правда, она все равно выписала ей инъекции «для ваших нервов», а также курс магнитотерапии.

В 1965 году Милу внезапно стал терзать страх, что у нее украдут красавца жениха. Этот страх наполнял ее сны. Как-то раз Миле приснилось, что она с Валерием была в Большом театре и увидела в партере Мервина с другой женщиной. Она закричала и стала громко звать его, охваченная непреодолимым желанием спрыгнуть к нему с балкона.

Боль от разлуки усиливала ее самые глубинные страхи, главное, Мила опасалась, как бы Мервин не бросил ее, — она чувствовала себя неуверенно и переживала, что не слишком красива.

> Для меня это самый больной вопрос, и я никогда и ни с кем не обсуждаю его — однако мне жаль, если в этом отношении я разочарую твоих друзей и знакомых, — писала Мила. — Я очень этого боюсь. Правда, утешает одно — у меня всегда было много друзей-мужчин, некоторые из них очень красивые, и я им нравилась, их влекло ко мне. Я знаю, что тебе, как и всякому мужчине, нравятся красивые женщины. Мне тоже нравится красота во всех ее проявлениях. Я очень надеюсь, что ты будешь выше этого и увидишь то, чего не видят другие. Мы будем вместе любоваться на красивых женщин. Я не настолько не уверена в себе, чтобы не признавать красоту других, если только они не суки и не идиотки. Я редко снималась — ты знаешь почему, — но если что-нибудь получится, я пошлю тебе фотографию. Я стесняюсь, когда ты показываешь мои снимки посторонним.

Мила давала почитать кое-какие письма Мервина своим подругам по работе — пусть знают, что у нее тоже есть мужчина, благодаря которому она почувствовала себя женщиной. «Я хочу быть любимой и хочу, чтобы люди знали — я вовсе не несчастна». Но боль и, возможно, смутное ощущение стыда и вины за то, что она потеряла своего возлюбленного, заставляли ее задерживаться на работе — ей было тяжело видеть, как других встречают мужья и возлюбленные.

В конце сентября 1965 года Мервин прочел очень обнадеживщую его публикацию в газете «Сан». Оказалось, тайные переговоры об обмене Брука на Крогеров зашли дальше, чем он предполагал. Советскую сторону на этих переговорах представлял Вольфганг Фогель, загадочный восточногерманский адвокат. У него уже имелся удачный опыт — в 1962 году он участвовал в обмене шпионами — американского пилота Гарри Пауэрса на ветерана советской разведки Рудольфа Абеля, чье настоящее имя было Вильям Фишер. По иронии судьбы, в 40-х годах, когда супруги Крогер внедрились в Манхэттенский проект США, Абель являлся их контролером и передавал им указания московской разведки. Кроме того, ходили слухи, что Фогель организовал «выкуп» восточногерманских немцев их родственниками на Западе.

> Британское правительство решительно отвергает все предложения об обмене сейчас или в будущем, — писала «Сан» в номере от 22 сентября 1965 года. — Оно считает, что Джералда Брука, содержащегося в Москве в заключении за подрывную деятельность, намеренно задерживают в расчете получить за него выкуп. Но эта позиция не отпугнула господина Фогеля… В понедельник вечером, когда он направлялся на встречу с мистером Кристофером Лашем в британской штаб-квартире в Западном Берлине, оливковый «опель» Фогеля пропустили через «Чекпойнт Чарли» без обычной тщательной проверки документов.

Через четыре дня Мервин мчался в поезде на восток через всю Германию. Отопление в поезде было выключено, и на рассвете, дрожа от холода, он прошел через сторожевую будку и колючую проволоку, окружающую Западный Берлин. Как обычно, он остановился в самом дешевом отеле, какой только смог найти, на сей раз в «Алкроне» на Литценбургерштрассе. Мервин позвонил Юргену Штанге, западногерманскому адвокату, знакомому Фогеля, и договорился о встрече на завтра. Весь день

он провел в Восточном Берлине, осматривая достопримечательности. Повсюду глаз натыкался на оставшиеся после войны руины, и в городе ощущались скованность и напряжение. В конце дня он посетил зоопарк, где из клеток на него смотрели насупившиеся обезьяны.

Мервин подробно рассказал Штанге о своем деле, и тот пообещал ему устроить встречу с Фогелем на следующий день. Их свидание состоялось в баре «Баронен», маленьком и очень дорогом заведении, которое часто посещали бизнесмены, а Фогель туда заходил выпить, возвращаясь в Восточный Берлин из своих регулярных поездок. Ожидая Фогеля, он заметил на манжетах высокого бармена очень экстравагантные запонки — явно напоказ, — очевидно, в расчете на солидные чаевые.

Фогель оказался круглолицым доброжелательным очкариком. Мервин не очень хорошо говорил по-немецки, а Фогель не знал английского; Штанге объяснил, что его знания иностранных языков ограничиваются латынью и греческим. Но Фогель был в ударе, и в его голосе звучали оптимистические нотки. Он предложил поменять Милу и еще кого-нибудь на одного из Крогеров, что Мервину показалось в высшей степени маловероятным. Но энтузиазм немецкого адвоката вселил в него надежду.

Когда Фогель собрался уходить, Мервин вскочил и предложил поднести небольшой чемодан, с которым Фогель пришел в бар. Чемоданчик оказался настолько тяжелым, что Мервин едва оторвал его от пола. Спотыкаясь, он последовал за Фогелем, с трудом водрузил таинственный груз в багажник его «опеля» и помахал вслед, когда машина помчалась на восток. Мервин так и не узнал, что находилось в том чемодане.

На следующий день в штаб-квартире западных союзников по антигитлеровской коалиции Мервин встретился с Кристофером Лашем из британского Форин-офиса и попросил связать его с Лондоном — он хотел получить официальный ответ на предложенную Фогелем идею обмена. Лаш категорически отказал ему: «Мы не намерены служить каналом для обсуждения вопросов подобного рода. Мы не желаем, чтобы все сюда ездили».

А Фогель так и не связался с Мервином. Этот вариант оказался очередным тупиком.

Вскоре после возвращения из Берлина Мервин погрузил чемоданы в старенький «форд» и отбыл из Оксфорда на север, в свою новую университетскую квартиру в Лонг-Итоне, недалеко от Ноттингема. За рулем он сидел наверняка с прямой спиной, вспоминая строгий наказ Милы: «не горбись, словно тащишь

ведра с водой».

Мервин нашел Лонг-Итон невероятно тусклым и мрачным промышленным городком, который живо напомнил ему детство в Южном Уэльсе. Профессора Ноттингемского университета были обеспечены гораздо скромнее, чем в Оксфорде. Единственное развлечение, которое мог предложить город, — это посещение пабов, где клиент имел возможность сидеть рядом со стиральной машиной и наблюдать за вращающимся в цилиндре бельем. Оказаться после Москвы и Оксфорда в Ноттингеме означало полный крах, зато теперь он мог целиком посвятить себя своей борьбе. Несмотря на припадок эпилепсии, случившийся с ним впервые в кафетерии на вокзале Кингс-Кросс, Мервин оставался оптимистом.

«С сегодняшнего дня я решил, что, какие бы вести ни получил из России, я всегда буду входить в аудиторию с улыбкой на лице, — писал он Миле. — Мой отказ от издания книги нисколько меня не удручает». На фотографии, сделанной той осенью, Мервин сидит за письменным столом, в своем маленьком, узком университетском кабинете, с радиоприемником, которым на моей памяти он пользовался еще в середине 1970-х, на фоне полок, прогибающихся под тяжестью книг. И с очень серьезным видом читает письмо. Среди беспорядочного нагромождения своих вещей он выглядит по-детски смущенным и немного растерянным, но вполне довольным.

В один из редких приездов Мервина в Суонси, его мать потребовала, чтобы он разорвал эту губительную связь с русской.

> Сегодня утром моя мать-тигрица показала свои клыки. Как гласит английская пословица, «леопард не меняет своих пятен», — писал Мервин, сидя в «форде» на стоянке у спортивного клуба Ноттингемского университета, где он каждый день плавал в бассейне. Она жалуется, что я крайне редко приезжаю домой, что заставляю ее сильно страдать, утверждает, что недавние события в России едва не убили ее. «И когда я думаю, что стало с твоей карьерой, меня охватывает ужас», — говорит она. «Замолчи, — ответил я, — или я сейчас же уеду, машина стоит прямо у дома». Она сразу умолкла.

Мервин рассматривал самые разные варианты решения проблемы. Например: Мила может попытаться выехать в любую социалистическую страну, где ее встретит Мервин, а оттуда они как-нибудь сбегут на Запад. Но для получения визы Миле нужна была рекомендация от начальства, даже для посещения дружественной страны, а в библиотеке никто не решился бы на

такое. Еще она могла фиктивно выйти замуж за какого-нибудь африканского студента, который увез бы ее за границу, но эта идея, помимо всей своей непривлекательности, была невыполнимой, поскольку требовалось разрешение КГБ, и если бы дело сорвалось, это бросило бы тень на всю их операцию.

Он думал и о взятке. А если подарить новый автомобиль какому-нибудь сотруднику посольства, который им поможет? Но опять-таки в столь политизированном деле это неосуществимо. Ему пришла мысль даже о подделке документов, и несколько дней он изучал свой паспорт с множеством печатей, вникал в мельчайшие подробности оформления, купил целый набор печатей и экспериментировал, пытаясь изготовить фальшивую советскую печать. Две пожилые знакомые Мервина, леди неподкупной честности, согласились дать ему свои паспорта. Одна обратилась за выдачей загранпаспорта, хотя вовсе не собиралась никуда ехать, вторая заявила, что потеряла свой паспорт. Но через несколько дней, когда Мервин представил себе все последствия подделки документов, его решимость испарилась. Практически невозможно было приобрести билет из Москвы только в одном направлении, и кроме того, если бы паспортный контроль обнаружил, что выездная виза поддельная, Миле грозило бы несколько лет тюрьмы. Пришлось отказаться и от этой затеи.

В одной из газет Мервину попалась на глаза заметка о том, как еще до войны один русский задумал перейти китайскую границу, но неверно выбрал направление и оказался в Афганистане. Мервин бросился изучать карты юга СССР в тщетной надежде найти районы, где граница не охраняется. В декабре 1965-го он прочел о другом русском, Владимире Кирсанове, который нелегально перешел советско-финскую границу. Что, если Мила сможет повторить его авантюру? Мервин выяснил, где теперь Кирсанов, и в марте 1966-го приехал во Франкфурт-на-Майне поговорить с ним. Но, выслушав его рассказ, Мервин за пару минут понял, что дело безнадежно. Кирсанов был молодым и спортивным парнем, занимался туризмом и альпинизмом. Миле с ее искалеченным бедром никогда не преодолеть болот, не перелезть через заграждение с колючей проволокой. И эта мысль была отброшена.

Прошло два года, и боль от разлуки становилась все острее. Атмосфера в Ноттингеме угнетала Мервина больше, чем он предполагал. Летом 1966-го он решил, что для продолжения борьбы имеет смысл перебраться поближе к Лондону. Рассмотрев ряд предложений, он остановился на Политехническом институте Баттерси, который совсем недавно получил такой же статус,

каким обладал Университет Суррея, но располагался тогда в помещении заброшенного склада в Клэпхеме. Мервин приобрел маленькую квартирку в Пимлико. Его устраивала эта работа, так как она оставляла ему достаточно свободного времени, чтобы надоедать своими просьбами Советскому посольству, Форин-офису и Флит-стрит[6]. К сожалению, Университет Суррея, его студенты и уровень преподавания вызывали у него глубокое презрение, и хотя ему пришлось проработать в нем достаточно долго, он с горечью обвинял себя в том, что докатился до такого унижения.

Мила, в свою очередь, тоже впала в глубокую депрессию. Она похудела, ребра стали видны, «как у туберкулезной старухи», в волосах появилась седина. «Без тебя моя жизнь остановилась, застыла — мне это не просто кажется, а так оно и есть на самом деле, — писала Мила. — Почему мы не построили себе шалаш где-нибудь на краю света, далеко от людской злобы, жестокости и ненависти? Если бы ты был со мной, мне никогда не наскучило бы жить там. Боже, Боже, Боже, неужели все наши страдания напрасны? Жизнь так коротка — до чего же глупо и преступно терять эти дни!» Мила цитировала классическое военное стихотворение Константина Симонова «Жди меня», которое так точно отражало судьбу миллионов советских женщин, обреченных ждать своих любимых, не получая от них вестей с фронта: «Жди меня, и я вернусь, / Только очень жди, / Жди, когда наводят грусть / Желтые дожди, / Жди, когда снега метут, / Жди, когда жара, / Жди, когда других не ждут, / Позабыв вчера».

Случайно разговорившись в Лондоне с приятелем, Мервин узнал, что можно без визы съездить в однодневную экскурсию в любую из Советских прибалтийских республик. А в финском турбюро на Хеймаркете ему подтвердили, что финская туристическая фирма «Калева» действительно организует однодневные туры в столицу Эстонии Таллин и короткие поездки в Ленинград, куда тоже не требуется виза. Имеются в виду финны, объяснила девушка за стойкой, но она думает, что для англичанина тоже не будет никаких проблем. А Мила может приехать туда без всяких хлопот.

В Британской библиотеке Мервин изучил карту Ревеля (теперь Таллина) 1892 года издания и довоенный немецкий путеводитель. Для свидания с Милой он выбрал самую высокую церковь в городе — Св. Олафа, кирку Олевисте, излюбленное место встреч, расположенную недалеко от порта. В начале августа он начал осторожно намекать Миле — не думает ли она провести свой отпуск в Прибалтике? Говорят, Таллин очень красивый

город. Может быть, Мервин посетит Скандинавию числа 26-го или 29-го августа. Слышала ли Мила о церкви святого Олафа? Мила поняла намек и тайно дала понять, что приедет в Таллин.

Конечно, затея была рискованной, и перед отъездом в Финляндию 22 августа он оставил письмо, которое должны были переправить в Форин-офис, если его арестуют.

> В конце месяца я сделаю одну-две попытки проникнуть в Советский Союз, чтобы увидеться со своей невестой, — писал он. — Почти наверняка я поеду в Таллин. Есть опасность, что я окажусь в советской тюрьме… Хочу заявить, что если Советы схватят меня, я не желаю никакой помощи со стороны сотрудников Форин-офиса в СССР и категорически против того, чтобы кто-нибудь из них пытался вступить в контакт с моей невестой. Надеюсь, это письмо не оставляет у вас никаких сомнений… Сожалею, что мне приходилось иметь с вами дело, но не собираюсь это делать в дальнейшем.

Он отправил письмо одному своему другу, чтобы тот переслал его в Форин-офис, если он сам не вернется к середине сентября.

До Копенгагена Мервин летел по льготному тарифу, затем ночным паромом прибыл в Стокгольм, откуда уже на другом пароме добрался до Хельсинки. На следующий день, это был четверг, он посетил офис Агентства путешествий «Калева» и заказал на субботу билет на пароход до Таллина. Оставшуюся часть дня он осматривал Хельсинки, посидел в крепости на старинной русской пушке и отправил письмо Миле, попросив ее прислать ответ в Хельсинки, до востребования. «Не могу подобрать слов, чтобы передать красоту города, — писал он. — Сияющая под солнцем спокойная гладь открытого моря с заливами и островками, по которому скользят красивые белые яхты».

В пятницу он снова зашел в агентство и, хотя не был финном, без всяких проблем получил маленький розовый билет. На следующий день в девять утра Мервин вместе с другими пассажирами поднялся на борт парохода «Вайнемюйне». Они отчалили через час, точно по расписанию.

Погода была типично скандинавской, солнечная и ветреная. Вскоре после отправления суровый русский чиновник в темном костюме начал собирать паспорта пассажиров и складывать в коробку. Взяв паспорт Мервина, он смерил его пристальным взглядом. Все два часа перехода до Таллина Мервин провел на

палубе, нетерпеливо вглядываясь в даль, пока не показались высокие шпили столицы Советской Эстонии. Когда пароход пришвартовался, снова появился русский со своей коробкой и, выкрикивая имена пассажиров, стал возвращать им паспорта. Мервин ждал, чувствуя противную слабость под ложечкой. Но вот пограничник назвал и его имя, последнее в списке, и выдал паспорт, скользнув по нему равнодушным взглядом.

Спускаясь по трапу на пристань, Мервин услышал, как его окликнул по имени женский голос, но это был не голос Милы. Он увидел Надю, племянницу Милы, которая сияла радостной улыбкой, не веря своим глазам. Они с Милой ждали Мервина только на следующий день, и она оказалась на пристани совершенно случайно, просто ей захотелось пробежаться. Мила ждала ее у церкви святого Олафа. Надя проверила, нет ли за ними слежки, но ничего такого не заметила.

Мимо таможни и бастиона они направились в Старый город, а когда приблизились к церкви, Мервин увидел на скамье женщину в платке и нетерпеливо окликнул ее. Он был смущен — это оказалась не Мила.

— Мила вон там, — указала Надя на невысокую фигурку у входа в церковь.

Влюбленные обнялись. «Не могу описать свои чувства, нахлынувшие на меня в ту минуту», — писал потом Миле Мервин. Даже после двух лет разлуки он сразу почувствовал в ней близкое существо, «те же глаза, добрые, все понимающие».

Эти несколько украденных у судьбы часов мои родители прожили в Таллине опьяненные счастьем. Власти категорически предписали им жить вдали друг от друга, и все-таки они встретились и, взявшись за руки, бродили по Старому городу, обсуждали планы на будущее, а сзади, в отдалении, шла Надя, посматривая, нет ли «хвоста». Мервин проник сюда сквозь узкую трещину в мощной стене, разделяющей их с Милой, и маленькая победа рождала в них надежду, что эти несколько часов могут превратиться в целую жизнь. Не знаю, удалось бы им перенести разлуку, которая тянулась почти шесть лет, без этой короткой встречи в Таллине, когда оба убедились в том, что остались прежними, из плоти и крови, а не из слов на бумаге, и что сумеют одержать победу.

Они зашли выпить чаю к одной знакомой Милы, а потом посидели в парке, в лучах заходящего северного солнца. Возвращаясь на пристань, они услышали призывный гудок парохода. Мервин взглянул на часы — он опаздывал.

Они бросились бежать. Мила изо всех сил старалась не отставать. Пароход уже отдал швартовы, но трап еще не убрали.

Они торопливо обнялись, и Мервин взбежал на борт. Стоя на палубе, он долго видел на набережной махавших ему Милу и Надю, их фигурки становились все меньше, пока не растворились в синеватой дали. Он возвращался домой, испытывая глубокую грусть, смягченную вновь вспыхнувшей надеждой.

Туристическое бюро «Ломаматка» в Хельсинки рекламировало также экскурсии в Ленинград — день и две ночи в море, одну ночь и два дня в городе с проживанием на пароходе. И тоже без визы. Вечером 4 сентября Мервин поднялся на борт древнего пароходика «Кастельхольм». Заглянув в трюм, он пришел в восхищение от натужно работавшего старого парового двигателя. Паспорта пассажиров собирал добродушный финн, и Мервин спал гораздо спокойнее, зная, что на борту нет советских чиновников.

Утром он поднялся на палубу и увидел, что пароход уже медленно идет по Неве к пристани. Сойдя на берег, Мервин заметил около какого-то грузовика встречающую его Милу. Не желая привлекать к себе внимание, они даже не обнялись и направились к центру города. На этот раз Мила была одна, без Нади. Весь день они бродили по Ленинграду и посетили Русский музей, где пережили несколько тревожных минут, потеряв друг друга.

Мила забронировала комнату в студенческом общежитии и, с молчаливого одобрения студентов, проскользнула туда вместе с Мервином, где они провели наедине несколько часов. Их спугнул стук в дверь, что оказалось ложной тревогой — это был всего лишь студент, который перепутал комнаты, а вовсе не люди из КГБ, явившиеся, чтобы отправить Мервина в тюрьму. Вечером, поужинав в ресторане жирной уткой, Мервин вынужден был на ночь вернуться на пароход.

На следующий день все повторилось — не имея пристанища, бродили по площадям и улицам, крепко держась за руки. Вечером они снова наспех попрощались, стоя между припаркованными грузовиками, и Мервин поднялся на судно. На этот раз прощанье было не таким грустным, как в Таллине, но все равно эта короткая встреча заставила их острее переживать последовавшую за ней разлуку.

> И вот по темнеющим водам Балтики я возвращаюсь в Хельсинки, — писал Мервин, когда пароход шел вниз по Неве. — Я провел два счастливейших дня за время нашей двухлетней разлуки. Это было восхитительно во всех отношениях. Надеюсь, я не сказал тебе ничего

неприятного. Я оглянулся, когда поднимался на борт, и увидел, как исчезает вдали твоя маленькая фигурка. Мне стало очень, очень грустно. Я по-прежнему люблю тебя, и мы продолжим борьбу за наше счастье. У меня создалось впечатление, что дальше все пойдет значительно быстрее, вот увидишь.

Добравшись 8 сентября до Стокгольма, он писал оттуда: «После нашей встречи в этих северных городах моя жизнь снова приобрела смысл… Думаю, что положение наше уже не будет таким безнадежным, как прежде». Мила избегала прямых упоминаний о встречах в своих письмах. Прочитав в газете о затонувшем в проливе Скагеррак норвежском пароме, она страшно перепугалась, но посмотрела на карту и убедилась, что Мервина там не могло быть.

Мой отец вернулся к своей старой идее запросить визу в СССР из другой страны, надеясь, что там допустят промах. 12 декабря он прибыл на ночном пароме из Саутэнда в Остэнд, затем поездом в Брюссель. Первую ночь он провел в дешевом, но опрятном отеле около Гар дю Норд, который оказался оживленным борделем. Среди ночи его разбудил мощный храп спавшего в соседнем номере толстого африканца. На рю де Паризьен он нашел агентство «Белгатурист», которое организовывало поездки в Москву, и заказал пятидневный тур. Мервин заполнил документы, используя один из вариантов написания своей фамилии кириллицей. Как он и надеялся, на следующий день ему вернули паспорт с визой — советское консульство, сверяясь со своим черным списком, пропустило его фамилию без внимания.

Через два дня он уже был в Москве и, как обычно, остановился в гостинице «Националь». Странно и тревожно было снова оказаться в Москве под пристальной слежкой множества агентов в штатском. Не будучи уверен в успехе своей затеи, он не стал заранее предупреждать Милу о приезде. Вечером он позвонил ей домой из таксофона на Моховой, и она с изумлением услышала, что он в Москве. Зная, что его в любом случае возьмут под наблюдение, Мервин решил не прибегать к каким-либо уловкам. На следующее утро Мила побежала на Моховую — он уже ждал ее у входа в «Националь», и они отправились на Арбат к Миле, где все оставалось по-прежнему. Затем позвонили во Дворец бракосочетаний, где им сказали, что директор Ефремова будет в понедельник. Следующий день, Рождество, они провели в комнатке Милы, только сходили на Центральный телеграф

отправить матери Мервина поздравительную телеграмму.

В понедельник они явились во Дворец бракосочетаний, чтобы поговорить с Ефремовой, которая пришла в ужас, неожиданно увидев Мервина у себя в кабинете. Промямлив что-то о «необходимости соблюдать обычную процедуру», она поспешно выпроводила их. Мервин позвонил в посольство, и дежурный сотрудник на удивление охотно согласился помочь им на следующий день, когда откроется посольство.

Однако, когда утром Мервин вышел из «Националя», он сразу насторожился — агенты уже заняли свои посты и взяли его под строгое наблюдение. В тот же день в регистратуре отеля для него оставили сообщение с просьбой немедленно связаться с «Интуристом». В «Интуристе» заявили, что его виза аннулирована и он должен немедленно покинуть страну. Мила ужасно расстроилась. «Но, Мервуся, сейчас мы ничего не можем поделать», — рыдала она.

В четыре часа дня Мервин вновь оказался в мрачном кабинете заместителя начальника ОВИРа, который дважды повторил одну и ту же фразу: «Вы должны покинуть Россию немедленно, сегодня или завтра, ближайшим авиарейсом».

Мервину пришлось подчиниться, в противном случае его упекли бы в тюрьму, где уже находился Брук, и он стал бы еще одной разменной монетой в деле освобождения Крогеров. В третий раз за пять месяцев Мила провожала его из своей страны — только на этот раз, по-видимому, действительно последний. Если его снова застанут в России, он наверняка окажется за решеткой.

В газетах появились заметки о повторной высылке Мервина из СССР. Советское Министерство иностранных дел направило в Форин-офис официальный протест по поводу приезда Мервина, только об этом еще не знали ни пресса, ни сам Мервин. К нему обратился Дэс Звар с просьбой помочь ему написать большую статью для журнала «Пипл» о том, как можно нелегально проникнуть в Советский Союз, но Мервин решительно отказался.

Освещение его истории в прессе принесло совершенно неожиданные результаты. Мервину позвонил Дерек Дисон, которого тоже в октябре 1964 года выслали из Советского Союза, вынудив расстаться со своей невестой. Мервин предложил ему встретиться в пабе «Альберт» недалеко от вокзала Виктория — это маленькое заведение, рядом с моей школой, где тридцать лет спустя мы с приятелями из шестого класса частенько тайком выпивали. Ровесник Мервина, Дерек работал контролером на автомобильном заводе «Форд» в Дагенхэме. Его широкое

открытое лицо сразу внушило Мервину доверие. Летом 1964 года Дерек проводил отпуск на побережье Черного моря и познакомился с Элеонорой Гинзбург, русской еврейкой, преподавательницей английского языка из Москвы. Они полюбили друг друга, и он сделал ей предложение. Бракосочетание было назначено на октябрь. Дерек приехал в Москву с запасом в несколько дней и, поскольку Элеонора с сестрой жили в маленькой тесной квартирке, перед свадьбой решил на пару дней съездить в Сочи. Там он познакомился с компанией русских парней, которые устроили для него мальчишник. Не привыкший к водке Дерек быстро опьянел и стал буянить. Кто-то вызвал милицию, его запихнули в самолет, улетающий в Москву, а там пересадили на другой рейс, в Лондон, даже не разрешив позвонить Элеоноре. Она услышала его голос, когда он со слезами звонил ей уже из Лондона. С тех пор Дерек девять раз обращался с просьбой выдать визу на въезд, но ему постоянно отказывали.

Мервин нашел в Дереке умного и энергичного соратника по борьбе, и они стали регулярно встречаться в «Альберте» или «Одли» на Саут-Одли-стрит и составлять планы своей кампании. В отличие от Мервина, у Дерека не было столкновений с советскими властями, и, решившись сотрудничать с Мервином, он рисковал гораздо большим, чем просто отказом в визе. Однако каждый радовался, что теперь имеет хоть одного верного союзника. Они обменялись адресами Милы и Элеоноры, так что девушки могли встречаться и делиться своими переживаниями и новостями.

Еще раз возвращаться в Советский Союз было слишком опасно, даже Мервин понимал, что искушать судьбу и дальше было бы неблагоразумно. Но в ближайшее время ожидался официальный визит в Лондон советского премьер-министра Алексея Косыгина, что представлялось Мервину превосходной возможностью вновь прибегнуть к испытанной им тактике. Мервин решил передать ему свое прошение в соответствии с издавна существующей традицией. Он заранее отправил письмо королеве, которую должен был посетить Косыгин, с просьбой поднять его вопрос, но получил только официальное уведомление, что ее величество ознакомилась с его письмом. Тогда он связался со специальной службой, охраняющей членов королевского семейства, английских и иностранных государственных деятелей, чтобы ему указали время и место, где он мог бы вручить Косыгину свое письмо, не вызывая осложнений. Принимавший его офицер разговаривал с ним очень

сухо, и после встречи Мервин, к своему удивлению и крайнему возмущению, заметил, что за ним стали следить агенты спецслужбы. Он отправился на Даунинг-стрит и остановился в ожидании Косыгина напротив дома № 10, однако охранявшие советского премьер-министра сотрудники КГБ приказали ему немедленно удалиться. У здания парламента он затесался в толпу зевак и сказал полисмену в штатском, что хочет вручить письмо.

— Вы не можете это сделать, — ответил полицейский.

— Но я не нарушаю никакого закона!

— Если вы выйдете из толпы, — заявил ему инспектор, подрывая давнюю веру Мервина в британскую полицию, — мы отведем вас в участок и пришьем какое-нибудь дело.

Третью, и последнюю, попытку добраться до Косыгина он сделал около музея Виктории и Альберта, где советский премьер и Гарольд Вильсон должны были посетить выставку, посвященную англо-советскому сотрудничеству. И опять ему не удалось даже приблизиться к Косыгину. Но когда советский премьер уехал, Вильсон оставался стоять на тротуаре в ожидании своего автомобиля. Мервин рванулся вперед и сказал:

— Как насчет наших невест, мистер Вильсон?

Премьер-министр обернулся, и по выражению глаз Мервин понял, что тот его узнал.

— Я вас знаю! — сказал премьер и уселся в машину. А письмо так и осталось лежать у Мервина в кармане.

Вскоре у Мервина возникла новая идея. Не удастся ли ему раздобыть что-нибудь важное для Советов, что можно будет обменять на свободу для Милы? Какие-нибудь еще не обнаруженные рукописи Владимира Ленина — подобные материалы постоянно переводят и снабжают комментариями бывшие коллеги Милы по Институту марксизма-ленинизма. Русские особо интересуются письмами и работами Ленина, относящимися к 1907–1917 годам, когда он жил в Западной Европе, разжигая революцию и сварливо пикируясь с товарищами-коммунистами. Может быть, эти мертвые бумаги окажутся для Милы животворной силой.

Воодушевленный своей идеей, Мервин устремился в Британскую библиотеку, чтобы увидеть образец почерка Ленина. Он запросил заявление Ленина на получение читательского билета от имени Якоба Рихтера и стал изучать особенности написания латинских букв, делая себе заметки на случай, если ему подвернется одно из писем Ленина и он сможет его приобрести. Возвратив документы библиотекарю, Мервин с надеждой подумал, что, возможно, держал в руках ключ к

освобождению Милы.

В поисках необнаруженных архивов Мервин стал обращаться к своим зарубежным друзьям. В Париже он нашел Григория Алексинского, который весной 1907 года был депутатом от социалистов Санкт-Петербурга во Второй Государственной думе. Алексинский был знаком с Лениным и переписывался с русским марксистом, экономистом Георгием Плехановым. Сын Алексинского, тоже Григорий, оказался довольно приятным человеком лет тридцати с небольшим и работал инспектором уголовной полиции. Мервин пригласил его пообедать.

> Сначала мы выпили аперитив, — писал Мервин Миле, не упоминая о настоящей цели этой встречи. — Затем пошли пообедать в «дешевый» ресторан (но за двоих мне вручили счет почти на три фунта!). Это из-за вина, от которого у меня закружилась голова. Затем он привел меня к себе домой, где нас встретила его жена с чаем и пирожными. У них роскошная квартира, в которой сияют медью три великолепных самовара. Между нами завязался оживленный разговор, но мой хозяин все время перескакивал с русского на французский, так что в конце концов я уже не понимал, на каком языке мне говорить!

Появился старший Алексинский, хрупкий старичок. Отец и сын показали ему коробки с архивом, правда, открыть их не позволили. Советы проявляют к ним огромный интерес, но старик — ярый антисоветчик — отказался продать им свою переписку. Однако Мервину они готовы продать архив всего за 50 тысяч франков, то есть 3700 фунтов, что равнялось заработку Мервина за полтора года.

Несмотря на ошеломляющую сумму, Мервин пришел в восторг. Он написал прежнему начальнику Милы в Институте марксизма-ленинизма Петру Николаевичу Поспелову, скрыв от него истинные причины своего интереса к рукописям Ленина.

> Мне известно, что советские историки прилагают огромные усилия для поиска рукописей Ленина в Западной Европе, чтобы возвратить их на родину гениального вождя Великой Октябрьской революции, — писал Мервин в стиле убежденного марксиста. — Недавно я выяснил, что в Париже находятся ценные архивы Григория А. Алексинского, члена Государственной думы и близкого знакомого Ленина. В настоящее время сын мистера Алексинского, которого я

> хорошо знаю, предоставляет мне возможность приобрести архивы своего отца. Лично я считаю, что Москва — самое подходящее место для хранения ленинских документов, потому хотел бы помочь в передаче их советским историкам.

Советы восприняли это известие с энтузиазмом. Преемник Поспелова Петр Федосеев запросил более подробную информацию об архивах. Перед Мервином засверкал луч надежды.

■

Во время отпуска Мила посетила Михайловское, имение Пушкина, где с восхищением осматривала английскую мебель. Погода была холодной, шел снег, и около могилы Пушкина в Святогорске она купила антоновку, а потом в одиночестве бродила по знаменитому парку имения. «Стоит ли говорить, как мне хотелось, чтобы ты был рядом со мной? — писала она. — Я просила деревья, лес, птиц и воздух выполнить мое желание и с огромной нежностью читала стихи Пушкина. Мервин, дорогой мой, у меня в душе столько любви и нежности к тебе, как мне передать их тебе? С каждым днем я люблю тебя все больше и больше». Вернувшись в Москву, она заказала на Центральном телеграфе разговор с Мервином. Не желая возбуждать в ней обманчивую надежду, он умолчал о своих планах. Однако Мила угадала в его голосе нотки оптимизма и, по дороге домой после «телефонного призыва к жизни», напевала: «О, милая! Не забывай в дни скорби / Всего темней перед восходом солнца!»[7]

«Мы с тобой два маятника, качающиеся в одном ритме, — писала она в тот вечер. — Я целую дорогой для меня кончик твоего маятника». В конце письма она нарисовала двух человечков, составленных из палочек, с огромными сердцами в груди.

Мервин занялся поисками денег и стал рассылать письма друзьям и знакомым. Исайя Берлин ответил, что «не знает в Оксфорде ни одного человека с крупным банковским счетом и щедрым сердцем». Рауф Хаил, старый оксфордский друг, чьей семье принадлежало в Египте столько земли, что, по выражению самого Рауфа, ему было тяжело думать об этом, несколько лет назад скончался в Африке от сердечного приступа во время чтения лекции. Мервин уговорил свою знакомую из Гарварда, Присциллу Джонсон, попросить дочь Сталина, Светлану Аллилуеву, которая в 1967 году сбежала на Запад, помочь освобождению Милы, поделившись доходами от продажи ее

книги, но разговор закончился ничем. Газетный барон лорд Томпсон, с которым Мервину удалось поговорить несколько минут, денег не предложил, но дал хороший совет. «Попросите у продавца архива дать вам на него авторские права, — сказал Томпсон, подбросив Мервина в своем огромном сером „роллс-ройсе“, — стоит это не так уж дорого, зато развяжет вам руки».

Но без денег план Мервина буксовал. Более того, когда Мервин приехал в Институт марксизма имени Мориса Тореза в Париже, чтобы побеседовать с экспертом по Ленину, М. Лежен уверенно заявил, что письма из алексинского архива не могли быть написаны Лениным.

В Лондоне наступила осень, и великая охота за архивом закончилась, не дав ожидаемых результатов. Встречи Мервина с Дереком проходили все более мрачно и безотрадно. Финны прекратили свои туры в Прибалтийские республики, с ними исчезла надежда еще раз съездить в Россию. «Ленинский» архив оказался блефом, мосты между Мервином и КГБ давно были сожжены. В финансовом отношении Мервин сидел на мели, а между тем приближалось окончание пятилетнего срока, который он назначил себе для вывоза Милы из Советского Союза. Острое отчаянье их первых писем после разлуки превратилось в тупую боль; оптимизм Мервина носил все более принужденный оттенок. Действительно, казалось, конец их любовной истории уже близок.

И вдруг совершенно неожиданно появилась еще одна ниточка, и отец, не желая в том признаваться, в глубине души решил, что это будет его последней попыткой. Один приятель помог ему связаться с Павлом Ивановичем Веселовым, обосновавшимся в Стокгольме русским эмигрантом, который называл себя «юридическим советником». Он специализировался на вывозе людей из Советского Союза и к тому времени сумел вызволить одиннадцать человек. Методы его работы не были эффектными — он тщательно подбирал документы, проводил кампанию в шведской прессе, использовал свои связи, то есть делал примерно то же самое, что и Мервин. Надежда была слабой, но больше ему не на что было рассчитывать.

Веселов написал ему из Стокгольма. «Я скорее охотник, чем воин, предпочитаю взять противника измором, а не с бою», — объяснил он своему потенциальному клиенту. На Мервина это произвело сильное впечатление. В конце семестра он отправился на пароходе из Тилбери в Стокгольм. Шведский стол обходился в тридцать шиллингов, и Мервин, крайне ограниченный в средствах, предпочитал голодать. В его тесной каюте третьего класса помещалось четыре койки и царил вечный шум и гам. Он продолжал писать Миле, но отправлял письма его друг Жан-

Мишель из Брюсселя, — Мервин пытался скрыть от цензоров КГБ свое местонахождение. В Стокгольме он остановился в гостинице Армии спасения. Великий крестовый поход почти окончательно истощил денежные ресурсы Мервина.

Веселов оказался пятидесятилетним человеком с всклокоченной шевелюрой над скуластым славянским лицом. Он привел гостя в свою крохотную квартиру на убогой улочке в рабочем районе города и представил молодую жену-шведку, которая ни слова не говорила по-русски, а затем, с гораздо большей гордостью, любимого черного кота Мишку. Они уселись поговорить в единственной комнате, по русскому обыкновению загроможденной мебелью.

С огромным энтузиазмом Веселов рассказывал Мервину о своих последних делах, из коих самым триумфальным стало освобождение человека из лагерной зоны. Достав большой рулон, напоминающий обои, Веселов отошел к противоположной стене комнаты и торжественно его развернул. Изнутри были наклеены вырезки из газет, посвященные одному из успешных дел. Мервин был восхищен и коллажем, и успехами Веселова в деле освобождения людей из России.

О себе Веселов поведал, что он старовер, принадлежит к отделившейся от русской Православной Церкви секте так называемых раскольников, известных своей преданностью старым церковным традициям и на протяжении веков преследовавшихся в России. Еще он сказал, что во время войны служил полковником в финской разведке. Мервин заподозрил, что во время финской войны 1939–1940 годов Веселов дезертировал из Красной армии. Он говорил, сильно, по-волжски окая, курил крепкие сигареты, был очень общительным и крайне щепетильным. «Если бы пресса хоть раз заподозрила меня во лжи, — заметил Веселов, — у меня никогда не приняли бы ни одной следующей истории». И еще, он был графоманом и трудился над эпической поэмой о Древнем Риме. Его героиней была роскошная римская куртизанка, напоминавшая, как подумалось Мервину, проститутку с Волги. В конце вечера Веселов угостил Мервина долгим и страстным чтением своей рукописи, прерывая его частыми восклицаниями: «Ой, Мервин, что за девушка, какая девушка!» Когда, уже ближе к утру, Мервин набрался смелости и сказал, что ему пора идти, Веселов оскорбленно прошипел: «Значит, с вас довольно, да?»

Появившиеся в июле сообщения о предстоящем визите Алексея Косыгина в Стокгольм заставили Веселова прервать затянувшееся молчание и позвонить Мервину. Пресса заинтригована, заявил он, и вы должны еще раз попытаться передать Косыгину свое письмо. Мервин был настроен

скептически. Какой толк передавать еще одно письмо, когда все остальные так и остались непрочитанными?! Впрочем, огласка в прессе могла принести свои плоды.

В редакции «Экспрессен», ежедневной стокгольмской газеты, звонку Мервина очень обрадовались. Любовная история подвернулась весьма кстати для того, чтобы придать остроту сухому освещению официального визита Косыгина. Газета согласилась оплатить транспортные расходы Мервина. К этому моменту траты моего отца на постоянные разъезды настолько превышали его зарплату, что он уже подумывал продать квартиру в Пимлико и переехать куда-нибудь за город, где жилье стоило гораздо дешевле.

Мервин прибыл в Стокгольм накануне приезда Косыгина и остановился в отеле «Аполония». На следующее утро у дверей гостиницы его встретили в редакционной машине журналист и два фотографа, вооруженные подробным планом передвижений Косыгина. Они решили передать письмо Косыгину, когда тот прибудет к Хага-Палас, резиденцию правительства. Сидя на скамейке в парке, Мервин успел написать письмо Миле.

> Как ты, вероятно, догадываешься, я приехал в Стокгольм увидеть Алексея Николаевича (Косыгина) и, если получится, передать ему письмо… Сейчас я сижу в тихом парке, разбитом вокруг правительственной резиденции. Он должен приехать сюда через час. Резиденция огромная, с прекрасным прудом перед ней. В данный момент на нем курсирует моторка с полицейскими. Типичный скандинавский уголок, довольно печальный. К счастью, за сиденье на скамейке здесь не арестовывают, но уверен, что наступит день, когда за вход в парк будут взимать плату.

Перед приездом Косыгина мощный кордон из полицейских оттеснил в сторону Мервина и команду газеты «Экспрессен». После этого репортеры сразу ретировались, а Мервин растерянно побрел вслед машине Косыгина, а затем решил попросить шведских полицейских помочь ему передать письма советскому министру и его дочери, но Мервина арестовали и на всякий случай до вечера продержали в участке. Наконец его выпустили без всяких объяснений, и он направился к Веселову, уставший и возмущенный. Веселов пришел в негодование.

— Какой ужас! И это в так называемой цивилизованной стране! С другой стороны, это как раз то, что нам нужно. Благодаря вашему аресту мы должны выиграть наше дело! Пойдемте, нужно зайти в редакцию «Экспрессен», может, они

успеют поместить заметку в завтрашнем номере.

Веселов был настроен на решительную схватку.

— Офицера полиции следует призвать к дисциплине, мы напишем об этом министру внутренних дел!

На следующий день в «Экспрессен», а также в «Афтонбладет» и «Дагенс нюхетер» опубликовали историю ареста Мервина и в дополнение фотографию, где он с измученным видом разговаривает по телефону. В одной из заметок приводились якобы сказанные им слова: «Швеция — полицейское государство», что вызвало одно-единственное письмо возмущенного шведа, заявившего, что Мервину следует с большим уважением относиться к законам чужой страны.

Но в итоге все это оказалось бесполезным, и он просто бросил в почтовый ящик два письма, адресованные Косыгину и его дочери. И хотя в британской прессе появилось с полдюжины заметок, а в немецкой «Бильд» даже целый разворот, Мервин понимал, что его четырехлетняя борьба ни на шаг не приблизила освобождение Милы.

В декабре 1968 года, выходя из паба «Одли» в Мейфере, Мервин и Дерек заметили перед зданием дипломатической миссии Объединенных Арабских Эмиратов советский автомобиль с дипломатическим номером SU1. Они подошли поболтать с шофером, и тот сказал, что скоро должны выйти советский посол Михаил Смирновский с супругой. Друзья дождались их появления, и Мервин обратился к ним. Оба сразу его узнали, и жена посла встревожилась.

— Мистер Смирновский, почему мы не можем жениться? — спросил Мервин.

— Нам известно о вашем случае, — нервно буркнул Смирновский, протискиваясь мимо него в лимузин. — Вы не должны мешать.

Дерек сказал репортерам «Ивнинг пост», что эта встреча «была самой вдохновляющей за долгое время. По крайней мере, она доказывает, что русские отлично знают о нашей длительной борьбе за право жениться на своих невестах».

Мервин продолжал действовать. Случай со Смирновским подсказал ему идею обратиться за помощью к главам ста десяти дипломатических миссий в Лондоне. Он приобрел видавший виды ручной принтер, чтобы напечатать листовки и циркуляры, которые собирался разослать по всему Лондону, но аппарат только внес полный беспорядок в его крохотную спальню и перепачкал чернилами покрывало на кровати. В начале апреля Мервин составил листовку с фотографиями Милы, Элеоноры и

миссис Смирновской под заголовком «Три советские женщины» с коротким изложением своей истории на оборотной стороне. Не останавливаясь перед расходами, он разместил в типографии заказ на печатание листовок. Когда Мервин и Дерек подсовывали их под «дворники» на лобовых стеклах дипломатических машин в Кенсингтон-гарденс, полиция пригрозила им арестом.

Мила снова упала духом, и ее декабрьские письма были полны тоски и уныния. В первый день нового, 1969 года Мервин ответил ей возмущенным письмом:

> Вероятно, ситуация представляется тебе совершенно безнадежной. Если ты действительно так считаешь, то должна прямо об этом сказать или продолжать и дальше верить в меня… За последние девять месяцев 1968 года в газетах нескольких стран вышло около пятидесяти статей, посвященных моим попыткам решить проблему. А кроме того, прошу тебя, не критикуй того, чего ты не можешь понять; дело в том, что у тебя нет фактов, чтобы судить о моих действиях. И запомни: сейчас ничто не может повредить мне так сильно, как разговоры о тщетности моих усилий. Пока еще я продолжаю заниматься нашим делом, но начинаю готовиться к окончанию срока.

Второго января, немного ободрившись, Мила отправила ему телеграмму: «Наилучшие новогодние пожелания моему дорогому кельту, люблю его преданно, верю, жду нашего счастья, тоскую по тебе, целую. Мила».

Мервин решил, что можно рискнуть и написать новую книгу о Советском Союзе, поскольку Мила, по всей видимости, была в безопасности и после увольнения из Института марксизма-ленинизма, что произошло четыре года назад, на нее больше не оказывали никакого давления. Книга могла бы оживить академическую карьеру Мервина. Во всяком случае, идея новой книги воодушевила Мервина, и, немного отдохнув в Марокко, в Турции и на Балканах, он занялся поисками денег.

Вместе с тем Мервин и Дерек решили искать поддержку в палате общин. По их просьбе один из независимых членов парламента составил билль с призывом к членам палаты «побудить министра иностранных дел вновь заняться делом Дерека Дисона и Мервина Мэтьюза, желающих жениться на девушках, которым не выдают визу на выезд из Советского Союза, — как по соображениям гуманности, так и для того, чтобы покончить с этой историей, становящейся одним из препятствий на пути улучшения англо-советских отношений».

Вскоре нашлась и финансовая поддержка для издания книги. Колумбийский университет в Нью-Йорке предложил моему отцу сотрудничество сроком на три месяца. Мервин был вне себя от радости — он сможет отвлечься от перенесенных в Лондоне разочарований. Кроме того, поскольку на Манхэттене находилась штаб-квартира ООН, у него появлялось совершенно новое поле деятельности.

Глава 13
Исход

Жить не по лжи!

Александр Солженицын

На рассвете 20 апреля 1969 года Мервин прибыл в Нью-Йорк, желтое такси доставило его к отелю «Мастер» на Риверсайд-драйв, где он снял большой, но мрачноватый номер. Однако прежде всего Мервина интересовала телефонная связь, поэтому он сразу спустился вниз и поговорил с пожилой телефонисткой по имени Грейс. Она заверила его, что он сможет разговаривать отсюда с Москвой. Успокоившись, Мервин вышел на улицу и на 99 центов позавтракал в дешевой закусочной.

Следующая неделя принесла важные новости — Дерек прислал ему маленькую вырезку из газеты «Гардиан»: «Вчера Министерство иностранных дело запросило советского посла мистера Смирновского, может ли он подтвердить, что Джералд Брук, тридцати лет, преподаватель, отбывающий в России пятилетний тюремный срок за подрывную деятельность, снова предстанет перед судом по обвинению в шпионаже…» Брука должны были выпустить на свободу в апреле 1970 года; а Крогерам из назначенного им срока заключения оставалось еще больше 10 лет. В «Известиях» еще в 1967 году высказывалось предположение, что Брука могут снова судить, обвинив в шпионаже. И теперешний запрос советскому послу означал, что слухи были обоснованными. Но как отреагирует на новый шантаж Москвы правительство Вильсона, оставалось по-прежнему непонятным.

Мервин написал У Тану, генеральному секретарю ООН, и послал две возмущенные статьи в газету русских эмигрантов «Новое русское слово». Как и договорились заранее, каждую неделю они с Дереком обменивались длинными письмами и аудиозаписями, а телефоном, из-за дороговизны, пользовались только в исключительных случаях.

Шестнадцатого июня в «Таймс» появились новые сведения о Бруке: «Представитель Форин-офиса заявил, что переговоры по делу мистера Брука (не обязательно в связи с обменом на Крогеров) продолжаются. По-видимому, дело остается в прежнем положении. Однако вчера тот же представитель опроверг слухи о том, что визит в Британию господина Вольфганга Фогеля,

восточногерманского адвоката, имеет какое-либо отношение к обмену». Если в деле участвует Фогель, рассудил Мервин, значит, определенно что-то затевается.

Он отправил в Форин-офис лаконичные телеграммы. «Обмен Брука-Крогера должен включать советских невест Бибикову, Гинзбург. Внимательно следим развитием событий. Возможны публичные акции», — писал он Майклу Стюарту, который тогда второй срок занимал пост министра иностранных дел. «Переговоры Бруку должны включать Бибикову и Гинзбург. Иное неприемлемо», — телеграфировал он сэру Томасу Браймлоу, заместителю министра и одному из самых ярых противников Мервина в Форин-офисе.

Восемнадцатого июня он дополнительно послал письмо:

> Уважаемый Браймлоу [sic], мне только что стало известно, что вы рассматриваете возможность обмена Брука на Крогеров. Мы оба, Дерек Дисон и я, ожидаем, что в этот обмен будут включены наши многострадальные невесты… Ужасные события 1964 года все еще свежи в моей памяти, и моя цель — не позволить Форин-офису делать новые ошибки за мой счет. Обмен Брук — Крогеры (без участия наших невест) будет еще одним грубым промахом с вашей стороны… По сути, мы требуем гарантий, что в дальнейший ход переговоров будут включены и наши невесты. В противном случае у нас не остается иного выбора, как предпринять любые меры, как публичного, так и частного характера, чтобы наши интересы после стольких печальных лет не были проигнорированы. Копии: премьер-министру и директору Интеллидженс-сервис.

Двадцатого июня 1969 года в кабинете министров прошли жаркие дебаты по поводу предлагаемого Советами обмена. Аргументами в пользу вызволения Брука из России были показания британского моряка Джона Уитерби, который отбывал в России короткий срок заключения и видел в тюрьме Брука; он подтвердил, что его здоровье сильно пошатнулось. Наконец поддался нажиму Гарольд Вильсон, хотя с самого возникновения идеи об обмене в 1965 году он был категорически против. Возможно, он вспомнил молодого валлийца, того, кто пытался поговорить с ним в Москве и в Лондоне. Но, скорее всего, он хотел, чтобы закончилась эта бесконечная сага о Бруке, а участие в деле советских невест помогло бы успокоить прессу, иначе журналисты не преминули бы обрушиться на правительство с

обвинениями в уступке советскому шантажу. Кабинет дал официальное разрешение на обмен по соображениям гуманности. После этого должны были немедленно начаться переговоры с советской стороной. Наконец-то бездушный «джаггернаут истории», о котором с такой горечью писала Мила, изменил свой курс.

Двадцатого июля 1969 года, в тот самый день, когда Мервин возвратился из Нью-Йорка домой, американский астронавт Нил Армстронг спустился по трапу корабля «Аполлон-11» и ступил на лунную поверхность. «Мы с тобой на разных планетах, — писала Мила Мервину в 1964 году, в первый день их разлуки. — Мне так же трудно долететь до тебя, как до Луны». Но вот человек долетел до Луны — и внезапно показалось, что мечта Милы выехать из Советского Союза и соединиться с Мервином вовсе не такая уж несбыточная.

Мервина вызвали в Форин-офис. Сначала сэр Томас Браймлоу не желал признавать, что Мервин в конце концов добился своего. Дело Мервина и Милы, говорил он, крайне осложняло переговоры, и русские хотели исключить его из соглашения об обмене. Неутомимая кампания Мервина определенно препятствовала благополучному решению его дела, и участникам переговоров с британской стороны стоило огромных трудов уговорить Советы преодолеть их раздражение от этого назойливого овода, Мервина. Так или иначе, но они уступили, и Мервин сможет наконец получить визу в СССР, как только будут на свободе Крогеры. Мервин вернулся в Пимлико, не смея поверить этому обещанию. Из опасения пробудить в Миле обманчивые надежды он решил ничего ей не говорить.

Через четыре дня в Англию прибыл Брук. Известие о его возвращении с коротким упоминанием о Миле и Мервине появилось на первых полосах вечерних газет. В тот же день Майкл Стюарт сделал в палате общин заявление. Мервин занял место на дипломатической галерее; Дерек — на галерее для публики. Стюарт объявил, что принято решение об освобождении Крогеров 24 октября. «В рамках отдельного дела пришли к соглашению, что три британских гражданина, которые в течение нескольких лет безуспешно пытались сочетаться браком с советскими гражданами, получат визы на въезд в Советский Союз для регистрации брака…» Находящиеся в разных концах палаты Дерек и Мервин разразились аплодисментами.

На следующий день в «Таймс» были опубликованы новые подробности. Кроме Дерека и Мервина, третьей особой была англичанка Камилла Грей, искусствовед, которая получила

разрешение на брак с Олегом Прокофьевым, сыном композитора. Она не желала иметь никакого отношения к кампании, проводимой Мервином. В статье содержалось еще одно уточнение: раньше срока из мест заключения освобождали Билла Хотона и Этель Ги, сотрудников Министерства обороны Британии, завербованных Крогерами и ставших агентами КГБ.

Большинство газет единодушно выразили свое возмущение.

> Чем выше вы цените жизнь человека, тем больше оказываетесь беззащитными против бесчеловечного шантажа, — говорилось в редакционной статье «Дейли скетч». — Этот способ шантажировать человека, явно не совершившего такого проступка, который в демократическом обществе мог бы рассматриваться как преступление, вызывает лишь презрение и серьезную озабоченность за будущие взаимоотношения.
>
> В палате общин мистеру Стюарту задали вопрос: как не допустить, чтобы ни в чем не повинного британского туриста задержали в Москве с одной целью — использовать в деле обмена на русского шпиона? Мистер Стюарт ответил: «Думаю, можно с достаточной уверенностью сказать, что любой британский гражданин, прибывший в Советский Союз и строго соблюдающий установленные там законы, не подвергается ни малейшей опасности». Очевидно, в данный момент, когда красные шпионы Питер и Хелен Крогеры еще содержатся в британской тюрьме, это действительно так. Но что будет, когда в октябре их выпустят на свободу?

Хотя Мервин и выиграл от сделки Вильсона, его чувство патриотизма было уязвлено. Британия действительно оказалась участницей позорной сделки.

Теперь, когда в официальных кругах было принято окончательное решение, Мервин позвонил Миле домой — в тот момент она с друзьями собиралась в автомобильное путешествие на север России. Он рассказал ей, что обмен шпионами начался и что они включены в этот обмен. Но близкая перспектива окончания их эпопеи, казалось, ни у кого из них не вызвала большого восторга. «Я не ожидал ни восторженных восклицаний, ни слез радости, и их действительно не последовало, — позже писал мой отец. — Нам слишком многое пришлось пережить, мы слишком часто разочаровывались». В голосе Милы ему послышалась нотка отчужденности и грусти. Ей предстояло пройти через множество бюрократических препятствий, но

главное — оставить семью, друзей и родину. Трудно было надеяться, что когда-нибудь она сможет снова их увидеть. Вскоре она будет навсегда оторвана от всего, что знала и любила, — кроме Мервина, который стал для нее почти мифом.

> Мервуся, дорогой мой, — писала Мила на следующий день после того, как в советских газетах появилась новость об освобождении Брука. — Сегодня 25-е, день твоего рождения, сердечно поздравляю тебя, желаю крепкого здоровья, успеха в работе и личного счастья. Я тебя очень люблю. Я в смятенье. Виктор Луи начал искать меня еще с утра. Я ничего ему не сказала, но газеты все равно поднимут шумиху. Он просил, чтобы я сказала что-нибудь читателям. Может, мне следовало согласиться, но я отказалась. Он говорил какие-то пошлости о нашем героизме, смелости и триумфе. Потом позвонила Лена, из Прибалтики, где она проводит свой отпуск. Звонили Валерий (Головицер) и моя подруга Римма. Еще звонили журналисты из «Дейли экспресс», но им я тоже отказала. То и дело звонят с поздравлениями друзья, они в полном восторге… А я едва держусь на ногах.

Мать Мервина прислала поздравительное письмо, в квартире на Пимлико тоже непрерывно звонил телефон. У дверей толпились репортеры. Пришла телеграмма от Звара. Через несколько дней Мервин получил письмо из налоговой службы, в котором незнакомым почерком было написано: «Рад был услышать вчера хорошие новости».

Дерек и Мервин встретились в «Альберте» обсудить детали. Советское консульство до последнего не желало им помогать; им заявили, что их визы будут готовы только в октябре, тогда они смогут увидеться со своими невестами и назначить дату регистрации во Дворце бракосочетаний. Потом им следует уехать и вернуться в Россию через месяц, когда закончится установленный законом срок для обдумывания и настанет день церемонии. На самом деле все это было ложью — просто раздраженный вице-консул пожелал внести свою лепту в отместку молодому человеку, сумевшему одолеть советскую систему.

Дерек подписал договор с «Дейли экспресс» об эксклюзивном интервью, за что газета оплатила ему авиабилеты и проживание в московской гостинице. Мой отец предпочел все расходы взять на себя и теперь, когда он уже не нуждался в рекламе, старался ее избегать. «Всем нравится быть знаменитыми, но мой публичный образ, если я его имел, был слишком окрашен несчастьем и

неудачами. Я оказался скорее жертвой, чем героем», — писал он в воспоминаниях. Кроме того, Мервин надеялся новой книгой возобновить свою академическую карьеру и, быть может, вернуться в «один из двух самых престижных (британских) университетов», так что излишняя шумиха в прессе могла ему повредить.

Самолет с Крогерами на борту должен был покинуть аэропорт Хитроу и взять курс на Советский Союз 28 октября 1969 года, в 11.15 утра. Позднее Мервин узнал, что досрочное освобождение шпионов из тюрьмы «Паркхерст» вызвало патриотическую демонстрацию заключенных, которые в знак протеста ритмично гремели по полу своими железными мисками.

В то же самое утро Дерек и Мервин отправились в советское консульство за визами. Вице-консул приветствовал их официальной улыбкой, попросил подождать и исчез. Пока они ждали и нервничали, Мервин догадался о причине задержки — должно быть, чиновники дожидались, когда самолет с Крогерами покинет воздушное пространство Британии.

Наконец консул возвратился с хорошо знакомыми друзьям голубыми визами. Они были выданы только на десять дней, и Дерек возразил, что это слишком короткий срок. «Десять дней вполне достаточно для того, чтобы жениться и развестись», — сострил советский чиновник.

Уже за полночь они приземлились в полупустом аэропорту Внуково и взяли такси. Остановив машину около двойной арки дома Милы в Староконюшенном переулке, Мервин вышел. Было очень холодно, хотя снег еще не шел. Мервин поднялся по четырем знакомым ступенькам на первый этаж и позвонил в дверь. Ответа не было. Он звонил снова и снова, и тревога его нарастала. Он из Лондона предупредил Милу, что они будут этой ночью. Неужели ее забрали в КГБ для какой-то двойной игры?

Прежде чем делать мрачные выводы, он решил позвонить ей по телефону. Оставив Дерека ждать в такси, он бросился к будке автомата на Арбате. Каким-то волшебным образом у него нашлась двухкопеечная монета, единственная, какую принимали тогда московские автоматы. И телефон оказался исправным и не проглотил монету, и Мила взяла трубку — настоящий парад чудес. Он слышал ее голос здесь так же плохо, как в Лондоне. Мервин пересказывал их разговор по памяти.

— Алло? Мила?

— Да-да? Мервуся? Это ты?

— У тебя все в порядке?

— Да, а что?

— Тогда почему ты не открыла дверь, когда я звонил?

— Я не слышала. Я боялась, что не смогу заснуть, и приняла снотворное.

— О, господи! Снотворное? Именно сегодня? Ну, ладно. Мы с Дереком уже здесь, на Арбате. Будем у тебя через две минуты.

Мила встретила их в дверях, «Маленькая фигурка в цветастом русском халате, сонная, но с выражением ожидания на лице». Они «тепло» обнялись, писал позже мой отец, вспоминая, что не чувствовал «никакого романтического подъема, а только глубокое удовлетворение, что наконец-то были вместе».

Снова вместе в Москве. Мервин и Мила незадолго до их второй попытки пожениться. Октябрь 1969 года.

В романтических книгах, которыми мама зачитывалась в детстве, и в ее любимых пьесах Расина и Мольера на этом обычно и заканчивалась история о влюбленных: на их пути возникали различные препятствия, они отчаянно сопротивлялись силам зла, и наконец все оставалось позади. В последнем акте возлюбленные соединялись. Таблетка снотворного стала бы трагикомическим штрихом, после чего влюбленные, взявшись за руки, поворачиваются лицом к зрительному залу и кланяются. Может, моя мать подсознательно не хотела, чтобы их история закончилась как в романах? Может, она приняла таблетки для того, чтобы не видеть снов в эту последнюю ночь ее прежней жизни, жизни ради чистой любви и воображаемого будущего? И вот это будущее наконец наступило, возвестив о себе настойчивыми звонками в дверь. Настало время открыть ее для новой жизни.

Утром в четверг, 30 октября 1969 года Мервин и Мила проснулись рано. Им предстояла вторая попытка пожениться, и они надеялись, что она будет более удачной, чем предыдущая. Правда, за завтраком они решили — из чувства протеста или, может, морального утомления, — что их наряды не соответствуют перенесенным за последние годы страданиям. Поэтому Мервин облачился в старый твидовый пиджак и брюки, в которых он читал лекции, а Мила отложила платье, привезенное моим отцом из-за границы, и надела повседневную юбку и блузку. Они захватили купленные пять лет назад золотые кольца и на такси отправились во Дворец бракосочетаний, заодно решив отказаться и от обычного празднования с шампанским.

К десяти на улицу Грибоедова съехались все участники церемонии бракосочетания — Мила, Мервин, племянница Милы Надя, ее муж Юрий, двое друзей Милы, а также Дерек, Элеонора и ее сестра. Ленина и Саша не пришли — для Саши, учитывая его должность в Министерстве юстиции, это было слишком рискованно. Собралась большая толпа репортеров, среди которых был и Виктор Луи. Формальности прошли гладко. Мила и Мервин отдали свои паспорта, затем вошли в большой зал с красными драпировками и белым бюстом Ленина, где толстая матрона прочла им клятвы верности, принятые в Советском Союзе. Через пять лет и пять месяцев неослабевающей борьбы Мервин наконец надел кольцо на безымянный палец Милы.

«Вы у нас самая непривлекательная пара!» — недовольно

пробурчала Людмиле женщина, ставя штамп в их паспорта. Мервин был «доволен тем, что этот жест протеста оказался замеченным». В коридоре они несколько раз сфотографировались — случайно на фоне мужского туалета.

На улице репортеры набросились на них с вопросами, но никто из участников церемонии не был расположен отвечать. Мила и Мервин устали от всей этой шумихи, Дерек и Элеонора обязаны были хранить молчание из-за своего договора с «Дейли экспресс». Но толпа назойливых журналистов упорно преследовала их, и Юрий не выдержал и замахнулся на одного из фотографов, выкрикнув: «Говнюки!»

В своем отчете о брачной церемонии, опубликованном на следующий день в «Ивнинг ньюс», Виктор Луи, разозлившись на то, что ему, столь долго и преданно освещавшему в газете историю молодоженов, отказали в заключительном интервью, приписал Мервину окрик Юрия. «После церемонии, которая прошла на удивление быстро и заняла всего пять минут, они поняли, что поступили неблагоразумно, отпустив такси, на котором приехали к Дворцу бракосочетаний, — писал Луи. — Пока они ждали другой машины, один репортер хотел сфотографировать доктора Мэтьюза и его новобрачную. Однако молодые делали все, чтобы их фотографии не попали в прессу, и прятали лица за букетом белых хризантем. Новобрачный обескуражил репортера своим выкриком: „Говнюки!“».

На следующий день обе молодые пары были приглашены в Британское посольство на краткую церемонию: их поздравили, поднесли по бокалу вина и пожелали счастья, а потом они сфотографировались на Софийской набережной, напротив Кремля. День был серый и дождливый, Элеонора держит над головой зонтик, а мой отец улыбается, обняв маму, которая прислонилась к его плечу.

Мила и Мервин — уже супруги.
Вместе с Элеонорой Гинзбург фотографируются на фоне Кремля
после церемонии поздравления в Британском посольстве, через день
после бракосочетания. 1 ноября 1969 года.

Мила и Мервин — уже супруги.

Вместе с Элеонорой Гинзбург фотографируются на фоне Кремля после церемонии поздравления в Британском посольстве, через день после бракосочетания. 1 ноября 1969 года.

Мервин рассчитывал задержаться в Москве на несколько дней — он хотел поработать в библиотеке и приобрести кое-какие книги, но ОВИР потребовал, чтобы они как можно быстрее выехали из Советского Союза. Сотрудник ОВИРа с угрюмым лицом забрал у Милы ее внутренний паспорт и вручил заграничный, не сказав ни единого теплого слова женщине, покидающей свою родину.

Последний вечер в Москве был одним из самых грустных в жизни Милы. В ее маленькую комнату приходили прощаться десятки людей, сменяя друг друга, они присаживались на стулья или на кровать. Валерий Головицер провел с ними весь вечер, тяжело переживая расставание с самой близкой подругой, которую похищал британец, тоже его друг. Почти все радовались за Милу, но сама она была подавлена предстоящей разлукой со своими друзьями-вольнодумцами. «Я была похожа на заключенного, которого держали в тюрьме много лет и вот выпустили на свободу, — однажды сказала она мне. — Мне тяжело было покидать свою камеру». Когда в комнате уже негде было яблоку упасть, Мервин отправился побродить по опустевшим улочкам Старого Арбата.

Третьего ноября Дерек и Элеонора вылетели из Москвы в Лондон, где их ожидала торжественная встреча, устроенная «Дейли экспресс». Не желая стать объектом внимания назойливых журналистов, Мила с Мервином отправились самолетом в Вену. Когда они приземлились в Вене и вошли в здание аэропорта, Мервин с огромным облегчением понял, что наконец-то все их трудности позади. А Мила широко раскрытыми глазами взирала на носильщиков в опрятной форме. В Вене они провели всего один день и ночь своего медового месяца, а утром вылетели в Лондон.

В аэропорту Хитроу Мила и Мервин сначала оказались по разные стороны барьера, поскольку они прибыли не прямо из Москвы, а из Вены, и служащие не сразу разобрались с их документами. Но вскоре, получив багаж, уже катили свои тележки вместе с остальными пассажирами к выходу в город.

Больше пяти лет мои родители жили ради будущего, едва веря, что оно когда-нибудь наступит. Теперь, когда они наконец-то воссоединились, приближалось время нового испытания, отнюдь не героического, а будничного — настоящей, реальной совместной жизни.

Но все это впереди. А те минуты, когда они шли по залу аэропорта навстречу новой жизни, были моментом их торжества — мои родители победили в борьбе за право быть вместе,

преодолев все мыслимые преграды, которые ставила перед ними их эпоха. Я часто думаю об этом времени, когда они были молодыми и смело сражались с темными силами мира, объединившимися в стремлении не дать им соединиться. Их вела всепобеждающая любовь.

Глава 14
Кризис

Он рожден страной, где человеку все дается ненадолго.

Альбер Камю, «Лето в Алжире»[8]

Сейчас, когда я размышляю о тех временах, слушая радио или читая газетные заголовки, Москва представляется мне дикой пустыней в обломках после выплеска огромной энергии. Я уехал из России после того, как схлопнулся экономический пузырь 90-х годов и последствия этого ощущались наиболее остро. Тогда маятник общественного сознания дошел до низшей точки в своем движении от очарования диким капитализмом к тоске по сильной руке и порядку.

Созданная Борисом Ельциным неуправляемая, но свободная Россия летом 1998 года стала тонуть. Тогда я был корреспондентом журнала «Ньюсуик», и круг моих обязанностей стал иным, чем в «Москоу ньюс». Я уже не рыскал в поисках сюжетов из скрытой жизни города, теперь меня возили в синем «вольво» из Думы в министерства, и я писал глубокомысленные и отшлифованные статьи о высокой политике.

Мое новое положение открывало передо мной захватывающую панораму того, как постепенно возвращались прежние порядки. В застеленных коврами коридорах Белого дома нарастала нервозность. Заместитель премьера Борис Немцов, ведущий реформатор, уверял, что все будет хорошо, и в подтверждение своей точки зрения чертил в моем блокноте какие-то запутанные графики. Глава налоговой службы Борис Федоров, борец за реформы в тяжелом весе, с маниакальным упорством твердил о необратимости российских реформ. Но во всех кабинетах правительственных чиновников, где я бывал, улыбки были принужденными, а уверенность — наигранной. В глубине души все боялись, что очень скоро все прогнившее здание рухнет. Приближалось время расплаты за наглый захват обанкротившихся предприятий, за растраты и хищения, за всю эту оргию наживы, развязанную новыми хозяевами России, и все понимали — это будет для них катастрофой.

Первым признаком приближающегося конца стало пикетирование Белого дома и Думы съехавшимися со всей страны

шахтерами — они стучали своими касками по тротуарам города и мраморным лестницам парламента. Этот настойчивый барабанный бой, подобно отдаленному грому, проникал в Белый дом сквозь тонированные окна швейцарского производства.

Тем же летом Ельцин выписался из больницы, чтобы присутствовать на церемонии захоронения останков последнего российского императора и членов его семьи, убитых большевиками в 1918 году. Церемония происходила в Санкт-Петербурге, в соборе Петра и Павла, где вместе со скорбящими родственниками Романовых оказался и я, единственный из журналистов, кто явился в черном костюме и галстуке. Те минуты, когда в благоговейной тишине несли к алтарю огромные гробы с царственными останками, были исполнены величайшего драматизма и скорби. Ельцин, слегка покачивающийся и скованный, заявил, что Россия признала свое прошлое. Хотя я всегда был восхищенным поклонником Ельцина, но в тот момент он показался мне фигурой трагической, человеком, запутавшимся в сети всепроникающей и всеобъемлющей коррупции и растерявшимся, как и его народ, перед мощным натиском бесчеловечного капитализма, который он собственными руками спустил с узды. Ясно проглядывалась параллель между политическими ошибками последнего российского монарха, приведшими его к трагической гибели, и сейсмическим сотрясением почвы под ногами Ельцина.

Ночная жизнь в Москве стала необыкновенно лихорадочной. Подобно тому, как гремучие змеи предчувствуют землетрясение, бывших партийных чиновников, а ныне «новых русских» богачей охватил ужас перед надвигающейся катастрофой. Где бы они ни собирались, в «Галерее», в джаз-кафе или в «Титанике», сквозь клубы искусственного дыма и стробоскопических пучков света проступала надпись, начертанная на стене невидимой рукой: «Деяния ваши взвешены на весах и признаны преступными».

Предупреждения о грядущем апокалипсисе происходили в точности по Библии: большую часть урожая картофеля погубила безжалостная болезнь, от нескончаемых августовских дождей полегла в поле и стала гнить пшеница, обрекая основное население на голодное существование, тогда как правительственные чиновники спешно вывозили за границу свои непомерные доходы. Пронесшийся над столицей мощный ураган сорвал с куполов Новодевичьего монастыря золотые кресты и разрушил зубцы на Кремлевской стене. В государственный флаг России, развевавшийся над Кремлевским Дворцом съездов, ударила молния, и его сорвало ветром. Даже компания НТВ стала, сама того не подозревая, рупором Армагеддона, включив в

программу телевидения на ближайшие выходные показ фильма «Омен» с продолжением. Деревенские старухи, обладающие даром проникать в смысл природных явлений и знамений, сокрушенно качали головами.

Затем с неудержимой яростью природной стихии грянул дефолт. После панического совещания вечером 16 августа 1998 года правительство России отказалось выполнять все внутренние и международные долговые обязательства, обрушив биржу и всего за одну неделю обесценив на две трети рубль.

Новые буржуа, намеревавшиеся с шиком провести зимние каникулы в Анталии, толпились около обанкротившихся банков, пытаясь спасти свои сбережения. В людях мгновенно проснулись древние инстинкты самосохранения. Московские домохозяйки, еще недавно считавшие, что они тоже «живут как люди», стремились истратить неудержимо обесценивающиеся деньги и сметали с полок супермаркетов дорогие спагетти. Их соотечественники победнее скупали товары повседневной необходимости: соль, спички, муку и крупы.

Была призвана на помощь исконно русская изобретательность и находчивость. В газетах стали публиковать советы по экономному ведению домашнего хозяйства, так, в заметке под заголовком «Какие продукты можно хранить долгое время?» читателям не рекомендовали запасаться мясом — ведь бывает, что отключается электричество. Товароведы сети универмагов «Британский дом» снимали старые этикетки, лихорадочно хватались за калькулятор и рассчитывали новые цены, стремительно растущие с каждым днем. Бутики с дорогими вещами в торговом центре на Манежной площади, оформленном с безвкусной роскошью, опустели и превратились в музеи рухнувшего режима.

Два месяца — и полное разорение завершилось. Может, мне так казалось, но осенью 1998 года на улицах Москвы стало темнее, и я физически ощущал этот мрак, как будто яркое неоновое сердце столицы погасло. Я зашел к хозяйке моей съемной квартиры и сообщил, что намерен проявить инициативу и снизить наполовину мою ежемесячную — 1500 долларов — плату. Она поняла, что я не выезжаю, облегченно вздохнула и поблагодарила меня.

Мои западные друзья, внезапно обнаружив, что их пакеты акций испарились, а бизнес погиб, то и дело приглашали меня на прощальные вечеринки. Одну из них устроила в ресторане «Старлайт Динер» гламурная девица из Калифорнии с силиконовым бюстом — та, что организовала торговлю

«гербалайфом» по всей России. Чтобы гости не скучали, она пригласила артистов цирка, которые, для увеселения публики, танцевали на битом стекле и протыкали щеки шпагами. Кто-то поставил Битлз — «Get Back» и «Money» — в исполнении АББА.

В преддверии последнего года XX века я и сам оказался в тупике. Я чувствовал себя невероятно измученным и уставшим и вечером замертво падал в постель, а утром просыпался без сил. В очередной раз меня настигла черная депрессия. Я все чаще стал задумываться о смерти Яны, ощущал себя заурядным и выдохшимся. Не в силах выйти на улицу, я долгими вечерами сидел дома у окна, смотрел на бесконечно падающий снег, вслушивался в приглушенный шум улицы.

Я встретил Ксению Кравченко — высокую, стройную девушку, с мальчишеской стрижкой, в поношенных джинсах — на обеде у ее бельгийской подруги, который та устраивала в своей квартире в одном из арбатских переулков. От нашей первой встречи мне больше всего запомнилась не ее внешность, не наш разговор, а почти мистическая, внезапно овладевшая мною уверенность, что эта девушка станет моей женой. Как ни странно, но именно так оно и было. «Внезапно он понял, что всю свою жизнь любил именно эту женщину», — процитировал я друзьям в тот вечер булгаковскую строчку из «Мастера и Маргариты». Через несколько дней мы с Ксенией впервые поцеловались на скамейке у Патриарших прудов, почти рядом с тем местом, где материализовался Воланд.

Ксения была умна и красива — два слова, которые легко произнести вместе. Но на деле каждая мудрая женщина, сознающая свою власть над мужчинами, должна признаться, что в ней есть нечто от горгоны Медузы. При всем своем уравновешенном и миролюбивом характере Ксения обладала поразительной способностью выворачивать людей наизнанку. Уже после нескольких недель нашего с ней общения я почувствовал себя очистившимся, глубоко изменившимся. Иногда этот процесс проходил для меня весьма болезненно, но результаты были поистине восхитительными.

Конец безумных 90-х. Оуэн и Ксения на праздновании Хэллоуина в Доме ученых. 1999 год.

У нас не возникало никаких критических или драматических ситуаций. Напротив, я часто обнаруживал, что Ксения совершенно безразлична к жизни в целом и ко мне в частности. Казалось, она не желала принимать всерьез все, что происходит вокруг. Вместе с тем она стала зеркалом, в котором я видел свою безжалостно вскрытую душу. Моя страсть к московской фантасмагории, извращенный интерес выискивать самое грязное и прогнившее — все это вдруг показалось мне по-детски глупым, пошлым и фальшивым. Я не успел даже понять, что происходит, как Ксения отсекла меня от моего прежнего порочного «я» и дала мне возможность увидеть в себе человека нормального и здорового — и даже потенциального мужа и отца.

Нравственные устои и уверенность в себе надежно защищали Ксению от грубой действительности, она проходила сквозь всю грязь и низость московской жизни, оставаясь чистой и незапятнанной. Как будто она и ее семья пришли из иной, благородной России. Она вела родословную от старинного рода художников и жила в великолепной квартире, которая принадлежала ее предкам с 1914 года. В доме с антикварной мебелью и картинами царила атмосфера покоя и давно устоявшегося стиля жизни, что мне доводилось наблюдать лишь в

старых загородных домах Англии. Их дача на берегу Москвы-реки, на Николиной горе, где я пишу эти строки, соседствует с дачами известных писателей, художников, музыкантов и кинорежиссеров — представителей культурной элиты сталинской эпохи и их наследников, таких, как Прокофьевы, родственники знаменитого композитора, Михалковы и Кончаловские. Семейство Ксении хорошо знает три поколения своих соседей, и кажется, что все они выросли такими же трогательно беспомощными, как обедневшие дворяне из «Вишневого сада». Они принадлежат к тем, кого называют баловнями судьбы, и даже почти вековая история советской власти не оставила на них своих шрамов. Их обаятельная рассеянность и непрактичность не имеют ничего общего с железной волей поколения советских людей, типичным представителем которых является моя мама.

Через некоторое время Ксения перебралась жить ко мне. Мы обедали в спальне с кроваво-красными стенами, любуясь моей кошкой, играющей в лужицах солнечного света на полу у окна. Ксения вставала, когда я уходил на работу, занималась живописью или делала наброски, а когда я возвращался, мы вместе готовили грандиозный обед и пили дешевое красное вино. Никогда я не был так счастлив.

Осенью 1999 года в России разразилась новая война. И началась она не с перестрелки, а с мощных взрывов в подвалах жилых домов на улицах Москвы и Волгодонска. Я видел, как пожарные и спасатели ищут живых людей в еще дымящихся развалинах в Печатниках и на Каширском шоссе, видел разбросанные повсюду взрывной волной свидетельства их скромной, непритязательной жизни. На груде кирпичей валялись деревяшки — все, что осталось от старого дивана, а у меня под ногами с треском лопались детские пластмассовые погремушки. Здесь погибло более трехсот человек.

В терактах обвинили чеченцев, и уже спустя несколько недель танки российской армии ворвались в отколовшуюся мятежную республику. Иностранным корреспондентам запретили передвигаться по Чечне самостоятельно, были разрешены лишь организованные Кремлем поездки на автобусах, но их водители не хотели даже приближаться к передовой линии. Почти всю зиму я изобретал самые разные способы, чтобы тайно проникнуть в Чечню: то с боевиками, то с промосковскими чеченцами, несколько раз мне удавалось затесаться в группу российских журналистов, а иногда я договаривался с русскими командирами, и они разрешали мне побывать в их части.

Во время последней — тринадцатой — поездки с моим

другом, Робертом Кингом, фотографом, мы оказались недалеко от села Комсомольское. Российская армия окружила остатки главных сил боевиков, отступивших из Грозного, и целых три дня поливала это небольшое селение огнем ракетных установок и артиллерии. Мы прибыли туда на четвертый день, на рассвете, когда предутренний туман уже начал рассеиваться, и обнаружили, что русские батальоны, которые несколько дней занимали траншеи вокруг села, уже ушли, оставив после себя кучи мусора и глубоко перепаханную гусеницами танков землю. Мы беспрепятственно въехали в Комсомольское.

Другие чеченские города, которые мне уже довелось видеть, в результате мощного обстрела были уничтожены полностью, и на месте домов зияли глубокие дымящиеся кратеры. Это село выглядело иначе. Здесь борьба шла за каждый дом, и стены были испещрены следами от пуль и пробиты снарядами. Обреченные боевики на полях, огородах — повсюду — вырыли неглубокие траншеи и из всего, что попалось под руку, наспех соорудили укрепления. В воздухе сильно пахло кордитом, горелым деревом, взорванной сырой землей и смертью.

Тела мятежников лежали небольшими группами. Первые трупы мы обнаружили в углу одного дома с разбитой снарядами крышей, их свалили в кучу и повернули вверх лицом. Руки у них были связаны, а простреляннная грудь превратилась в кровавое месиво. Чуть дальше мы наткнулись на тело гиганта с рыжей всклокоченной бородой, его руки были связаны за спиной колючей проволокой, а из черепа торчала саперная лопатка, которой его избивали до тех пор, пока он не умер. В узкой канаве мы увидели целую груду мертвых — перед тем как расстрелять мятежников из пулемета, их обвязали вместе одной веревкой, и они так и рухнули, туго притянутые друг к другу. Содрогаясь от ужаса, но подчиняясь профессиональному инстинкту, Роберт делал снимки, а я на ходу записывал увиденное в блокнот, возможно для того, чтобы это не слишком задерживалось в сознании.

Мы насчитали более восьмидесяти трупов, и это только на окраине деревни. Всего под Комсомольском было убито около восьмисот мятежников отряда Руслана Гелаева. Мы не смогли заставить себя идти дальше, да и опасались напороться на мину или задеть «растяжку», и осторожно двинулись к почти дотла сгоревшему блочному дому, в остове которого завывал ветер. Поверх искореженных железных кроватей валялись листы сорванной взрывом крыши. Под одной из балок я заметил, как мне показалось, завернутого в одеяло человека. Подобрав с земли подходящий кусок черепицы, я разгреб в стороны обломки бетона

и железа, потом осторожно отогнул угол одеяла, чтобы открыть лицо, и случайно коснулся щеки. Она была совершенно застывшей и твердой, на ощупь не имеющей ничего общего с человеческой плотью.

Погибший был африканцем, скорее всего сомалийцем — у него была совершенно черная кожа и тонкие европейские черты лица. Наверное, он был одним из первых иностранных солдат, пришедших в Чечню, чтобы присоединиться к джихаду, и угодивших на встречу с Создателем в этом мрачном районе Кавказа. Он выглядел приличным юношей — у такого вы спросите дорогу, если заблудились, или дадите ему свой фотоаппарат и попросите снять вас.

Потом — а мне приходилось часто его вспоминать — я представлял себе, как он стоит в аэропорту со своим дешевым чемоданчиком, в синтетическом костюме, взволнованный, но полный энтузиазма, потому что приехал он на священную войну. И я думал о его сестрах и матери, живущих где-то в Африке, занятых своими домашними делами и ссорящихся из-за пустяков, не зная, что их сын и брат лежит мертвым здесь, в изуродованном снарядами чеченском доме, где погиб, сражаясь на чужой войне.

С меня было достаточно. Мы поспешили вернуться к нашей машине — потрепанному военному джипу и его водителю — самоуверенному молодому чеченцу по имени Беслан, который гордился своим водительским искусством. До единственного рейса на Москву из Назрани оставалось всего четыре часа. Беслан обещал, что мы доберемся туда вовремя. Когда мы выкатили на основное шоссе, он выжал сцепление до отказа, и машина стремительно понеслась на запад, к границе с Ингушетией. Мы с Робертом устроились на заднем сиденье вместе с нашим чеченским проводником Мусой, служащим промосковского правительства, который только взмахнул у блокпоста своим правительственным удостоверением, как нас, не задерживая, пропустили. Рядом с водителем сидели два русских милиционера, нанятых нами в качестве телохранителей за 50 долларов в день. Нам оставалось проехать еще полпути, когда мы увидели русский военный вертолет «Ми-24», угрожающе зависший над лесом, откуда поднимались столбы дыма. Вертолет медленно развернулся к нам кабиной и замер в воздухе.

В следующий момент перед лобовым стеклом нашего джипа вздыбилась земля. Я изо всех сил вцепился в спинку переднего сиденья, последовал миг огромного физического напряжения, сменившегося облегчением, когда мое тело, подчиняясь законам физики, вылетело вперед. К счастью для меня, мгновением раньше стекло пробил головой один из наших милиционеров.

Затем на меня нашло невероятное спокойствие. Я лежал на спине, раскинув руки и ноги, и смотрел на облака, плывущие по необъятному небу. Ни до, ни после я не испытывал такой радости от сознания, что я жив, и хотя чувствовал, что получил какие-то серьезные повреждения, эти сигналы звучали тихо и приглушенно, как звонок телефона, который можно проигнорировать. Я медленно провел ладонью по поверхности шоссе, катая взад-вперед крохотные камушки и гравий. Где-то слышались голоса, и я глубоко втянул в себя воздух, ожидая ощутить запах бензина, кордита или пожара, но уловил только аромат земли и цветущей травы.

Я часто вспоминаю этот момент, приписывая ему различные значения. Но единственная мысль, которую я, честное слово, могу отнести к этому мгновению и месту, была следующей: я бесконечно счастлив, что в Москве есть человек, который меня ждет, и я испытывал нестерпимое желание поскорее вернуться к Ксении и больше никогда не уезжать из Москвы.

Надо мной склонилось чье-то бородатое лицо, послышался мужской голос. Я инстинктивно стал отвечать довольно спокойно и даже давать распоряжение. У меня было вывихнуто плечо и, кажется, сломаны ребра. Я попросил чеченца поставить ногу мне на ключицу, поднять мою беспомощно лежавшую правую руку и потянуть. Очевидно, из-за шока я не чувствовал боли, потому что продолжал его инструктировать, пока сустав не встал на место. Рядом со мной опустился на колени Роберт, он осторожно размотал мой шарф и сделал из него подвеску для больной руки. Когда мне помогли сесть, я увидел, что любимый джип Беслана рухнул в образовавшуюся на дороге воронку глубиной больше метра. К счастью, сам Беслан стоял на ногах и стирал с головы кровь от удара о руль машины. Оба милиционера получили сотрясение мозга и без сознания лежали на обочине дороги.

Дальше события стали развиваться стремительно. Я заплатил всем. Из ближайшей деревни вызвали машину, которая помчала нас с Робертом и Мусой дальше. У меня в голове вертелись только две мысли — добраться до самолета и больше никогда не возвращаться в Чечню. Даже когда нашу вторую машину с силой подбросило на ухабе и мое плечо оказалось вывихнутым во второй раз, страстное желание поскорее добраться до Ингушетии и улететь домой притупило острую боль.

Так или иначе, но нам это удалось. В аэропорту Назрани было множество офицеров Федеральной службы безопасности, наследницы КГБ, которые с подозрением листали наши документы и строго расспрашивали, где мы были. Мы с Робертом — в русских военных куртках и черных вязаных шапочках —

вызывали у них сильное подозрение. К тому же от нашей грязной одежды пахло дымом и трупами. Нечеловеческим напряжением воли я заставил себя спокойно утверждать, что мы не покидали Ингушетию и не проникали на запретную территорию Чечни. Мы уже ехали с другими пассажирами к самолету в автобусе, когда в него вскочили еще несколько офицеров ФСБ и потребовали у Роберта фотопленки, естественно еще не проявленные. Я вертелся как бес на сковороде, стараясь их умаслить, пока они, продержав нас в напряжении несколько минут, не соскочили с подножки автобуса. Поднимаясь по трапу в старенький «Ту-134», мы каждую секунду ожидали, что они передумают, высадят нас из самолета и отправят назад в Чечню.

Только поздно вечером, когда уже в Москве в американском медицинском центре врач из Огайо разрезал на мне холодными ножницами пропахшую потом военную майку, я разрыдался от боли и облегчения. Ксения ждала меня на улице. Никогда я так глубоко не ощущал, что возвратился домой.

Странная это штука — война и память о ней. Ты видишь ужасающие вещи, которые будто скатываются с поверхности твоего мозга, не проникая внутрь, как шарики пинбола с доски. Но однажды какое-то воспоминание или мысль внезапно застревает в лунке и проникает в самую глубину твоего сердца. Для меня таким воспоминанием стал труп чернокожего в Комсомольском, который часто мне снился. Плечо мое выздоровело довольно быстро, но душа была ранена. Однажды мы с Ксенией гуляли на Николиной горе по берегу реки. Все было нормально, но когда мы дошли до просторной поляны, где весенняя тишина нарушалась только скрипом огромных сосен, я вдруг опустился в глубокий мокрый снег и не хотел двигаться. «Оставь меня в покое, — шептал я, уставившись в серо-белое небо. — Не трогай меня несколько минут».

Мне стало казаться, что в меня переселилась беспокойная душа мертвого боевика, которого я коснулся. Я снова переживал физическое ощущение его застывшей ледяной щеки и думал, что именно тогда душа этого мертвеца, подобно электрическому разряду, проникла в мое живое тело. Мне снились горящие поля Комсомольского, представлялись возмущенные души погибших, передвигающиеся по земле судорожными скачками, как подстреленные птицы.

От этого кошмара меня спасла Ксения. Несмотря на наше с Робертом сопротивление, она отвела нас в ближайшую церковь, где мы с товарищем зажгли свечи за упокой душ погибших. Но еще больше она помогла мне тем, что создала дом, настоящий

семейный дом, который появился у меня впервые после того, как семь лет назад я покинул Лондон. Я съехал с квартиры и снял дачу в подмосковном лесу под Звенигородом, недалеко от дачи родителей Ксении. Мы окрасили стены комнат в яркие веселые тона. Я купил дагестанские ковры и старинную мебель, и мы разобрали в гостиной старую русскую печь, а вместо нее сделали камин, который украсили ее старинными изразцами. На приобретенной нами каминной решетке Ксения заменила две медные шишечки вылепленными ею из глины нашими головками — они смотрели друг на друга через полыхающий в камине огонь.

Эпилог

Лучше забыть и улыбаться, Чем помнить и таить печаль[9].

Кристина Росетти

Под серым моросящим дождиком Мила с Мервином прибыли в аэропорт Хитроу. Оттуда до вокзала Виктория добрались на автобусе — такси было бы слишком дорого. Когда они ехали по Вествею, Лондон поразил Милу — он показался ей «бедным и обветшалым», призналась она потом. Увидев старых женщин в шерстяных пальто и головных платках, она заметила новоиспеченному мужу, что они «в точности такие же, как русские старушки».

Маленькая квартира Мервина в доме на Белгрейв-роуд в Пимлико имела весьма аскетический вид — одна спальня, вытертый ковер и едва обогревающие воздух большие коричневые калориферы, из экономии включенные на самую низкую мощность. Мама вспоминает, что односпальная кровать Мервина была застелена тонкими армейскими одеялами. Когда к ним зашел недавно отпущенный на свободу Джералд Брук и спросил, не нуждается ли в чем-нибудь Мила, она прежде всего подумала о настоящих шерстяных одеялах. После своей теплой московской комнаты Мила нашла, что эта квартира отчаянно холодная. Она даже выходила на улицу, чтобы согреться быстрой ходьбой. Ей надолго запомнилась первая лондонская зима: «ужасная ледяная сырость, проникающая до самых костей, — гораздо хуже русской зимы».

Мои родители гуляли в Сент-Джеймском парке и посетили палату лордов, где пили чай с лордом Брокуэем, одним из сановников, кого Мервин сумел привлечь к своей кампании. Приятель Мервина свозил Милу в «Харродс», но там ей не понравилось. Вообще западное изобилие не производило на нее такого впечатления, как на иных советских визитеров. «Все это было у нас в России — до революции», — шутила она, когда ее благоговейно вводили в «Фуд Холлс». Мервин повез ее в Суонси, по дороге сделав остановку в Оксфорде, и представил своей матери. И хотя раньше Лилиан все время уговаривала Мервина отказаться от борьбы, теперь она тепло обняла Милу.

Мама немедленно принялась за дело, стараясь сделать квартиру мужа как можно уютнее: расставила в буфете фарфоровую посуду, привезенную из России, и заполнила своими

книгами полки. Она приложила немало усилий, чтобы стать образцовой женой, какой ее представляла себе, так, например, еду готовила по рецептам из потрепанной «Книги о вкусной и здоровой пище», этой кулинарной Библии советских домохозяек. Она пыталась познакомиться с соседями, но те по большей части ее игнорировали и даже не здоровались при встрече — по какой причине, Мила так и не поняла: то ли из-за их британской сдержанности, то ли из-за того, что она была гражданкой враждебной страны. Первые полгода она чувствовала себя совершенно растерянной и часто плакала. Даже когда печатала переводы, чтобы заработать немного денег, слезы у нее так и капали на клавиши пишущей машинки. Не зная, как утешить жену, Мервин давал ей выплакаться.

— Не могу сказать, что я была совершенно несчастной, — вспоминала мама. — Но я достаточно долго прожила в Москве, и разлука с ней не обошлась без тяжелой душевной травмы.

Она скучала по своим друзьям, по той кипучей жизни, которую они вели. Обмениваясь самиздатовской литературой, нетерпеливо ожидая выхода очередного номера «Нового мира», осмелившегося опубликовать Солженицына, Мила ощущала свою принадлежность к группе верных единомышленников, ставших для нее настоящей семьей. В Москве она не считала себя богатой, но могла доставить себе удовольствие, купив какую-нибудь роскошную вещицу. А в Лондоне зарплаты Мервина едва хватало на его собственные нужды, не говоря уже о Миле. Как-то она расплакалась у входа в подземку, когда обнаружила, что у нее не осталось даже мелочи на проезд — все деньги она потратила на сувениры для своих московских друзей в галантерейном магазине на Уоррен-стрит. Правда, однажды Мервин, вынужденный экономить каждый пенни, повел ее в «Вулворт» и в порыве щедрости купил ей шерстяное зеленое платье за целый фунт! Это была единственная обновка, появившаяся у нее в первый год супружества.

В Лондоне Мила впала в депрессию, но ей впервые в жизни не удалось призвать на помощь свою непобедимую волю, которая поддерживала ее всегда, еще в детские годы. В письмах сестре она жаловалась на страшную тоску по родине. Мама прямо не говорила, что с радостью вернулась бы, но, по мнению Ленины, гордая сестра просто боялась признаться себе самой, что многолетняя борьба была напрасной. Ленина показывала ее письма Саше, он садился за кухонный стол и писал в ответ: «Дорогая моя Мила, для тебя нет дороги назад. Ты сама выбрала свою судьбу и должна с ней примириться. Люби Мервина, заведите детей».

После стольких лет ожидания и жертв, принесенных на алтарь героической возвышенной любви, могла ли действительность вызвать что-либо, кроме разочарования? Какой брак, какая жизнь в сказочной западной стране могли оправдать шестилетние надежды? Думаю, для моих родителей все закончилось одновременно с самой борьбой — и раньше, чем они сами это осознали. Выиграв сражение, оба понятия не имели, как жить дальше. В течение многих лет Мила и Мервин считали друг друга героями, они преодолевали расстояния, стучались в двери самого рая, сражались с «джаггернаутом истории». Но соединившись, поняли, что они обыкновенные живые люди, что им необходимо создать то, чего не знали ни он, ни она: счастливую семью. Сыграв свои роли в великой драме, они нашли, что труднее всего стать просто людьми.

Весной 1970 года, когда моя мать возвращалась на поезде из Брайтона, где целый семестр преподавала русский язык, ею снова овладела глубокая грусть, и она заплакала. Ни один попутчик не подошел ее утешить или узнать, что случилось, — это так непохоже на русских. Но она подняла голову, посмотрела в окно на зеленые поля Англии и подумала: «Что я за дурочка? Вот уже полгода только и делаю, что плачу! Пора кончать с этой русской меланхолией!» Медленно, но верно Мила стала обживаться в Лондоне. Мой отец всегда избегал больших компаний, довольствуясь очень тесным кружком близких друзей. Зато мама, со своей общительностью, вскоре завела себе английских друзей — им нравились ее душевность и остроумие, — с ними она могла ходить в театр и на балет. Правда, они так и не стали ей столь же близкими, как московские друзья, но все-таки общение с культурными людьми смягчало тоску по прежней московской жизни.

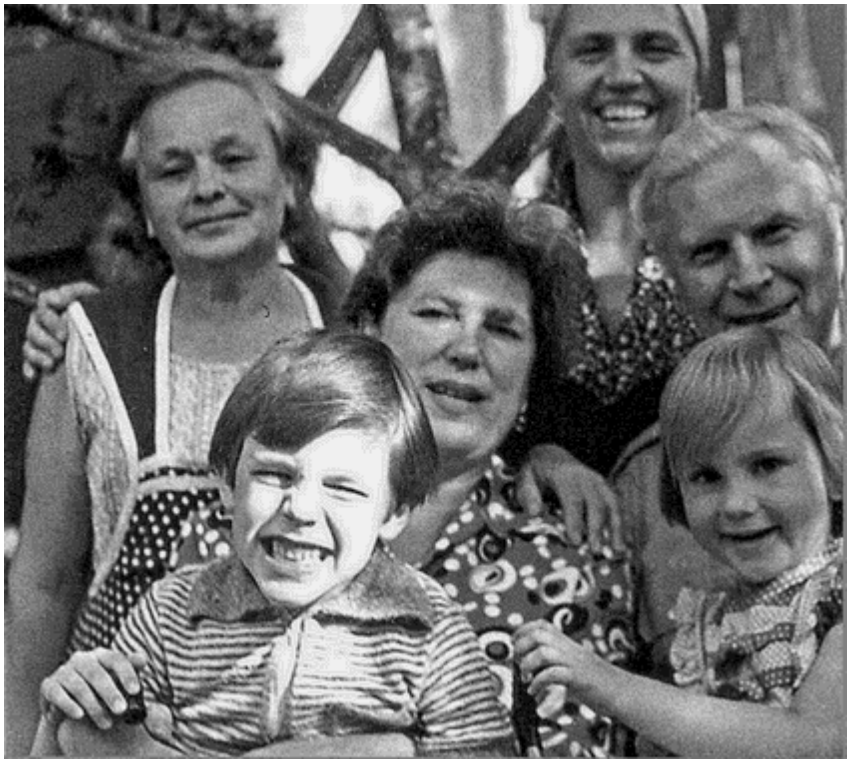
Мама взяла больше переводов и к тому же неполный рабочий день преподавала в университете в Сассексе. Издательство *Overseas Publications* предложило ей редактировать самиздатовскую литературу на русском языке, и она взялась за работу с прежним молодым энтузиазмом. Она редактировала книгу известного историка-диссидента Роя Медведева «К суду истории», в которой приведено глубокое исследование преступлений сталинизма, и многие другие книги этого издательства — их переправляли в Советский Союз через туристов, едущих туда, или посылали по почте. Удивительно, но почти вся литература достигала адресата, а потом расходилась по Москве и перепечатывалась, в том числе друзьями Милы. Директор издательства сказал Миле, что оно существует на деньги богатого американского промышленника, однако на самом

деле — на средства ЦРУ, субсидировавшего антисоветскую деятельность, как и радио «Свобода», где ей сначала предложили работу редактора, а затем и ведущего редактора, но она отказалась из опасения, что это помешает ей приехать на родину.

Вскоре Мила зарабатывала уже достаточно, чтобы втайне пополнять крохотные суммы, которые муж выделял ей на приобретение книг и одежды. Хотя оба выросли в бедности, Мила обожала тратить деньги, чего никогда не позволял себе мой отец. Она всегда любила красивые вещи, и теперь уже могла покупать старинную мебель и картины.

Мила последовала совету Саши — к лету 1971 года она уже была беременна. Я родился 9 декабря 1971 года в Вестминстерской больнице, которая показалась Миле «роскошной, как кремлевская». Из-за покалеченного бедра роды были трудными, и меня извлекли на свет с помощью щипцов. Доктор сказал маме, что у нее «прекрасный ребенок». Эти слова так ее потрясли, что она часто повторяла мне их в детстве. Советские доктора обычно держат свое мнение при себе. Мой отец снял все деньги с депозита и купил за 16 000 фунтов на Олдерни-стрит дом в викторианском стиле, а мама оклеила комнаты оранжевыми обоями в стиле пейсли, приобретенными на распродаже в универмаге «Питер Джонс». Впервые, если не считать раннего детства, у Милы появилась своя, настоящая семья и дом.

Зимой 1978 года, спустя девять лет после отъезда из Советского Союза, мама вместе со мной и моей крошечной сестрой Эмили приехала в Москву. Мы остановились в квартире Ленины. Я помню бесконечный поток гостей, со слезами обнимавших маму, которую уже не надеялись увидеть. Здесь все совсем было не похоже на Англию: очереди в магазинах, огромные сугробы снега, станции метро, напоминающие великолепные дворцы. Мне кажется, я точно понял, что имел в виду Пушкин, когда говорил о русском духе. Это был совершенно особенный запах, частично состоящий из запаха дешевого дезинфицирующего средства, частично (как ни странно) из запаха советских таблеток витамина С, довольно едкого и искусственного. И от русских пахло так, как никогда не пахло бы от англичан: это был подавляющий, мощный запах тела, не то что неприятный, но его плотская чувственность ощущалась мной как нечто нескромное и не вполне приличное.



На даче Васиных. Бабка Симка (слева), Людмила, Ленина, Саша, автор и его кузина Маша. 1978 год.

Хотя в детстве мне часто приходилось ездить в гости к отцу, который преподавал в разных уголках мира, в России я впервые за свою жизнь отчетливо почувствовал себя иностранцем. Все стремились объяснить мне, как здесь «у нас»; спрашивали, такой ли в Англии вкусный шоколад, как русские конфеты с вафлями «Мишка на Севере» (я отвечал: да); есть ли в Англии шампанское, игрушечные солдатики, снег и даже — об этом спросил удивительно глупый и патриотичный приятель моей кузины Ольги — есть ли в Англии такие же красивые машины, как советские. Даже в семилетнем возрасте я мог сказать, что советские автомашины очень плохие. Но, несмотря на сильное впечатление, которое Россия произвела на мою детскую душу, я всегда воспринимал ее как страну чужую и странную.

Ностальгия является специфической чертой русских; даже на вечеринках, которые устраивали в пригородах Лондона друзья моей матери, русские эмигранты, они старались воссоздать атмосферу русского дома. Под блюдами с осетриной, икрой, соленьями и бутылками с водкой ломились столы, от дыма русских папирос и сигарет нечем было дышать, и все разговоры вращались только вокруг недавних или предстоящих поездок на

родину. Но моя мама, при всей своей эмоциональности, никогда не испытывала сентиментальных чувств к отчизне, и, я думаю, она действительно не тосковала по России, — во всяком случае когда сумела преодолеть отчаянную ностальгию вскоре после приезда в Британию. На протяжении всего моего детства она постоянно восхищалась типичными для британцев достоинствами: пунктуальностью, основательностью и хорошим вкусом. Единственное, что ее раздражало, это расчетливость и бережливость англичан, которые она находила признаками приземленности натуры. Как и ее друзья-эмигранты, она глубоко презирала советский режим, очень любила современные циничные политические анекдоты о России. Один из ее любимых анекдотов был о матери Брежнева: старушка приезжает в гости к своему сыну, партийному боссу, на его виллу на море и, нервно оглядывая роскошную мебель, картины и автомобили, говорит: «Все это очень красиво, сынок. Но что ты будешь делать, если вернутся коммунисты?»

Пример Милы оказался заразительным. Один за другим почти все ее друзья и родственники или покинули Россию, или связали свою судьбу с иностранцами. В 1979 году эмигрировали в Германию со своей грудной дочкой Наташей старшая дочь Ленины Надя и ее муж, полуеврей Юрий, которых можно видеть на свадебных фотографиях Милы. В аэропорту Саша горько рыдал и, хромая на протезе, пытался прорваться вслед за дочерью, когда она уже прошла паспортный контроль. «Я больше никогда тебя не увижу!» — отчаянно кричал он.

Спустя полгода Сашу вызвал к себе его начальник в Министерстве юстиции и устроил ему грозный разнос: как он посмел скрыть от парткома, что у него на Западе не только сестра жены, но и собственная дочь! У Саши прямо в министерстве произошел сильный сердечный приступ, и в тот же вечер он скончался в больнице. Наде не разрешили приехать на похороны, и она всю жизнь винила себя в преждевременной смерти отца.

После девяти или десяти обращений за визой застенчивый друг моей матери, балетоман Валерий Головицер, который познакомил моих родителей, наконец получил разрешение на выезд. В 1980-м одновременно с тысячами советских евреев он с семьей эмигрировал в США. Там он вскоре расстался со своей женой Таней, стал жить в Нью-Йорке и занялся организацией гастролей советского балета.

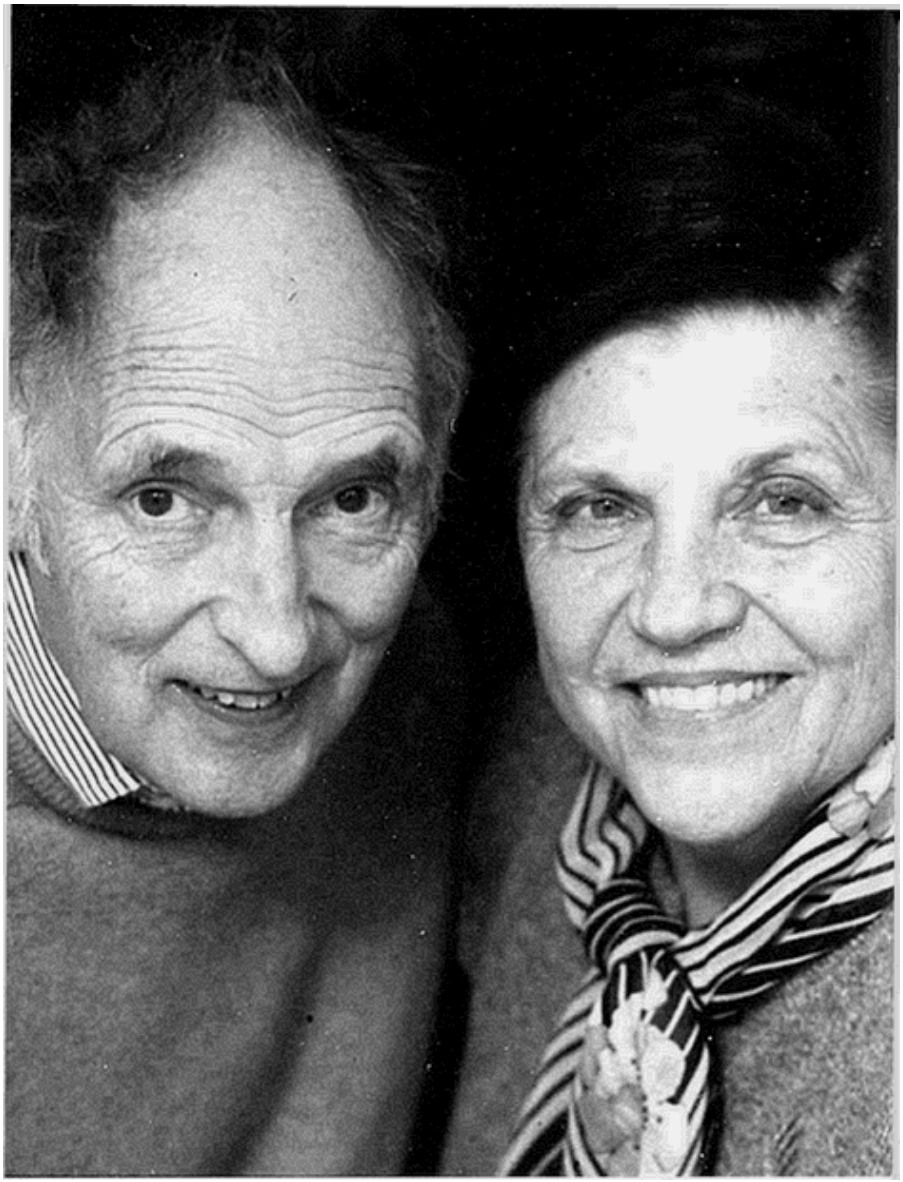
Валерий Шейн, с которым Мила подружилась еще во время фестиваля, сделал головокружительную карьеру как театральный менеджер, стал богатым и известным, и в 1987 году женился на красивой англичанке, обожавшей все русское. Среди друзей

Валерия она прославилась тем, что часами стояла в очереди за бананами, но покупала только один килограмм — советский покупатель купил бы столько, сколько мог унести.

В конце 1963-го была выпущена из ГУЛАГа невеста Жоржа Нива Ирина Емельянова. Она вышла замуж за известного диссидента и позднее эмигрировала в Париж. Ее мать Ольга Ивинская, которая послужила для Пастернака прообразом Лары в «Докторе Живаго», осталась в Москве, где и скончалась в 1995 году.

Племянница Милы Ольга последовала за своей сестрой в Германию, вступив в брак с англичанином; она оставила свою дочь Машу в Москве, чтобы потом ее привезла бабушка, моя тетка Ленина. Окончив школу, Маша тоже приехала в Германию, где ей удалили раковую опухоль; она осталась там жить и умерла от рака в 26 лет. Так Ленина оказалась в Москве одна и живет там по настоящее время.

Страсть к путешествиям никогда не оставляла Мервина. На протяжении всего моего детства он уезжал на долгие месяцы в качестве приглашенного профессора в Гарвард, Стэнфорд, Иерусалим, Онтарио, Австралию. Я с восторгом читал его замечательные письма, которые он иллюстрировал яркими рисунками австралийских ящериц и пиратов или маленькими карикатурами на самого себя, оказавшегося в смешных ситуациях — падающим с лодки, заблудившимся на своей машине. Я ужасно по нему скучал и с нетерпением ждал его очередного письма. Несколько раз я летал к нему один — «маленький мальчик без сопровождения», с накрепко пришитой к пальто этикеткой с моими данными, как у Мишки Паддингтона — в Кембридж, Массачусетс, или в Сан-Франциско, Калифорния. Мы наслаждались своей мужской компанией, и прямо в пижамах ели пиццу и допоздна смотрели по телевизору фильмы про Годзиллу. В Бостоне, на Чарлз-ривер, он учил меня управлять моторкой.



Мервин и Людмила. Лондон. 2006 год.

Однако дома обстановка была далеко не такой мирной и гармоничной. В отсутствие необходимости сражаться за личное счастье мама обратила всю свою энергию на мужа и детей, и, хотя я никогда не сомневался, что она меня любит, зачастую я с трудом выносил бурный натиск ее слишком страстной любви и заботы. Для моей мамы, этой эмоциональной динамо-машины, в доме на Пимлико было тесновато. Отец реагировал на частые домашние размолвки своим излюбленным способом: как только начиналась ссора, он вставал из-за стола и удалялся в свою

крепость, кабинет, оставляя мать в слезах. Порой атмосфера в доме становилась напряженной, как перед грозой.

Благодаря Перестройке Михаила Горбачева, с декабря 1988 года мой отец снова начал регулярно приезжать в Советский Союз. Он нашел, что внешне Москва в эти последние годы советской власти осталась такой же, какой он ее знал, правда, во время первой же поездки на троллейбусе он не заметил за собой слежки и впервые чувствовал себя на улицах города совершенно свободно.

Тремя годами позже в странах Восточной Европы рухнул социалистический строй. В летние каникулы 1991 года я со своей подружкой Луизой путешествовал по этим странам, а потом мы перебрались в Советский Союз. По удивительному совпадению, мы прибыли в Ленинград вечером 19 августа 1991 года — в день путча, организованного противниками Горбачева, приверженцами жесткой партийной линии, — путча, ознаменовавшего окончательное крушение КПСС. Утром мы увидели на экране телевизора суровое лицо генерала Самсонова, начальника ленинградского гарнизона, который предупредил горожан о запрете собираться в группы больше трех человек. Днем позже я стоял на балконе Зимнего дворца и видел заполненную людьми Дворцовую площадь — целое море голов с плакатами над ними. Недалеко от Исаакиевской площади мы помогали студентам сооружать баррикады из скамеек и металлических балок. На следующий день Невский проспект, сколько мог видеть глаз, был заполнен толпой: полмиллиона людей вышли протестовать против режима, который на протяжении трех поколений контролировал каждый их шаг. Демонстранты несли плакаты, где в разных сочетаниях повторялись слова «Свобода» и «Демократия». В тот же день в Москве Борис Ельцин вышел из Белого дома — резиденции правительства — и, взобравшись на танк, обратился с речью к тысячам защитников Белого дома. Это был исторический момент, и хотя мы в Ленинграде не могли его видеть, потому что государственное телевидение оказалось в руках путчистов, это означало конец семидесятичетырехлетней власти коммунистов. В тот же вечер после неудачной попытки преданных КГБ войск взять штурмом Белый дом путч был подавлен.

Известно, что огромные скопления людей становятся словно единым организмом, согласованно думающим и действующим. Насколько я понял, воодушевляющей силой этой громадной санкт-петербургской толпы было мощное ощущение своей правоты и сознания, что история на нашей стороне,

подкрепленного типично советским наивным доводом — на сей раз все очень просто: мы правы, а коммунизм — не прав. В тот день я испытывал огромное счастье. Может быть, думал я, эти сотни тысяч людей, вышедших на улицы, чтобы покончить с системой, погубившей миллионы людей во имя так и не наступившего светлого будущего, навсегда освободят Россию от бесконечных страданий и бедствий. Правда, в последующие годы большинству участников тех августовских демонстраций суждено было испытать горькое разочарование в плодах демократии. Но для множества ровесников моих родителей, как и для пострадавшей от сталинизма Ленины, крушение советской системы навсегда останется настоящим чудом. Одна давняя подруга прислала моей матери почтовую открытку: «Неужели дожили?!» — замечательно сжатая русская фраза, означающая: «Может ли быть, что это произошло при нашей жизни?»

Странно, но мою мать, казалось, не волновали события той осени, которые начались победой ельцинских демократов и к Рождеству закончились отставкой Горбачева. Россия стала для нее страной ее прошлого; со свойственной ей решительностью она зачеркнула свою прежнюю жизнь и начала новую. Конечно, она была довольна и видела в этих событиях победу диссидентского движения, которое поддерживала по мере своих сил. Сейчас она говорит, что видела коллапс Советского Союза из своего «прекрасного далека» в Лондоне и не испытывала большого душевного подъема от этих новостей. Но одно событие не могло ее не взволновать: ночью вскоре после провала путча у здания КГБ на Лубянской площади собралось огромное количество людей, требовавших возмездия этой зловещей организации. На шею статуи Феликса Дзержинского, что стояла на постаменте в центре площади, накинули стальной трос, и длинная стрела монтажно-строительного крана вздернула Железного Феликса в воздух, где он закачался над толпой, как повешенный. Мама всегда была убеждена, что советская власть рухнет еще при ее жизни, но только в тот момент поверила, что это действительно произошло, сказала она мне.

Годом позже мой отец вошел в здание на Лубянке, направляясь на встречу в недавно образованное при КГБ управление по связям с общественностью. В роскошном кабинете, выходящем во внутренний двор, где когда-то расстреливали заключенных, его принял Алексей Кондауров и предложил стакан чая с лимоном. Он заявил, что КГБ, или ФСК, как его называли в начале правления Ельцина, заинтересован в «наведении мостов» с западными советологами и даже попросил Мервина написать для

журнала ФСК статью о том, как он изучал Советский Союз из-за границы. Однако моего отца больше интересовала возможность установить связь с его старым вербовщиком, Алексеем Сунцовым. Кондауров был очень любезен, но отец вышел из его кабинета, так ничего и не узнав.

В 1998-м нам повезло больше. По просьбе отца я зашел в пресс-центр Службы внешней разведки. Там я познакомился с руководителем пресс-бюро генералом Юрием Кобаладзе и пригласил его на дорогой обед в лучший в Москве французский ресторан «Гастроном», завсегдатаями которого были иностранные предприниматели. Кобаладзе сообщил мне, что Сунцов умер, но его вдова еще жива.

Мы разыскали Инну Вадимовну Сунцову через Валерия Величко, председателя Клуба ветеранов КГБ. В клубе недалеко от станции метро «Октябрьская» Мервина представили полной семидесятилетней женщине с приятным лицом. Инна Вадимовна и мой отец обменялись сдержанным рукопожатием. Оба не узнали друг друга, хотя виделись дважды: один раз в «Арарате» — нет, поправила Сунцова, в «Будапеште». В другой раз они ездили в машине Алексея на Ленинские горы, откуда любовались видом ночной Москвы.

Сунцова порылась в сумочке и достала фотографию Алексея в форме, что удивило Мервина, хотя он отлично знал, что тот служил в КГБ.

«Я знаю, что вы его ужасно разочаровали. Он жаловался мне: „Этот Мэтьюз так меня подвел, и это после всего, что я для него сделал!“ — сказала вдова моему отцу. — Разумеется, неудача с вашей вербовкой отрицательно сказалась на его положении в Комитете». Мервин не стал расспрашивать, кто именно препятствовал его браку: он не думал, что это был Алексей, и тем более об этом не могла знать Инна. Действительно, она казалась искренне удивленной, когда Мервин рассказал ей историю борьбы за право жениться на Миле. Поколебавшись, Инна подарила ему снимок Алексея в штатской одежде.

Не удалось Мервину найти и своего давнишнего русского друга Вадима Попова, тоже бывшего работником КГБ. Мервин попытался отыскать его следы в Ленинской библиотеке, но кроме тезисов докторской диссертации, там не оказалось никаких публикаций.

Зато отец отыскал Игоря Вайля — того самого аспиранта МГУ, которого КГБ использовал как провокатора — достаточно было заглянуть в адресный справочник Москвы, который лежал в будке таксофона. Выяснилось, что Вайль тридцать лет ждал случая извиниться за инцидент с красным свитером. Он поведал

Мервину, как однажды в роковое утро его вызвали на Лубянку и целых два часа запугивали, добиваясь согласия сотрудничать с ними. Оказывается, они установили в университетской комнате Мервина «жучки» и записывали компрометирующие Игоря высказывания, когда он приходил в гости к своему другу. Ему ничего не оставалось, как согласиться, в противном случае его выгнали бы из университета. Мервин великодушно простил его. «То была другая жизнь и другой мир, — сказал он Вайлю. — Теперь все это в прошлом».

На протяжении 90-х годов мы с отцом не раз встречались в Москве, но эти встречи нередко заканчивались ссорами. Мой отец категорически не одобрял мой сомнительный богемный образ жизни. Я, в свою очередь, считал, что он только и думает, как бы испортить мне настроение. Злиться вообще намного проще, чем любить, и, сам не зная почему, в юности я часто сердился на отца. Я обижался, когда чувствовал пренебрежительное равнодушие ко мне, вымышленное (и действительное), возмущался отсутствием у него воображения, злился, если он отказывался помочь мне деньгами. Наверное, он считал меня избалованным и неблагодарным. «Оуэн, у тебя столько возможностей, — в детстве говаривал он мне. — Столько возможностей!»

Только уже в конце моего пребывания в Москве, после того как большую часть своей юношеской агрессивной энергии я выплеснул в мир, я попытался понять отца, и моя собственная жизнь неосознанно стала складываться очень похожей на его жизнь. В итоге пришло время и мне записывать те события, которые захватывали меня в России, как делал отец. Каждый из нас что-то нашел здесь для себя, и это сблизило нас. Мы понимали друг друга без слов.

С возрастом мой отец стал все больше уходить в себя, предпочитал проводить время в одиночестве. Странно, но когда моих родителей разделяла казавшаяся непреодолимой стена идеологической и политической розни между двумя странами, их тянула друг к другу какая-то магнетическая сила, поддерживающая в них веру и надежду почти шесть лет разлуки. А теперь, спустя долгие годы совместной жизни, в моей семье бушует какая-то центробежная сила, которая вынуждает всех нас даже физически отдаляться друг от друга. В настоящее время отец в основном живет на Востоке, вдали от всех, кто его знает, совершает поездки в Непал, Китай и Таиланд, отдыхает на пляжах, снимает себе жилье, занимается чтением и работой над книгами. Когда же мои родители встречаются в Лондоне, они заключают нечто вроде перемирия — очевидно, основанного на

внезапном осознании, что жизнь проходит и что из бесконечных домашних стычек невозможно выйти победителем.

■

После моей женитьбы на Ксении наши отношения с отцом стали более теплыми, мы чувствовали, что нас тянет друг к другу. Мы переехали жить в Стамбул, где родился мой сын Никита, но каждую зиму проводили на даче родителей Ксении. Отец, приезжая, останавливался в квартире родственников моей жены, в доме на углу Староконюшенного переулка. Он бродил по букинистическим магазинам, поражался обилию книг в Доме книги на Новом Арбате и тому, что может расплачиваться за них своей английской кредитной карточкой. На улицах рекламировались российские боевики (на одной из афиш даже красовался профиль его сына, военного корреспондента), в палатках продавались мобильные телефоны.

В последние дни 2002 года мы с ним поехали на дачу. Был сильный мороз, и на фоне светло-голубого неба четко вырисовывались застывшие высокие сосны. Вдалеке на границе ослепительно белых снегов вставал черный лес. Ледяной воздух обжигал легкие.

Мы с отцом пошли погулять по замерзшей Москве-реке. Я предолжил ему тяжелое старое пальто, купленное им еще в 50-х в Оксфорде, а сам надел потертый солдатский полушубок. Отец заметно состарился, больное бедро беспокоило его, он прихрамывал и спотыкался на сугробах. Снег поскрипывал под ногами, как старые половицы.

— Никаких по-настоящему больших потрясений, — сказал он о своей жизни. — Никаких. Когда я понял, что больше не вернусь в Оксфорд, я сдался. И теперь, оглядываясь на свои достижения, я нахожу их скромными, очень скромными.

Наступило долгое молчание, слышался лишь тихий шум ветра и шорох сорванного им снега.

— Но ты победил, ты же сумел вывезти маму из России! Разве это не было огромным достижением?

Он помотал головой и вздохнул.

— Я думал, что, когда ее вывезу, настанет невероятно счастливая жизнь, но этого не произошло. Почти сразу начались проблемы, всякого рода размолвки и ссоры. Я решил выждать какое-то время в надежде, что все образуется, и действительно, потом все стало лучше — до некоторой степени. Поэтому я просто перестал обращать на это внимание.

— И ты никогда не думал сдаться?

— Нет, ни разу. Я принял решение и дал ей слово, и отступать было нельзя. Хотя я не думал, что это будет тянуться

так долго. Через пять лет нам с ней пришлось строить наши отношения заново. Если бы она нарушила нашу договоренность, думаю, я бы справился с этим довольно быстро.

Он говорил будто не о себе, а о постороннем человеке — отстраненно, без боли, но с оттенком профессионального сожаления, как хирург, осматривающий безнадежного пациента.

— На меня произвел глубокое впечатление ее рассказ о том, что ей довелось пережить, о ее детстве, о войне. Это был настоящий ужас, и я был потрясен. Она перенесла столько горя, что мне захотелось дать ей достойную жизнь. Это было самое важное. К тому же еще физический недостаток.

Вдали показался ревущий снегоход, отец вздрогнул, мы поспешно отошли в сторону, и он промчался мимо, подняв снежный вихрь. На высоком берегу за деревьями виднелись дачи с островерхими крышами, построенные новыми соседями Ксении, русскими миллионерами, которые приобрели здесь земельные участки за баснословные деньги. На месте старой дачи Андрея Вышинского, генерального прокурора, подписавшего смертный приговор моему деду, построили нечто вроде французского шато. Новые люди, новый мир.

— Кто бы мог подумать, что все так быстро изменится. Я не ожидал, что все это произойдет при моей жизни.

В тот вечер мы пили на кухне чай, и отец помешивал его той самой ложечкой с дырочками, которая сопровождала его всю жизнь, как талисман. Мы немного повздорили из-за моей сестры, и, сердито махнув на меня чашкой, он поднялся наверх. Через полчаса он вернулся, мы сменили тему разговора и еще немного посидели вдвоем. Собираясь идти спать, он вдруг нагнулся ко мне, обнял и легонько поцеловал меня в голову.

Еще одна, последняя картина: мама с моим четырехлетним сыном на веранде в нашем саду в Стамбуле. Ей семьдесят два года, поврежденное бедро побаливает, и при ходьбе она опирается на палочку. Но из окна своего кабинета я вижу, как она отставляет палку в сторону и отрезает от старой веревки большой кусок. Глазенки Кита сияют восторгом, когда она начинает прыгать через веревку то медленно, то быстро, перекрещивая ее перед собой, — в такт считалке, которую выучила еще в Верхнеднепровске. Кита охватывает возбуждение, и он включается в эту игру, размахивая руками и бегая по кругу. «Раз-два-три-четыре-пять, вышел зайчик погулять», — чуть задыхаясь, повторяет мама, как в детстве, когда она, ребенок сталинской эпохи, была в возрасте Кита. Считалка, как и многие русские детские стихи, удивительно ритмичная, нелепая и жестокая.

Раз-два-три-четыре-пять!
Вышел зайчик погулять.
Вдруг охотник выбегает,
Прямо в зайчика стреляет.
Пиф-паф, ой-ёй-ёй!
Умирает зайчик мой!
Принесли его домой —
Оказался он живой!

Библиография

AMIS, MARTIN, *Koba the Dread: Laughter and the Twenty Million* (Vintage, 2003)

APPLEBAUM, ANNE, *Gulag: A History* (Anchor, 2004)

AKHMATOVA, ANNA, *The Complete Poems of Anna Akhmatova* (Zephyr Press, 1998)

BEEVOR, ANTONY, *Stalingrad: The Fateful Siege: 1942–1943* (Penguin, 1999)

BULGAKOV, MIKHAIL, *Heart of a Dog* (Grove Press, 1994)

CAMUS, ALBERT, *Actuelles, III: Chroniques alge+riennes 1939–1958* (Gallimard, 1958)

CONQUEST, ROBERT, *The Great Terror* (Macmillan, 1968) *Harvest of Sorrow* (University of Alberta Press, 1987)

FIGES, ORLANDO, *Natasha's Dance: A Cultural History of Russia* (Picador, 2003)

GINZBURG, YEVGENIYA, *Into the Whirlwind* (Harvill Press, 1989)

GOGOL, NIKOLAI, *The Overcoat and Other Tales of Good and Evil* (W. W. Norton & Co., 1965)

GROSSMAN, VASILY, *Life and Fate* (New York Review Books Classics, 2006)

A Writer at War: A Soviet Journalist with the Red Army, 1941–1945 (Vintage, 2007)

KOCH, STEPHEN, *Double Lives: Stalin, Willi Munzenberg and the Seduction of the Intellectuals* (Enigma Books, 2004, revised edition)

KOESTLER, ARTHUR, *Darkness at Noon: A Novel* (Scribner, 2006)

KOTKIN, STEPHEN, *Magnetic Mountain: Stalinism as a Civilization* (University of California Press, 1997)

MANDELSTAM, NADEZHDA, *Hope Against Hope: A Memoir* (Modern Library, 1999)

MANDELSTAM, OSIP, *Selected Poems* (Penguin, 1992)

MATTHEWS, MERVYN, *Privilege in the Soviet Union* (Unwin Hyman, 1978)

Poverty in the Soviet Union (Cambridge University Press, 1986)

Mila and Mervusya: A Russian Wedding (Seren/Poetry Wales, 2002) *Mervyn's Lot* (Seren, 2003)

MASSIE, ROBERT K., *Peter the Great* (Ballantine, 1981)

MEDVEDEV, ROY, *Let History Judge* (Columbia University Press, 1989)

MEIER, ANDREW, *Black Earth: A Journey through Russia after the Fall* (W. W. Norton & Co., 2005)

MERRIDALE, CATHERINE, *Night of Stone* (Granta, 1000)

Ivan's War: Life and Death in the Red Army, 1939–1945 (Picador,

2007)

MONTEFIORE, SIMON SEBAG, *Stalin: The Court of the Red Tsar* (Vintage, 2005)

MOYNAHAN, BRIAN, *The Russian Century: A Photographic History of Russia's 100 Years* (Random House, 1994)

PASTERNAK, BORIS, *Doctor Zhivago* (Pantheon, 1997)

RAZGON, LEV EMMANUILOVICH, *True Stories* (Ardis Publishers, 1997)

REMNICK, DAVID, *Lenin's Tomb: The Last Days of the Soviet Empire* (Vintage, 1994)

RILKE, RAINER MARIA, *Selected Poetry of Rainer Maria Rilke* by Stephen Mitchell (Random House, 1982)

RYBAKOV, ANATOLI, *The Children of the Arbat: A Novel* (Little, Brown & Co., 1988)

SHALAMOV, VARLAM*, Kolyma Tales* (Penguin, 1995)

SIMONOV, KONSTANTIN, *Days and Nights* (Simon & Schuster 1945)

SOLZHENITSYN, ALEXANDER, *The Gulag Archipelago 1918–1956* (Harvill Press, 1999)

Cancer Ward (Farrar, Straus & Giroux, 1991)

One Day in the Life of Ivan Denisovich (Farrar, Straus & Giroux, 2005, new edition)

THOMAS, DYLAN, *Collected Poems of Dylan Thomas 1934–1952* (New Directions, 1971)

TSVETAEVA, MARIA, *Selected Poems* (Penguin, 1994)

WERTH, ALEXANDER, *Russia at War: 1941–1945* (Carroll & Graf, 1999)

Слова благодарности

Эту книгу я писал неимоверно долго — фактически прошла ровно половина моей взрослой жизни с тех пор, как я стал делать первые наброски. Будущую книгу — ещё в 1998 году — я хотел назвать «Московский Вавилон». К счастью для всех, кто имел к ней какое-то отношение, она не появилась на свет, а вместо этого по прошествии лет родилась идея написать вот эту самую автобиографическую историю. Я в огромном долгу перед моими друзьями и коллегами, которые все это время разделяли со мной муки творчества и помогли мне осознать, что на самом деле нужно писать не столько о себе, сколько о России, и не просто писать, а постараться ее понять.

Большинству моих близких друзей за последние десять лет довелось прочесть какую-нибудь часть рукописи. Эндрю Полсон, например, год за годом уверял, что работа получается отличная, — это меня очень ободряло, хотя, наверное, не всегда соответствовало истине. Мелик Кейлан льстил мне, утверждая, что я «на удивление хорошо» пишу. Чарли Грэбер, Эндрю Мейер, Майкл Фицджеральд и Марк Франкетти были настолько добры, что отредактировали и подробно прокомментировали всю работу, когда она приобрела более или менее законченную форму; их советы и дружескую поддержку трудно переоценить.

Первой идею этой книги подсказала мне Миа Фостер. «Оуэн, а почему бы вам не написать книгу?» — спросила она однажды, когда мы сидели у камина на даче Чарли Босмана на Николиной горе. Именно Чарли и настоял, чтобы я приступил наконец к работе. Но единственная причина, по которой у меня вообще появилась идея заняться исторической тематикой, да еще с привлечением биографических сведений, кроется в том, что судьба подарила мне возможность слушать в колледже Крайст-Черч лекции замечательных преподавателей истории — Уильяма Томаса, Кати Андреевой и покойного Патрика Уормэлда. Роберт Айзлвуд открыл для меня интеллектуальное богатство русской литературы, более впечатляющее, чем детско-эмоциональное, переданное мне мамой.

Самой глубокой благодарности заслуживают многие мои друзья и «соучастники», живущие в России, хотя они наверняка придут в ужас, увидев свои имена в одном списке. Это Изабель Горст, Эд Лукас, Маша Наймушина, Эб Фарман-Фармаян, Виджей Махешвари и Роберт Кинг. Нас с Марком Эймсом и Мэттом Тайби одинаково будоражило знакомство с темными и зловещими сторонами жизни Москвы в бурные 90-е годы, блестящими

хроникерами которых они себя проявили.

В Стамбуле, куда я часто сбегал во время работы над книгой, моими мудрыми и преданными друзьями были Гундуз Вассаф и профессор Норман Стоун. А Эндрю Джеффрис стал моим ближайшим наперсником и спутником всех моих приключений после Москвы. Джорджиана Кэмпбелл уступила мне свой коттедж в Дорсете, чтобы я мог сосредоточиться на работе. Жан-Кристоф Исо знал меня дольше и лучше, чем кто-либо другой; это единственный человек из всех моих знакомых, который действительно сам определил себе образ жизни, чем однажды вдохновил меня последовать его примеру.

Мне помогли стать журналистом Марк Чэмпион и Джей Росс из «Москоу таймс», хотя я определенно доставлял им множество хлопот, так как воображал, что пишу намного лучше, чем на самом деле. В «Ньюсуик» идеальным боссом и моим наставником был Билл Пауэлл, il miglior fabbro[10], — его перу принадлежат лучшие журнальные опусы, которые когда-либо мне приходилось читать. Крис Дики имел на меня сильное влияние и был верным союзником. Майк Мейер и Фарид Закария годами возились с корреспондентом, который постоянно отвлекался на работу над книгой, но никогда не брюзжали. И теперь, когда я оказался в странном положении, заняв пост моего бывшего босса в качестве главы московского бюро журнала «Ньюсуик», на мою прежнюю должность пришла Анна Немцова, которая гораздо лучше меня справляется с обязанностями второго корреспондента.

Но самое главное — Майк Фишвик из издательства «Блумсбери», пренебрегая доводами разума и своим служебным долгом, твердо верил в то, что когда-нибудь эта книга все-таки будет закончена. «Жди меня… только очень жди», — писал Константин Симонов о советских женщинах, которые ждали возвращения своих любимых с войны, не зная, придут ли они вообще. Фишвику как нельзя лучше понятны их чувства. Без его непоколебимой веры в меня не было бы и книги. Трам-Ан Дон и Эмили Свит являли собой образцы долготерпения и высокого профессионализма.

Мой агент в США Дайана Финч потратила уйму времени и энергии, чтобы в конце концов я завершил работу над книгой. Она больше, чем кто-либо другой, сделала меня писателем. Мой лондонский агент Билл Гамильтон с невозмутимым спокойствием реагировал на любые изменения автором своих планов, сроков и даже судьбы.

Наконец, считая недостаточным посвящение этой книги моим родителям, я выражаю им огромную благодарность за помощь в описании истории их жизни. Я многое почерпнул из двух томов

мемуаров моего отца, «Судьба Мервина» и «Мила и Мервуся», а мама не только постоянно делилась со мной своими воспоминаниями, но и написала подробные замечания на окончательной рукописи. Моя тетушка Ленина в течение многих лет была мне дорогим другом и вдохновительницей; мне очень тяжело думать, что сейчас, когда я пишу эти слова благодарности, она страдает от серьезной болезни и находится вдали от меня, в Москве. Моя младшая сестра Эмили подвергала книгу смелой и глубокой критике на всех этапах работы. Мои тесть и теща Алексей и Анна Кравченко не только тактично не замечали резкие перепады моего настроения, приступы отчаянья, раздражения, алкоголизма и другие малопривлекательные стороны жизни литератора, но и упорно представляли меня всем гостям как «семейного» писателя. Через десять лет трудов это стало более или менее соответствовать истине.

Но куда более тяжкая ноша легла на плечи моей жены Ксении. Я начал писать эту книгу еще до нашего знакомства. Прошло две войны, у нас родилось двое детей, мы переехали жить в другую страну — а я все корпел над рукописью. Теперь, когда книга уже родилась и отправилась в самостоятельное путешествие по миру, бедняжке Ксении придется привыкать жить со мной одним, без книги. Мне бы никогда не осилить этого труда без ее самоотверженной помощи.

CORPUS 030

notes

Примечания

1

Перевод Василия Бетаки.

2

Доска Уиджа — планшетка для спиритических сеансов с нанесенными на нее буквами алфавита, цифрами от 1 до ю и словами «да» и «нет». Изобретена в XIX в. американцем И. Рейчем. *(Здесь и далее — прим. перев.)*

3

Перевод Владимира Летучего.

От англ. goon — болван, тупица.

5

Джаггернаут — «владыка мира» *(искаж санскр.)*, живое воплощение тупой, неодолимой силы.

6

Флит-стрит — улица в лондонском Сити, за которой прочно закрепилась репутация цитадели британской прессы.

7

Из стихотворения Кэтрин Мэнсфилд (1888–1923). Перевод Петра Охрименко.

8

Перевод Норы Галь.

9

Перевод Е. Романова.

10

Лучший мастер *(ит.)*.